

ИВАН
БУНИН

ОКЛАДНЫЕ
КНИЖКИ

И. БУНИН. ОКЛАДНЫЕ КНИЖКИ. ИЛЛЮСТРАЦИИ И. БУНИНА

ИВАН БУНИН

ОКАЯННЫЕ
ДНИ
ВОСПОМИНАНИЯ
СТАТЬИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
1990



И. А. Бунин. Париж, 1922

ИВАН БУНИН

ОЖАЖЕННЫЕ

ДНИ

ВОСПОМИНАНИЯ

СТАТЬИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
1990

ББК 84 Р 7
Б 91

Составление, подготовка текста,
предисловие и комментарии
А. К. БАБОРЕКО

Художник
АНАТОЛИЙ МЕШКОВ

Б $\frac{4702010201-406}{083(02)-90}$ КВ 10-59-90

ISBN 5-265-01695-3

© Состав и оформление,
Издательство «Советский писатель»,
1990.

ГЛАГОЛ ВРЕМЕН

Общество наше деградировало. Мы на грани катастрофы. Об этом каждодневно можно читать в прессе, можно слышать в парламенте, в речах наших видных политиков. В упадке театр, музыкальное искусство. Вечные моральные ценности — добро, красота и т. д. — попираются; в кино идет пропаганда насилия и порнографии («Правда», 1989, № 326, 22 ноября; статья: «Секс, кино и агрессия» и заметка: «Особого назначения»).

И вот под впечатлением происходящего вокруг нас читаем — с чувством некоторого беспокойства за наше будущее — дневники и воспоминания Бунина, его статьи; чтение это заставляет задуматься, и мы спрашиваем себя: а сказал ли Бунин, переживший «окаянные дни», нужное нам, спасительное слово? Размышляя над столь насущным вопросом, начинаем понимать то, что необыкновенно важно для каждого из нас, а именно: то, что он укрепляет в людях веру в неизбежное торжество тех нравственных начал, на которых только и может основываться жизнь человека и общества, веру в те великие истины, которые завещаны нам праотцами нашими. Слово его — древнее, как мир, заповеданное «в вечной Книге Книг», преданное забвению в обществе, потерянном духовно:

«Да, уже целые тысячелетия, из века в век, из часа в час, из сердца в сердце передается всех и вся равняющий и единящий завет: *чти скрижали Синая*. Сколько раз человечество восставало на них, дерзко требовало пересмотра, отмены их велений, воздвигало кровавые схватки из-за торжества новых заповедей, в кощунственном буйстве плясало вокруг золотых и железных тельцов! И сколько раз, со стыдом и отчаянием, убеждалось в полном бессилии своих попыток заменить своей новой правдой ту старую, как мир, и до дикости простую правду, которая некогда, в громах и молниях, возвещена была вот в этой дикой и вечной пустыне со скалистых синайских высот!»

По прочтении дневников Бунина, по некоему естественному течению мысли, приходит на ум давно прочитанное — слова Достоев-

ского: «Красота спасет мир», — и слова эти уже не кажутся наивностью мечтателя, а воспринимаются как напоминание о благодатной истине, которую всегда надо носить в душе.

Бунин, горячо и многое сказавший в «Окаянных днях» о том, уже давнем, времени, зовет оглянуться назад, на пережитое Россией в переломную пору истории; такой взгляд в прошлое позволяет лучше понять многое в нашем нынешнем обществе, больном многими болезнями, но охваченном стремлением к самоочищению и возрождению: нравственному, социальному и культурному.

Революция — это разрушение старого. Читая Бунина, неизбежно задаешься вопросом: а может быть, в самом деле русскому человеку в некоторой мере было не под силу бремя свободы, которая свалилась на него в революцию, и прав Достоевский в том, что свобода, при шатости понятий, может отождествляться ее поборниками со вседозволенностью, витавшей в сознании Карамазовых? Также спросим себя: ломая старый государственный строй, не разрушили ли заодно что-то такое, что надо было всеми силами беречь, и тем самым губили самих себя? И дело тут не только в каких-то московских или одесских «чрезвычайках», — накатывались волны жизни и долго катились еще через многие десятилетия, захлестнули многое бесценное, непреходящее. Ведь вот не издаются философские и публицистические труды Толстого — печатались только в «Полном собрании сочинений» ничтожно малым тиражом; очень многие стихи Волошина ждут своего издателя. А сам Волошин, столь благостный ко всем людям, находил «в кровавом списке» Бела Куна, лютовавшего в те годы в Крыму, «собственное имя». Это теперешние «пролеткультовцы», потомки тех, о которых писал в дневнике Бунин, ставят рогатки на пути читателя и к Толстому, и к Волошину. Не носили в сердце золотой век, можно сказать словами Достоевского, и не знали будущего также те, кто предпринимал гонения на историческую науку.

В наши школьные и студенческие годы слово «отечество» считалось одиозным, а великие исторические деятели — Александр Невский, Петр Первый, Суворов, Кутузов — поносились последними словами. Лекторам вузов навязывалась крайне вредная «История» без истории — без исторических лиц и исторических фактов — М. Н. Покровского. Целое поколение лишили исторического образования, хотя Луначарский и боролся против этого. А ведь все важно в свой срок, Достоевский считал для себя великим счастьем, что отец читал ему — десятилетнему отроку — «Историю» Карамзина, из которой он узнал основные эпизоды отечественной истории. Вчитайтесь в дневник, и вы увидите, что истоки этого обскурантизма там, в обрисованных Буниным «окаянных днях», — в презрении ко всему, что тогда составляло дом наш, — в презрении к историческому

прошлому России, к классической литературе и классическому искусству, к памятникам русской истории и старины, к веками установившемуся укладу народной жизни и культурным традициям, к тем устоям, на которых зиждилась семья и жизнь отдельной личности. Наплыв всего этого, с тех давних лет шедший, темнил и мертвил многое живое еще долго, хотя и слабел его напор. При этом надо помнить: уже давно шел процесс стирания грани между понятиями добра и зла, что разглядел Достоевский в пореформенной России, когда возможны были такие личности, как Шигалев («Бесы»), и о чем писал часто Толстой.

Более всего невыносимым было для Бунина насилие над церковью и уничтожение религии; если этого не уяснить, то нельзя будет понять, отчего с такой страстностью пишет он обо всем в своем дневнике. С этой стороны его хорошо определила художница Мария Сергеевна Чуракова — иллюстратор Пушкина, Баратынского, Тютчева, Блока; она была и литературно чрезвычайно одаренной. Получив очередную мою публикацию, она писала 13 мая 1978 г.:

«Я как-то ощущаю Бунина стоящим на коренной — столбовой русской дороге и именно той чертой, которая так присуща каждому русскому человеку (национальное видение в соединении с православием, религией). Хотя, конечно, Бунин испытал все влияния конца прошлого века и начала нынешнего: и революционные искания, и толстовство, и декадентство и др., и в религиозном отношении он был до какой-то степени *вольгодумным*, но основная идея была в нем достаточно сильна. У Чехова все это потеряно (в этом можно убедиться, читая его дневниковые записи). Вся этика его на раскате потухающих традиций веры, что можно сказать в основном про русскую интеллигенцию, которая потеряла веру и отвернулась от церкви, заменив ее *театром* (Художественным и Малым), литературой и др. Чехов выразитель этой, в основном мещанской, интеллигенции. Но сейчас, когда мы все дальше и дальше отодвигаемся от рубежа революции, тускнеет фигура Чехова (как мне кажется и, может быть, только мне) и все больше и больше вырастает, обогащенная все новыми чертами, которые открываются в публикациях — в основном уже эмигрантского периода, — Бунин, именно потому, что несет в себе и в творчестве вот эти именно следы идей русского народа. (...) Русская *испоконность* не может быть без веры!»

Бунин воплощает собой созидательное начало, связующее нас с временем прошлым, давним. В дневнике он мог лучше всего высказать все то, чем он жил в те дни, о которых пишет.

Дневник Бунина считал «одной из самых прекрасных литературных форм» и полагал, что в будущем эта форма станет преобладающей. Он записывает в дневнике 1917 года и в «Окаянных днях» не

только бурные события, но также привлекает его пристальное внимание спящее по-весеннему небо, месяц в небе, розовые облака, сугробы — то, что вызывало в нем «тайный восторг какой-то», в чем чувствовалась поэзия и было опьянение от мира, когда многое так восхищало; в этом — поиски сочетания «прекрасного и вечного», как в его стихах — прекрасного и тайного. Вот отчего не должно казаться преувеличением и не должно удивлять, когда Бунин высказывает, на первый взгляд, столь неожиданную мысль: если бы Пушкин записывал, что видел, что делал, читал, где гулял, это, может, было бы «самое ценное из того, что он написал».

А что «видел» Бунин в то время, о котором он пишет в дневнике? Над всеми его тогдашними чувствами чаще всего преобладала «безмерная печаль», порой отчаянье, когда обычным стало то, что «грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквях», поют похабные песни о священниках, — и всюду, в столицах и в провинции, погромы, расстрелы. Среди тех, за кем шла, как он говорит, настоящая охота, были знакомые Бунина, литераторы — А. А. Кипен — и простые люди — Моисей Гутман, «очень милый человек», которого убили (он перевозил Бунина на дачу). Накануне эмиграции Бунин, обдумывая свое положение, решал вопрос, не перейти ли на нелегальное положение. Он пишет в 1919 году, будучи в Одессе: «День и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака». Большой ложью звучали для него слова: Революции не делаются в белых перчатках».

Бунин отвергал насилие; вслед за Толстым и Достоевским призывал бороться «за вечные, божественные основы человеческого существования». Бунин также сказал: «...все преграды, все заставы божеские и человеческие пали». Это важнейший мотив его книги. Теперь, после всего пережитого в годы сталинизма, особенно хорошо становится понятен великий смысл отстаиванья Буниным общечеловеческих ценностей, которые так попирались в «окаянные дни»; он предчувствовал будущее, понимал, к чему поведет потеря высшего смысла жизни и расшатанность нравственного состояния общества.

Необходимость перемен он сознавал, накануне революции хотел скорейшего преобразования жизни, ее обновления, говорил своему племяннику литератору Н. А. Пүшешникову, что в глубине души верил, «что революция для нас спасение и что новый строй поведет к расцвету государства»; признавался, что в распутинское время «жаждал революции» («Одесский листок», 1919, № 127, 25 сентября — 8 октября). Но события развивались таким образом, что он пришел к выводу: «Философия эта ни к черту не годится». Многое являло примеры «падения» России, социального и всяческого прочего, у него порой терялась вера в людей. Все же он мог бы сказать

вслед за Пушкиным, что не хотел бы переменить отечество. Бунин пишет в дневнике: если бы я эту Русь не любил, из-за чего же «я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто?»

Взгляды писателя — это не взгляды политического деятеля. Тут другие измерения, масштабы мышления всечеловеческие, постигающие основы бытия. Благо России Бунин мерил «высшей мерой», жаждал, можно сказать словами Вл. Соловьева, которые Бунин приводит в статье о А. К. Толстом, — развития «истинно национальных начал, что было обещано светлым явлением Киевской Руси». Его дневники — свидетельство о происходящих событиях человека, живущего высшими интересами, и он сознавал, что то, что он пишет, его «эмоции», «пристрастность» его оценок будут «дороги для будущего историка».

На одно из событий — на высадку французов в Одессе — он откликнулся стихотворением «22 декабря 1918 г.» («Одесский листок», 1918, 22 декабря; публикуем по фотокопии с автографа: Одесский обл. архив, фонд Ф. С. Штерн № 156, оп. 1, ед. хр. 38):

И боль и стыд и радость. Он идет,
Великий день, — опять, опять варягу
Вручает обезумевший народ
Свою судьбу и темную отвагу.

Да будет так. Привет тебе, варяг.
Во имя человечности и Бога,
Сорви с кровавой бойни наглый стяг,
Смири скота, низвергни демагога.

Довольно слез, что исторгал злодей
Под этим стягом «равенства и счастья»!
Довольно площадных вождей
И мнимого народовластья!

В дни, отмеченные в дневниках, Бунин погружался в чтение русских и мировых классиков, в философию Платона и Сократа. Много позднее он скажет в рассказе «Возвращаясь в Рим» столь нужные всем слова о ценности человеческой личности: «...сосредоточенность <...> высоких сил <...> заключена в некоторой мере в каждом из нас», — нечто «божественное», что есть истинная суть человека». Эту идею Сократа он выразил также в рассказе «Бернар». А увлеченность Сократом шла с предреволюционных лет. Бунин следовал гуманистическим воззрениям древних философов и идеям христианской цивилизации, главнейшая из которых — любовь к людям, — и находил, что социализм, с его теорией борьбы классов, «совершенно не свойственен человеческой душе, противоречит ей». Он говорил, что он «не может жить в новом мире, что он принадлежит к старому миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга. Что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает ее. Когда он

говорил, то на глазах у него, — записала в дневнике 13/26 декабря 1919 года его жена Вера Николаевна, — блестили слезы. Ни социализма, ни коллектива он воспринять не может, все это чуждо ему. Ближе ему индивидуальное восприятие мира. (...) Никогда я не примирюсь, — продолжал Бунин, — с тем, что разрушена Россия, что из сильного государства она превратилась в слабейшее. Я никогда не думал, что могу так остро чувствовать».

7/20 сентября 1919 года Бунин весь день писал лекцию «Великий дурман». На следующий день читал — три часа подряд, до хрипоты, публика была увлечена и взволнованна, долго аплодировали стоя; академик Н. П. Кондаков со слезами на глазах говорил Вере Николаевне: Бунин — «выше всех писателей (...) это такая смелость, это такая правда! Это замечательно! Это исторический день!»

24 сентября (7 октября) Бунин повторил эту лекцию при большем стечении публики, некоторые не смогли в зал попасть, Иван Алексеевич читал еще с большим подъемом, чем первый раз. Репортажи о его выступлениях поместил «Одесский листок» 12/25 сентября и 25 сентября (8 октября) 1919 года. Бунин говорил, отмечала газета, что интеллигенция не знала своего народа, мечтала о «народушке», «богоносце», а народ жил первобытно, как пятьсот лет тому назад. А Вячеслав Иванов говорит «туманно и фразисто о «святом лике» России, о том, что она и только она «спасет Европу». И от этого незнания народа интеллигенцией вышел «великий дурман». В острых выражениях Бунин говорил о Керенском, Брешко-Брешковской, Кокошкине, Горьком, Троцком. По его словам, «без почвы под ногами они стали сеять интернационализм на воображаемой ниве. Они задумали создание какой-то новой России, где еще прежняя Россия далеко не изжита (...) еще не перевелась в России древняя Русь. Ведь переживаемая нами сумятица происходила не раз в прежние эпохи русской истории».

Газета «Южное слово» опубликовала 7 декабря 1919 года статью Бунина, составленную из его лекций: «Из «Великого дурмана». Она была перепечатана в книге «Скорбь земли родной. Сборник статей 1919 года», Нью-Йорк, 1920. В статье действительность того времени оценивается в исторической перспективе.

Бунин, по его словам, расценивает современную жизнь — в России и во всем мире — с точки зрения «не партийной, не политической, а человеческой, религиозной». Об этом он говорил также в речи «Миссия русской эмиграции», развивая мысли, высказанные в лекции «Великий дурман» и в «Окаянных днях». Произошло, говорил он, падение человека, и колеблются «устои всего мира». Есть нечто, продолжал он, что «гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов, это — мой Бог и моя душа... Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и

для нее не соглашался он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть».

Идти на смерть для России в скорбные для нее дни и всегда помнить то, что больше даже России — чем жива душа человека, — это и есть «глагол времен» Бунина.

Бунин стремился осмыслить события 1917—1920 гг. в аспекте мировой истории, русской и европейской. Он читал французского историка Ленотра, писавшего о Великой французской революции. Уже тогда могла возникнуть у него мысль написать рассказ «Богиня Разума» (1924), об актрисе Терезе Обри, игравшей Богиню Разума на «Празднестве Разума» в Париже в 1793 году; празднество это, по замыслу якобинцев, должно было символизировать освобождение человечества от религии. Сюжет рассказа дал Бунину один из очерков Ленотра: «*La Déesse Raison*» («Богиня Разума»). И его самого просила в июне 1919 года артистка Е. А. Полевицкая написать пьесу, в которой она сыграла бы Божью Матерь.

Еще в конце прошлого века Толстой сказал: искусство «дошло до безумия». Было декадентство, потом был футуризм и проч. Теперь Бунин скажет: «Литературе конец»; она, по его словам, возвращена необыкновенно, в ней большую роль стала играть улица, толпа, развилась, отмечает он в дневнике, «привычная корысть лжи, которую так или иначе награждали»; будто о наших доперестроечных днях сказано — о литературе, славившей сталинизм и брежневский застой, когда под подозрение брались поиски истины писателем, устремленность к надземному, таинственному и непостижимому, — изображение тайны любви, тайны красоты и могущество страсти.

Уже тогда, в «окаянные дни», быстро шло обеднение литературы, обеднение русского языка; Бунин обнажил в дневнике эти тенденции на разных примерах; и уже тогда утверждалось, как говорит Пастернак в романе «Доктор Живаго», господство фразы.

Бунин у Блока нередко отмечал отсутствие живых слов и не прощал ему религиозного кощунства, как не прощал и Есенину.

А что сказал бы Бунин сейчас, будь он жив, о недавних десятилетиях, когда столь самоуверенно утверждался примитив, настоящую, большую литературу — М. Булгакова, А. Платонова, В. Шаламова и т. д. — теснило то, что писалось по расчету и в угоду дурному вкусу.

Приближались дни, когда неизбежно было для Бунина оставить Россию. Жизнь держала в напряжении; происходила смена властей в Одессе, где он жил у художника Е. И. Буковецкого, своего друга: красные, белые, иностранные легионы. При петлюровцах атмосфера в городе была вроде той, что изображена Булгаковым в «Белой гвардии»: осадное положение, на улицах стреляют, раздевают. Бунин был подавлен. 30 ноября (13 декабря) 1918 года он говорил жене,

что прошлую ночь «три часа сидел на постели, охватив руками колени, и не мог заснуть.

— Что я за эти часы передумал. И какое у меня презрение ко всему!..»

Дневник Бунина содержит ценные данные для его творческой биографии. В Москве в 1918 г. он включился в литературную жизнь, которая в тех нелегких условиях не прекращалась. Он бывал в «Книгоиздательстве писателей», участвовал в его работе, в литературном кружке «Среда» и в Художественном кружке. При встречах с писателями — И. Шмелевым, В. С. Миролюбовым, А. Белым, И. Эренбургом — велись возбужденные споры о русском народе и современной литературе.

В Одессе также литературная жизнь не замирала. Бунин общался с писателями, участвовал в спорах, бывал в редакциях, в литературно-художественном кружке, в артистическом обществе; в театральном кружке. Среди его знакомых были М. Волошин, посещавший Бунина на Княжеской в особняке художника Е. Буковецкого, где они друг другу читали стихи, И. Соколов-Микитов, Н. Тэффи, В. Инбер, И. Наживин, М. Алданов, А. Толстой, А. Федоров, Т. Щепкина-Куперник, С. Юшкевич, Н. Крапдиевская, Л. Гроссман, А. Шполянский (Дон Аминадо), молодые писатели — Ю. Олеша, Э. Багрицкий, В. Катаев, З. Шишова, А. Фиолетов, которого Бунин цитирует в дневнике.

Были в это время в Одессе салоны, кружки, собрания в клубах, публичные лекции. В Одессе оказались многие видные политики; встречался Бунин с А. Керенским, П. Врангелем, А. Деникиным.

Бунин сотрудничал в 1918—1919 гг. в одесских газетах «Наше слово», «Новое слово», «Южное слово», «Одесский листок», «Одесские новости», а также в одесском журнале «Жизнь» и в еженедельнике «Огоньки». Печатал стихи, рассказы, заметки о Толстом, Тургеневе, И. Ф. Наживине, публицистические статьи.

26 января (8 февраля) 1920 г. Бунин с женой вынуждены были оставить отечество и отплыли в Константинополь; откуда отправились через Софию и Белград в Париж.

За годы изгнания он написал десять новых книг. В их числе — «Воспоминания». Бунин говорил: все лучшее он написал в эмиграции, отделение от России ему не мешало, «мы, писатели, носим родину в себе» («Русские новости», Париж, 1945, 9 ноября).

«Воспоминания» вызвали немало нареканий за резкие порой оценки тех или иных писателей. Говорили: дружил с А. Н. Толстым — а в каком тоне пишет, — будто бы не терпит его за то, что возвратился из эмиграции. Андрей Седых в одном из писем к Бунину, по-видимому, заметил, «что удивлен некоторыми местами из «Третьего Толстого», — знал, что Бунин с Алексеем Толстым дру-

жил и в какой-то степени его даже любил. Ответ не заставил себя ждать, — читаем в книге А. Седых «Далекие, близкие» (Нью-Йорк, 1962, с. 234; в дальнейшем цитируем это издание):

«1 февраля 1950 г. (...) Когда я был «дружен» с Толстым, он был не только не хуже других (Горького, Андреева, Бальмонта, Брюсова и т. д.), но лучше — уже хотя бы потому, что был в сто раз откровеннее их. Это было до его возвращения в Москву. И на ты я был с ним только в последние месяцы его жизни в Париже. (...) И это было вполне понятно: столько было в Толстом талантливости и шарма!»

А. Седых рассказывает о случайной встрече Бунина и М. А. Алданова в Париже с А. Н. Толстым в 1936 г.:

«Встретились в кафе на Монпарнассе. Произошла заминка. Наконец, Бунин подошел к Толстому. Облобызались... Алданов, также очень друживший с автором «Петра I», отказался подойти и подать ему руку. И поступил он, как показало дальнейшее, совершенно правильно.

Бунин просидел с Толстым весь вечер. «Алешка» расточал комплименты и звал вернуться в Москву:

— По твоим, брат, книгам учатся все молодые советские писатели... Да тебя примут с триумфом...

Бунин слушал, улыбался и, как всегда, когда не знал, как ответить, немного иронически говорил:

— Мерси. Мерси!

Прошли две или три недели. В «Литературной газете» появились заграничные впечатления Алексея Толстого. Писал он, примерно, так:

— Встретил случайно Бунина. Он был этой встрече рад. Прочел я его последние книги. Боже, что стало с этим, когда-то талантливым писателем! От него осталось только имя, какая-то кожа и т. д.

Дальше следовали еще строк двадцать в таком же духе. Очень чувствительного Ивана Алексеевича эти впечатления не могли оставить равнодушным... Думаю, именно тогда и родилась у него мысль написать «Третьего Толстого», которую осуществил он только пятнадцать лет спустя» (с. 235).

Статья, о которой говорит А. Седых, — интервью Толстого корреспонденту газеты «Литературный Ленинград» (1936, 23 ноября). Он сказал: «Я был удручен глубоким и безнадежным падением этого мастера. От Бунина осталась только оболочка прежнего мастерства»; «его творчество становится пустой оболочкой...» (Толстой А. Н. Материалы и исследования. М., «Наука», 1985, с. 190).

В этом смысле писали и другие, в те годы и позднее, утверждая, что Бунин утратил «веру в светлое и чистое». И дело не в том, что

лично о Бунине писали. Возникла атмосфера — ныне очищаемая перестройкой, — формировавшая таких критиков, этих, по выражению В. Т. Шаламова, «лжетолкователей, лжеисследователей», писавших «в охранительном духе». Воцарился Азazel.

Бунин скорбел и негодовал, видя упадок морали в среде писателей, комформизм, беспринципность, пресмыкательство перед властью имущими, восхваление «вождей», всяческую ложь. А что было в литературе? Исчезла глубина, правдивость, говорил Бунин, испорчен русский язык. «Слова за последнее время стали очень дешевы, — писал он в книге о Чехове. — И хорошие, и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью». Падение литературы, многократно повторял он, началось задолго до революции — с декадентства, футуризма и проч.

Его дневники, воспоминания — книга очищающая, как водокрещение. Непреклонность Бунина в его борьбе сближает его с Солженицыным. Бунин не был одинок в своем стремлении к прекрасному, к бессмертному. Поиски высокого в жизни одухотворяли творчество А. Платонова, М. Булгакова, Б. Пастернака, А. Ахматовой, Е. Замятина — был целый пласт подлинно большой литературы и в «окаянные дни», и в следующие за ними, слагавшиеся в годы и десятилетия, во многом трагические для русской культуры.

Обычным стало для многих, писавших о Бунине, навешивание на него различных ярлыков за то, что он не возвратился в Москву, в пример ставила А. Н. Толстого, Куприна. Толстой возвратился; только, видимо, не раз вспоминал Бунина, претерпевая унижения. О том, как обошлись с ним высокие чины, облеченные неограниченной властью, будет еще написано теми, кто был свидетелем этого. Всем памятно, как трагически кончила свои дни М. И. Цветаева. Но неведомо до сих пор то, сколь трагичной оказалась судьба и ее сына Мура (Георгия). Пишут: погиб на фронте. А вот что рассказала Лидия Васильевна Введенская, родственница Горького (ее муж — брат жены Максима Пешкова, Надежды Алексеевны, «Тимоши»). Она читала письма Мура, жившего в Ташкенте, к Людмиле Ильиничне Толстой, жене А. Н. Толстого. Письма страшные — о голоде и проч. Он просился в армию; в Ташкенте не брали. Каким-то образом ему удалось переехать в Москву, куда его не пускали, здесь взяли в армию и сразу же отправили в штрафной батальон; он вскоре погиб: видно, «проштрафился» тем, что рос в Париже и что говорил обо всем, чем был недоволен, совершенно откровенно. Это был одаренный юноша, судя по письмам, говорит Введенская, не по возрасту серьезен.

Вернулся из эмиграции весной 1937 г. А. И. Куприн. Вот что поведала Мария Карловна Куприна-Иорданская, когда я посетил ее 7 мая 1963 г. После похорон Куприна его вторая жена, Елизавета

Морицевна, рассказала Марии Карловне, что Александра Ивановича заперли в сумасшедший дом в Ленинграде, чтобы изолировать от людей. Сделано это было под тем предлогом, что Куприн многое забывал, ослабела память. Елизавета Морицевна показывала Марии Карловне фотографию Куприна в лечебнице, лицо его выглядело страшно; вскоре пришлось его забрать в больницу, так он был плох — там он и скончался 25 августа 1938 г. Куприн любил водить дружбу с людьми из простого народа, и теперь его навещал в психлечебнице какой-то портной, с ним он и был сфотографирован.

Осенью 1945 г. советский посол в Париже А. Е. Богомолов, по указанию из Москвы, пригласил в посольство Бунина. Их беседа касалась возможного возвращения Ивана Алексеевича на родину. Я имел честь посетить А. Е. Богомолова в Москве 1 июня 1963 г., бывшего уже в отставке. Бунин, по его словам, сказал, что он подумывает относительно перспективы возвращения в СССР.

Богомолов был человеком большой культуры. Его умом и культурой восхищался Шарль де Голль, писал о нем с большим уважением в «Военных мемуарах». Это была крупная личность, и его встреча с Буниным могла быть вовсе не рутинным исполнением поручения своего правительства. Диктор французских передач на московском радио Ольга Майндорф, внучка секретаря русского посла, в Дании, М. Ф. Майндорфа, рассказывала редактору немецких передач на радио Лидии Иосифовне Давыдовой, племяннице М. К. Куприной-Иорданской, что посол Богомолов очень тепло отнесся к их семейству. Вышло так, что они возвратились в Советский Союз после смерти Сталина, в 1955 г. Это спасло их от участи, постигшей многих репатриантов, ехавших эшелонами в СССР и отправленных в Сибирь, где они погибали. Такая же участь могла постигнуть и Бунина.

Стало чуть ли не привычным противопоставлять Бунину Горького, возвратившегося в 1931 г. из Сорренто, из эмиграции, длившейся десять лет. Что только не писали, с каким притворным возмущением нападали на него за Горького все те же лжетолкователи. А так ли уж он был неправ в своих оценках Горького? Что Горький был фигурой крупной в общественной жизни России — этого Бунин не отрицает. Но нетрудно видеть, что иногда белые одежды «великого пролетарского писателя» оказывались «с кровавым подбоем», как плащ одного из персонажей в «Мастере и Маргарите». В письме Н. И. Бухарину 13 июля 1925 г. Горький наставлял на необходимости борьбы против «идеологии мужикопоклонников и деревнелюбов» — против «крестьянской опасности» в литературе, таким «идеологом» был для него поэт и романист С. Клычков, в конце концов затравленный критикой, арестованный 1 августа 1937 г. и расстрелянный. («Известия ЦК КПСС», 1989, № 1, с. 246)

А что писал Горький о великом философе — последнем в России — Алексее Федоровиче Лосеве (1893—1988), отбывавшем в то время ссылку на строительстве Беломорско-Балтийского канала за деятельность, связанную с печатаньем книги «Диалектика мифа» (1930)? Горький говорит в статье «О борьбе с природой» об опальном «мыслителе» (заклучая это слово в кавычки) как о «бесстыдном лицемере», ремесло которого — «сочинять книги о великих заслугах христианства в истории культуры», и причисляет его к предателям народа («Правда», 1931, 12 декабря. См. публикацию А. Тахо-Годи переписки Лосева с женой в журн. «Дружба народов», 1989, № 7, с. 259—260).

Солженицын пишет: нет лагерей «пушкинских, гоголевских, толстовских — а горьковские есть, да какое гнездо! А еще отдельно каторжный прииск «имени Максима Горького» (сорок километров от Эльгена)! (<...> Если враг не сдается... Скажешь лихое словечко, глядь — а ты ведь уже не в литературе» («Новый мир», 1989, № 10, с. 36).

И жизнь соловедскую Горький восхвалял. Да, не праздным было слово Бунина о Горьком: сколько надо было сотворить зла, чтобы так прославиться!

Неплохо помнить и то, что говорил Л. Н. Толстой о писательстве Горького: он «затрагивает важные вопросы и отвечает на них так, как думает толпа» (Литературное наследство. У Толстого, 1904—1910. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, кн. первая, с. 419); «чувства меры у него нет и неверен психологически» (там же, с. 337). В этих высказываниях Толстого точно то же, что писал о произведениях Горького Бунин (талант, смешанный с угодничеством толпе, улице; дьявольские преувеличения и проч.).

О воспоминаниях Бунина спорили, иные осуждали его, бранили и теперь бранят за бескомпромиссность критических оценок писателей «серебряного века» и новейших. Но голоса эти слабеют, в некоторой мере заглушаются новыми, свежими голосами. Теперь, под колокола гласности, пробуждающееся общественное сознание меняет людей, поколеблены, исчезают старые догмы, цензурные препоны рушатся, и в новом свете предстают претенденты на вечное пребывание на Парнасе Горький и Маяковский. Юрий Карабчиевский с редкой убедительностью обнажил творческий тупик Маяковского (журн. «Театр», 1989, № 7 — 10).

Теперь стало возможно услышать также и тех, чьи голоса слабо доходили прежде до нас из дальнего зарубежья, — современников и друзей автора «Воспоминаний». Поэт и литературный критик Георгий Адамович, близко знавший Бунина, писал в его столетнюю годовщину (газ. «Русская мысль», Париж, 1970, № 2813, 22 октября), что от встреч с ним врезался в память «особый, неизменно гневный

характер его суждений, едва только речь заходила о новой литературе»; и это заставляет, по его словам, задуматься: «Не был ли он прав в своей вражде к духу эпохи, к тому «все дозволено», которое в последние десятилетия стало ее основным творческим принципом?» «Даже видя ошибки Бунина в его оценках, не следует ли отдать должное его стойкости в сопротивлении надвигавшемуся помрачению литературы и искусства», литературному распаду? К ошибкам Адамович относит оценки Буниным Блока: «Наш пресловутый, на все лады превознесенный и расхваленный «серебряный век» был бы в сущности трагикомичен без Блока». Бунин, продолжает Адамович, «остался непреклонен в сопротивлении господствующим течениям, ничем в них не соблазнившись».

Ни в какие «Цехи поэтов» он не входил, держался в литературе особняком, все же его творчество, новаторское самым примечательным образом, сближает его с «серебряным веком». Появление его первых книг совпало с началом символизма; в 90-е годы он оказался в среде Бальмонта, Брюсова и др. С символистами он вскоре порвал окончательно. Но их кружковой жизнью интересовался. Однажды, хоть и случайно, забрел в «Башню» Вяч. Иванова в Петербурге; этот примечательный факт мало кому известен. Критик и публицист Леонид Галич (А. Е. Габрилович) вспоминает:

«Когда-то, очень, очень давно, я встретил Бунина в мансардной квартире Вячеслава Иванова, так называемой «Башне». На него смотрели с пренебрежением, и сам он много лет спустя честно признался мне, что попал он к Вяч. Иванову только потому, что был в этот вечер «с мухой»... Только он один не поверил, что Сологуба надо считать дьяволом и что сам хозяин похож на Христа-Геракла.

В веках ты повόлил венец страстотерпный
Христа-Геракла своим наречь.

Сам Бунин никакой такой пышности и торжественности повόлить не мог. Он не подходил к атмосфере «Башни» и, разумеется, мог попасть туда только случайно» («Новое русское слово», Нью-Йорк, 1949, 13 марта; вырезка из газеты датирована В. Н. Буниной).

В. Ф. Ходасевич писал, что Бунин «почти сразу почувствовал себя чужим среди московских символистов — первенцев русского урбанизма и fin de siècle'я*. Ему, человеку гораздо более «земляному» и здоровому, особенно резко должны были броситься в глаза те внутренние пороки, с которыми символизм родился на свет и которые в совокупности можно бы назвать декадентскою стороной символизма. Именно декадентство, со всеми его бытовыми и литературными проявлениями, было для Бунина всего очевиднее в символизме — и чем очевиднее, тем несноснее. Это и привело к разрыву»

* Конца века (*франц.*).

(газ. «Возрождение», Париж, 1929. Цитирую по вырезке из газеты. ЦГАЛИ).

Преодолеть в себе до конца декадентство, по словам Ходасевича, не смогли ни А. Белый, ни Вяч. Иванов, ни А. Блок.

С символизмом появились новые темы, «была перестроена система образов, многие условности отброшены, поэзия обрела новую свободу», но свобода порой превращалась «в разнузданность, оригинальность в оригинальничанье, новизна в кривляние». Нужна была большая проницательность, чтобы противостоять всему этому. Стыд и отвращение всегда вызывало у Бунина, продолжает Ходасевич, «всякое кривляние, всякая художественная дешевка». Бунин, по его словам, всегда «шел по линии наибольшего сопротивления. Пусть я не разделяю многих мотивов бунинского самоограничения — все же я не могу не признать, что во многих он оказался прав»; как всякая подлинная поэзия, поэзия Бунина «порою заставляет позабывать все «школьные» расхождения...»

М. А. Алданова восхицало у Бунина «необыкновенное благородство формы, красота стиха, скупость в слове, в формах, «острота зрения» (газ. «Последние новости», Париж, 1929. Вырезка из газеты. ЦГАЛИ).

Публицист и литературный критик Ф. А. Степун отмечал в стихах Бунина мелодичность, рельефность описаний, особую аристократичность — «скупость на внешние эфффекты, сдержанность слов и страстей, чувство меры»; от них исходит ощущение «пронзительной лиричности и глубокой философичности», напряженное чувство жизни (ЦГАЛИ).

Н. А. Тэффи писала о книге Бунина «Избранные стихи» (Париж, 1929):

«Он никогда не опьяняется словами, не бьется в падучей творческого экстаза. Он ясен, спокоен и великолепен. (...) В «Избранных стихах» Бунина (как и не в избранных его стихах) всегда, в каждой строфе вы найдете такое слово или такой образ, который восхищает своей необходимостью.

«Мычит теленок, как немой...»

Никто не придумал этого раньше, а как просто и верно!

«Колтунный край древлян...»

Одно это слово «колтунный» — и довольно. Вы видите и знаете и чувствуете этих древлян» (журн. «Иллюстрированная Россия» Париж, 1929, № 216).

Наиболее дальновидные критики не были фраппированы беспощадностью, с какой Бунин изображал литературную жизнь его времени, дивились его прозорливости. Поэт Саша Черный (А. М. Глик-

берг). восхищался остротой его душевного зрения, словесной живописью. «Северянино-Брюсовские пути высокой музе Бунина чужды до отворачивания. Тютчевский горный путь, строгое и гордое служение красоте, сдержанная сила четкой простоты и ясности — мало привлекательны для толпящихся вокруг Парнаса модников и модниц. <...> Рука не устала, дух не оскудел. Только острее и суровее стало слово, наотмашь отбивающееся от надвигающихся сумерек «бесстыдного и презренного века», — писал Саша Черный в рецензии на книгу стихов и прозы Бунина «Роза Иерихона» (изд. «Слово», Берлин, 1924. ЦГАЛИ).

Бунин писал о своей прозе эмигрантских лет — о «Митиной любви», в частности: «...дух, звук, некая пронзительная лиричность, <...> некая легкость, «тонкость», «модерность» и — стихотворность, что ли...»; это сближало его, по собственному признанию, с импрессионистом Марселем Прустом («Русская литература», 1961, № 4, с. 154). Он сказал замечательные слова: называть его реалистом значит не знать как художника. «Реалист» Бунин, — писал он в 1950 г., — очень и очень приемлет многое в подлинной символической мировой литературе».

Близость модернизму прозы Бунина последних десятилетий отмечала и критика. Профессор Юрий Айхенвалд писал в рецензии на сборник «Солнечный удар» (Париж, изд. «Родник», 1927):

«В последнее время слышались в нашей журналистике речи о том, что Бунин принадлежит хотя и к совершенному, но уже отжившему стилю русской литературы и заканчивает собою такую главу ее, которая уходит в историю. Однако, не говоря уже о том, что совершенство вообще истории не имеет и ее переживает, творчество Ив. Бунина в частности и поныне остается таким же свежим и современным, таким же уместным и своевременным, каким оно было всегда. Доказательством этому является и только что вышедшая книга его, светлая и ясная, носящая на себе блики той самой солнечности, которая есть и в ее заглавии: «Солнечный удар». Здесь собраны последние рассказы нашего славного художника, отчасти отмеченные уже на столбцах «Руля». И опять хочется сказать, что в неоспоримом согласии с требованиями литературного легитимизма именно его, Бунина, право на духовное престолонаследие лишний раз подтверждает его новая книга. Но если она таким образом достойна знатных предков нашей словесности, то это нисколько не отнимает у нее и модернизма. Устарелой может считать ее только тот, для кого устарелыми оказываются чистота и красота языка, глубокое проникновение в природу и во всю сложность и тонкость человеческой души, удивительная жизненность изображения. А та смелость ситуаций, па которую для своих героев совсем не скупится автор, явно свидетельствует о том, что эстетический консерватизм вовсе не

препятствует свободе духа. И тема любви, разработанная в рассказах «Солнечный удар», «Ида», «Мордовский сарафан», «Дело корнета Елагина», нашла себе у Бунина перо не менее взыскательное и художественно дерзновенное, чем то, на какое притязают иные из писателей новейших. Разница только в том, что последние нарушают здесь чувство меры, между тем как Бунин этого не делает или почти не делает («почти», в данной книге, относится к некоторым деталям «Дела корнета Елагина»). Увлекательно и привлекательно в лежащем перед нами сборнике то, что, как и всегда, соединяет в нем Бунин глубину размышлений с приметливостью к характерным фактам и мелочам повседневности. Так много философии в «Цикадах» и «Водах многих», и перед конечными вопросами бытия ставят они нас, лицом к лицу с метафизикой и мистикой; но и вся выразительность русской фразеологии, вся специфичность русского быта, вся теплота осязательной родной обстановки выступает перед нами, и слышишь, слышишь, например, такую сочную, такую своеобразную речь липецкого мещанина Ивана Васильевича Чеботарева или видишь, что у студента, только что снявшего белую замшевую перчатку, рука «немножко как бы в руке». В свои дальние плаванья всегда увозил Иван Бунин суздальскую древнюю иконку, «святыню, связующую его нежной и благоговейной связью с его родом, с миром далеким и милым, где его колыбель, его детство, его молодость». И вот именно от Суздаля, от иконы, от России есть в его рассказах прекрасное дыхание; и оно не исчезает и там, где думается углубленно под хрустальный звон цикад, и там, где шумят чуждые волны океана, и там, где еще другой слышится отраженный шум — от «гигантского человеческого табора», который на пространствах мировой истории шумно движется в какие-то обетованные земли. Опять мы встречаем обычное для Бунина сочетание реальности и мифа, близости и экзотики, самых отдаленных времен прошлого и минуты текущей. Игра созвездий на тропических небесах — и «одна из наших орловских ночей»... Да, имел автор право сказать о себе, и мы имеем право повторить о нем вот эти слова: «Жизнь моя трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои!» (ЦГАЛИ).

Бунина можно назвать, как называл себя А. К. Толстой, «певцом, державшим стяг во имя красоты».

«Воспоминания» вышли в Париже в 1950 г. Алданов писал Бунину, что это «книга бесстрашная — и страшная. Написана она с огромной силой» (9 октября 1950. Переписку Бунина с Алдановым цитирую по публикации проф. Ватерлооского университета А. Зверса, Канада; напечатано: «Новый журнал», Нью-Йорк, кн. 150—155).

Для перевода на английский язык Бунину нужен был «очень скорый и хороший переводчик»: книга была продана в Лондоне издателю Леману. Алданов рекомендовал американскую переводчицу Е. А. Рудкую. Ввиду некоторой разницы между английским и американским языком надо было перевод исправить, по выражению Алданова, «на британский лад». М. И. Будберг — бывшая секретарша Горького, героиня книги Н. Н. Берберовой «Железная женщина», — переводить отказалась, согласилась только «просмотреть» перевод, она обиделась в «Воспоминаниях» за Блока и Горького.

Издатель Salman Levy, с одобрения литературного агента Бунина Гофмана, сделал в английском переводе сокращения, это возмутило автора книги. Вышли также издания «Воспоминаний» американское и французское. Главные нью-йоркские газеты, по словам Бунина, «хвалили» книгу.

Бунин не мог успокоиться и тогда, когда на земле, столь любимой им, оставались для него такие малые сроки. В переписке и при встречах с А. Седых разил острым словом писателей, у которых находил «фальшь, пошлость и напыщенность». А. Седых вспоминает:

«В последний раз виделись мы в Париже в декабре 51 года, когда Иван Алексеевич уже не покидал постели. Печальная была эта встреча... За два года болезнь изменила его ужасно. В приезд 49 года он еще выходил в столовую и присаживался за стол, принимал людей. На этот раз все было иначе. Вера Николаевна, сама очень постаревшая и измученная, с вечным страхом в глазах, вышла ко мне и как-то смущенно сказала:

— Яну плохо, он совсем уж не встает и никого не принимает. Но вас, конечно, рад будет увидеть.

Мы зашли в столовую и сели за стол, накрытый клеенкой. Она рассказывала, жаловалась на старость, на болезни. Время от времени за стеклянной дверью, в соседней комнате, кашлял Иван Алексеевич. Кашель у него был сухой, мучительный, разрывавший грудь.

Наконец, она повела меня в эту комнату. Там был полумрак и стоял тяжкий запах, какой бывает в комнатах больных, боящихся открытых окон, — сложный запах лекарств, крепкого турецкого табака и немощного, старческого тела. Горела в комнате одна лампочка. В углу, на низкой железной кровати, под солдатским одеялом, полулежал, полусидел Бунин.

Сначала я испугался, — так страшен был его вид. Он как-то высох, стал маленький, щеки впали и обросли седой щетиной, — чем-то он напомнил мне Шмелева. И на этом измученном лице, изрытом глубокими морщинами, я увидел большие глаза, внимательно на меня смотревшие, — он хотел, видимо, проверить, какое впечатление произвел на меня... Тяжело вспоминать, но я так растерялся, что даже не успел придать лицу то «бодрое» выражение, с которым при-

нято входить в комнату к тяжело больным людям, и так беспомощно простоял несколько секунд, а потом шагнул вперед, чтобы его обнять. Но Иван Алексеевич меня остановил:

— Дорогой мой, теперь больше ни с кем не целуюсь и за руку не здороваюсь... Боюсь, занесут заразу. Да и вас могу заразить: меня вечно теперь лихорадит. <...>

Бунин стал говорить о писательнице, которую он не любил и с которой я не встречался, объяснять свое к ней отношение, потом крепко закашлялся и долго молчал. Видно было, что разговор его утомлял, и, кажется, впервые Иван Алексеевич ни разу не улыбнулся, никого не изобразил, ни над кем не пошутил. Да и не до того ему было! Все же, я быстро убедился, что при ужасающей физической слабости, при почти полной беспомощности, голова его работала превосходно, мысли были свежие, острые, злые... Зол он был на весь свет, — сердился на свою старость, на болезнь, на безденежье, — ему казалось, что все хотят его оскорбить и что он окружен врагами. Поразила меня фраза, брошенная им вдруг, без всякой связи с предыдущим:

— Вот, я скоро умру, — сказал он, понизив голос почти до шепота, — и вы увидите: Вера Николаевна напишет заново «Жизнь Арсеньева»...

Мне показалось сначала, что он шутит. Нет, Бунин не шутил, смотрел испытующе, не спускал с меня пристальных глаз и, как всегда бывало с ним в минуты душевного расстройства, словно отвечая на свои собственные мысли, сказал:

— Так... так...

Понял я его много позже, когда уже после смерти мужа Вера Николаевна выпустила свою книгу «Жизнь Бунина».

Это было наше последнее свидание. Вернувшись домой, я нашел рассказ Бунина «Мистраль», написанный им в бессонную ночь в Грассе:

«...Горит свет над старой дубовой кроватью, на которой уже столько лет сплю я в этом старом чужом доме, лежит на приподнятой подушке худое лицо, видны под светом, падающим сверху, темные впадины глаз, виден белеющий лоб, косой ряд в серебристых волосах... Потом я опять поднимаю руку — и только гул и тьма, в которой всюду реет что-то как бы светящееся...

Ты взошел на корабль, совершил плаванье, достиг гавани: пора сходить»...

Подобно моряку Бернару («Бернар», 1952), он мог в свои последние дни сказать:

«Думаю, что я был хороший моряк: Je crois bien que j'étais un bon marin».

А. Бабореко

ОКРАСНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАДАНИЯ

*В этот раздел книги включены,
кроме «Окаянных дней»,
заметка «От автора»
и дневник 1917—1918 гг.,
который при жизни Бунина
опубликован не был.*

ОТ АВТОРА

Исполняя желание «Издательства имени Чехова», даю некоторые отрывки из своих «Автобиографических заметок».

Я происхожу из старого дворянского рода, о начале которого в «Гербовнике дворянских родов» сказано так:

«Род Буниных идет от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV веке из Литвы со своей дружиной на ратную службу к Великому Князю Московскому Василию Васильевичу».

Род наш дал России немало видных деятелей на поприще государственном, воевод, стольников и «в иных чинах», а в области литературной известны Анна Бунина, которую Карамзин называл русской Сафо, и Василий Жуковский, внебрачный сын тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, ставший, в силу этого, Жуковским по фамилии своего крестного отца, прославившийся больше всего как основоположник той новой русской литературы, первым гением которой был Пушкин, называвший его своим учителем.

По матери я принадлежу к дворянскому роду Чубаровых, тоже весьма старому, лишившемуся, по нашим семейным преданиям, княжеского титула при Петре Великом, который казнил стрелецкого полковника князя Чубарова, бывшего на стороне царевны Софии.

Все предки мои были связаны с народом и с землею, помещиками были и деды и отцы мои по матери и по отцу, владевшие имениями в средней России, в том плодородном Подстепье, где московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, и где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть ли не все величайшие русские писатели во главе с Толстым.

Я родился 10 октября 1870 года, в Воронеже. Детство и раннюю юность провел в деревне, писать и печататься начал рано. Довольно скоро обратила на меня внимание и критика. Затем мои книги три раза были отмечены высшей наградой Российской Академии Наук — премией имени Пушкина. В 1909 г. эта Академия избрала меня в число двенадцати ее Почетных членов, среди которых был Толстой. Однако известности более или менее широкой я не имел долго, ибо не при-

надлежал ни к одной литературной школе. Кроме того, я мало вращался в литературной среде, много жил в деревне, много путешествовал по России и вне России: в Италии, в Турции, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунизии, в тропиках. Популярность моя началась с того времени, когда я напечатал свою «Деревню». Это было начало целого ряда моих произведений, резко рисовавших русскую душу, ее светлые и темные, часто трагические основы. В русской критике и среди русской интеллигенции, где, по причине незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения мои вызвали страстные враждебные отклики. В эти годы я чувствовал, как с каждым днем все более крепнут мои литературные силы. Но тут разразилась война, а затем революция. Я был не из тех, кто был ею застигнут врасплох, для кого ее размеры и зверства были неожиданностью, но все же действительность превзошла все мои ожидания: во что вскоре превратилась русская революция, не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было сплошным ужасом для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России, после захвата власти Лениным, бежали сотни тысяч людей, имевших малейшую возможность бежать. Я покинул Москву 21 мая 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», и 26 января 1920 г., испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал сперва на Балканы, потом во Францию. Во Франции я жил первое время в Париже, с лета 1923 г. переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы. В 1933 г. получил Нобелевскую премию.

В эмиграции мною написано десять новых книг.

Первое собрание моих сочинений было издано в России Марксом. В эмиграции — фирмой «Петрополис». Мне принадлежат переводы в стихах: «Песнь о Гайавате» Лонгфелло, четыре фрагмента из «Золотой легенды» его же, «Годива» Теннисона, три мистерии Байрона (Каин, Манфред, Небо и Земля). Мои оригинальные произведения суть романы, повести, рассказы и стихотворения, вошедшие в издание «Петрополиса», сборник рассказов под общим заглавием «Темные аллеи», книга «Воспоминаний», книга «Избранных стихов» и книга «Освобождение Толстого» (о его жизни и учении).

Первое полное издание «Жизни Арсеньева» опубликовано «Издательством имени Чехова».

Париж, 17 октября 1952 г.

ИВ. БУНИН

ДНЕВНИК 1917—1918 гг.

Глогово. 1 августа 1917 г. Хорошая погода. Уехала Маня. Отослал книгу Нилуса Клестову. Письмо Нилусу. Низом ходил в Колонтаевку. Первые признаки осени — яркость голубого неба и белизна облаков, когда шел среди деревьев под Колонтаевкой, по той дороге, где всегда сыро.

Слух от Лиды Лозинской, — Ив. С. в лавке говорил, что на сходке толковали об «Архаломеевской ночи» — будто должна быть откуда-то телеграмма — перебить всех «буржуев» — и что надо начать с Барбашина. Идя в Колонтаевку, зашел на мельницу — то же сказал и Сергей Климов (не зная, что мы уже слышали, что говорил Ив. С.): на деревне говорили, что надо вырезать всех помещиков.

Позавчера были в Предтечеве — Лихарев сзывал земельных собственников, читал устав «Союза земельных собственников», приглашал записываться в члены. Заседание в школе. Жалкое! Несколько мальчишек, Ильина с дочерью (Лидой), Лихарев (Коле сказал — «риторатор»), Влад. Сем., Коля, я (только в качестве любопытного), что-то вроде сельского учителя в старой клеенчатой накидке и очках (черных), худой старик (вроде начетчика), строгий, в серой поддевке, богач мужик (Коля сказал — Саваоф), рыжий, босый, крепкий сторож училища. У всех последних страшное напряжение и тупость при слушании непонятных слов устава. Приехал Абакумов, привез бумаги на свои владения, все твердил, что его земля закреплена за ним, «остолблена его величеством». Думал, что членские взносы пойдут на «аблакату» (долженствующего защищать интересы земельных собственников).

Генерал Померанцев, гостящий у Влад. Сем., замечательная фигура.

Абакумов вернулся вместе с нами, возбужденный. «Ну, записались! Теперь чтой-то даст бог!»

2 августа. Очень холодное, росистое утро. Юлий и Коля ездили в Измалково.

День удивительный. В два часа шли на Пески по саду, по аллее. Уже спокойно, спокойно лежат пятна света на сухой земле, в аллее, чуть розоватые. Листья цвета заката. Оглянулся — сквозь сад некрашенная железная, иссохшая крыша

амбара блестит совершенно золотом (те места, где стерлась шелуха ржавчины).

Перечитывал Мопассана. Многое воспринимаю по-новому, сверху вниз. Прочитал рассказов пять — все сущие пустяки, не оставляют никакого впечатления, ловко и даже неприятно щеголевато-литературно сделанные.

Был Владимир Семенович. Отличный старик! Как Абакумов, не сомневается в своем пути жизненном, в своих правах на то и другое, в своих взглядах! Жалуется, что революция лишила его прежних спокойных радостей хозяйства, труда.

3 августа. Снова прекрасный день, ветер все с востока, приятно прохладный в тени. На солнце зной. Дальние местности в зеленовато-голубом тумане, сухом, тончайшем.

Продолжаю Мопассана. Места есть превосходные. Он единственный, посмевающийся без конца говорить, что жизнь человеческая вся под властью жажды женщины.

В саду по утрам, в росистом саду уже стоит синий эфир, сквозь который столбы ослепительного солнца. До кофе прошел по аллее, вернулся в усадьбу мимо Лозинского, по выгону. Ни единого облачка, но горизонты не прозрачные, всюду ровные, сероватые. Коля, Юлий, я ездили в Кочуево к Ф(едору) Д(митриевичу) за медом. Возвращались (перед закатом), обогнув Скородное. Разговор, начатый мною, опять о русском народе. Какой ужас! В такое небывалое время не выделил из себя никого, управляетса Гоцами, Данами, каким-то Авксентьевым, каким-то Керенским и т. д.!

4 августа. Ночью уехал (в Ефремов) Женя. Почти все утро ушло на газеты. Снова боль, кровная обида, бессильная ярость! Бунт в Егорьевске Рязанской губернии по поводу выборов в городскую думу, поднятый московским большевиком Коганом, — представитель совета крестьянско-рабочих депутатов арестовал городского голову, пьяные солдаты и прочие из толпы убили его. Убили и товарища городского головы.

«Новая жизнь» по-прежнему положительно ужасна! Наглое письмо Троцкого из «Крестов» (?) — напечатано в «Новой жизни».

День — лучше желать нельзя.

Если человек не потерял способности ждать счастья — он счастлив. Это и есть счастье.

8 августа. Шестого ездил в Каменку к Петру Семеновичу. Когда сидели у него, дождь. Он — полное равнодушие к тому, что в России. «Мне земля не нужна». «Реквизиция

хлеба? Да тогда я и работать не буду, ну его к дьяволу!»

Погода все время прекрасная.

Нынче ездили с Колей в Измалково. Идеальный *августовский* день. Ветерок северный, сушь, блеск, жарко. Когда поднимались на гору за плотинной Ростовцева, думал, что бывает, что стоит часа в четыре довольно высоко три четверти белого месяца, и никто никогда не написал такого блестящего дня с месяцем. Люблю август — роскошь всего, обилие, главное — огороды, зелень, картошка, высокие конопки, подсолнухи. На мужицких гумнах молотьба, новая солома возле тока, красный платок на бабе...

Колю подвез к почте, сам ждал его возле мясной лавочки. Возле элеватора что-то тянут — кучка людей сразу вся падает почти до земли. Из южного небосклона выступали розоватые облака.

Поехали домой — встретили на выгоне барышню и господину из усадьбы Комаровских. Он весь расхлябанный поинтеллигентски: болтаются штаны желтоватого цвета, кажется, в сандалиях, широкий пояс, рубаха, мягкая шляпа, спущены поля, усы, бородка — á la художник.

9 августа. Ездили с Верой в Предтечево. Жаркий дивный день. Поехали к Романовским за медом, не доехали — далеко чересчур мост, повернули назад, поехали к Муромцевым. (...)

11 августа. С утра чудесный день. Вера не совсем здорова, опять боль, хотя легкая, там же, где в прошлом году, и под ложкой. Беспokoйное темное чувство.

Перед вечером к Федору Дмитриевичу на дрожках — я, Коля, Юлий. Потом кругом Колонтаевки. Тучи с запада. В лесу очень хорошо, я чувствовал тайный восторг какой-то, уже чувствуется осенняя поэзия. Дорога в лесу и то уже осенняя отчасти. Когда выехали на дорогу — грандиозная туча с юга, синяя. Ливень захватил уже на дворе.

Дней десять тому назад начал кое-что писать, начинать и бросать. Потом вернулся к делу Недоноскова. Нынче уже опять почувствовал тупость к этой вещи.

13 августа. Как и вчера, день с разными тучками и облаками, — небом (?) необыкновенной красоты. Вчера опять ездили с Колей к Федору Дмитриевичу за медом. Умиляющее предчувствие осени.

Нынче Коля уехал в Ефремов. Совсем уехала кухарка с детьми, с Жоржиком. Я возле телеги шутил с ним, целовал (как не раз и прежде) — они уехали, даже головой не кивнув. Животные!

Ходили с Юлием к Вас<...> Дежурному. Заходили тучи, была жара. Потом разошлось, прелестная погода. Сидели в лощинке, читали газету. Потом по деревне. Грязь, все развалено. Собственно, никто ничего не делает почти круглый год. А Шмелевы лгут, лгут про русский народ!

Кажется, одна из самых вредных фигур — Керенский. И направо и налево. А его произвели в герои.

Читал «Наше сердце».

«Хвост и уши отрубить (собаке) — злей будет». Как глупо!

14.VIII. Проснулся от юношески сильной эр<отики>, — сон, что мне отдалась в первый раз какая-то девушка, чарующая какой-то простой прелестью.

Девка на варке что-то работает лопатой железной — заносит высоко и ставит ногу на лопату — видел это, выйдя на двор днем, и волновался.

Кончил «Наше сердце». Искусно, местами очень хорошо, но остался холоден. Так длинно и все об одном и в конце концов пустяковым. Герой совсем не живой и не заражает сочувствием, героиня видна, но тоже как будто неживая.

Утром немного <работал> над «Любовью», немного так — одесское утро (начало — чего, еще не знаю).

Облака и солнце. После обеда я, Юлий и Вера в Колонтаевку. Жара. Вера после болезни еще — прозрачней, что ли. Зашел в контору, там наговорил глупостей с Каблуковым и Дм. Алекс., взял «Раннее утро». Прочел первый день московского совещания. Царские почести Керенскому, его речь — сильно, здорово, но что из этого выйдет? Опять хвастливое красноречье, «я, я» — и опять и направо и налево. Этого совместить, вероятно, нельзя. Городской голова — Руднев! до сих пор не могу примириться! — приветствует совещание, а управские курьеры хулиганят в знак протеста против этого «контрреволюционного» совещания — вылили чернила из всех чернилниц — и управа не работала! Зайчик (солдат наш), «как капля солнца», отражает в себе все главное русского демократии (тот, что прогнал девиц из Ельца, переписывавших хозяйство мужиков, и кричал, чтобы мужики, выбиравшие представителей на выборы в церковный собор, не подписывались — «вас в крепостное право хотят обратить»).

К вечеру свежий ветер с юга, тучи. Лежал на соломе. Облака на восточном горизонте изумительны. Гряды, горы бледно, дымчато лиловатые (сквозь них бледность белизны

внутренней) — краски невиданной у нас нежности, южности.

15 августа. Весь день с небольшими перерывами сильный прямой дождь (обрушивался еще ночью, я слышал сквозь сон). Бахтеяровская сторона как в дымке. Все еще очень зелено и густо, поэтому похоже на летний дождь.

Засыпая вчера, обдумывал рассказ. Конец 20-х годов, Псковская губерния, приезжает из-за границы молодой помещик, ездит к соседу, влюбляется в дочь. Она небольшая, странная, ко всему безучастная. Чувствует, и она его любит. Объяснение. «Не могу». Почему? Была в летаргии, побывала в могиле. Нынче другой рассказ. А <н>гличанка с термосом. Всюду встречаю — Бренер-Пасс, Алжир, Сицилия, Рим, потом Асуан. Умирает на Элефантине в чахотке. Всю жизнь мыкалась, весь мир «very nice»*. Нехороша; как ребенок, радостна.

На висячей зелени-хвое за окном висят бисером стеклянные капли. Плещет желоб. Статья Кусковой. «Репрессиями не поможешь. Нужно просвещать деревню. Футбол и т. д.».

16 августа. Шипит сад, волнует, шумит дождь. Ветер, дождь часто припускает. Читал Мопассана, потом Масперо о Египте, — волновался, грезил, думая о путешествии Бауку в Финикию, потом читал Вернон Ли и думал о Неаполе, Капри, вспоминал Флоренцию.

Высунулся в окно. Сорочка со скребом когтей перебралась через потемневший от дождя забор из сада и пробежала мимо окна, улыбнувшись мне дружески, сердечно и замотав хвостом. Как наши души одинаковы!

17 августа. День прекрасный. Много гуляли с Юлием. Часу в пятом пошли мимо кладбища, потом по лугу в лес, называемый нами «Яруга».

Ночь лунная. Гуляли за садом. Шел по аллее один — соломенный шалаш и сад, пронизанный лунным светом, — тропики. Лунный свет очень меняет сад. Какое разнообразие кружевной листвы, ветвей — точно много-много пород деревьев.

18 августа. В час уехал Юлий — в Москву. Лето кончилось! Грусть, боль, жаль Юлия, жаль лета, чувство горькой вины, что не использовал лета лучше, что мало был с Юлием, мало сидел с ним, катался. Мы вообще, должно быть, очень виноваты все друг перед другом. Но только при разлуке чувствуешь это. Потом — сколько еще осталось нам этих лет

* «очень мил» (англ.).

вместе? Если и будут эти лета еще, то все равно остается их все меньше и меньше. А дальше? Разойдемся по могилам! Так больно, так обострены все чувства, так остры все мысли и воспоминания! А как тушы мы обычно! Как спокойны! И неужели нужна эта боль, чтобы мы ценили жизнь?

Читаю эти дни Вернон Ли «Италия». Все восторгается, все изысканно и все только о красивом, о изящном — это скоро начинает приводить в злобу.

20 августа. Большинство женщин беспокойно мучается недовольством своей жизнью, ищет «цели жизни», изменяет или ждет любовников в надежде, что тогда придет счастье — почему? Оне растут, оне воспитываются в сознании, им всячески внушают, что оне непременно должны быть счастливы, любимы и т. д.

Чем я живу? Все вспоминаю, вспоминаю. Случалось — увидишь во сне, что был близок с какой-нибудь женщиной, с которой у тебя в действительности никогда ничего не было. После долго чувствуешь себя связанным с нею жуткой любовной тайной. Не все ли равно, было ли это в действительности или во сне! И иногда это передается и этой женщине.

Вчера ездили с Верой на шарабане кататься — к Крестам, потом в Скородное и вокруг него — обычная дорога, только наоборот. День был прекрасный. Когда выехали, поразила картина (как будто французского художника) жнивья (со вклиненной в него пашней и бархатным зеленым кустом картофеля) — поля за садом, идущего вверх покато — и неба синего и великолепных масс белых облаков на небе — и одинокая маленькая фигура весь день косящего просо (или гречиху красно-ржавую) Антона; и все мука, мука, что ничего этого не могу выразить, нарисовать!

Читал (и нынче читаю) «Завоевание Иерусалима» Гарри. Много времени, как всегда, ушло на газеты. Керенский невыносим. Что сделал, в сущности, этот выскочка, делающий все больше наглестом? Как смел он крикнуть на Сахарова «трус»?

Все читаю Мопассана. Почти сплошь — пустяки, наброски, порой пошло.

Нынче серо, прохладно, прохлада уже осенняя. Все утро звон — кого-то хоронят. Поминутно, с промежутками: «блям!» Вот кого-то несут закопать... как мы равнодушны друг к другу! Ведь, в сущности, я к этому отношусь как к смерти мухи.

Все гул, гул молотилки паровой последние дни — у Барбашина.

21 августа. Серый, со многими осенними чертами, с много раз шедшим дождем день. Пели петухи, ветер мягкий, влажный, с юга, открыта дверь в амбар, там девки метут мучной под, — осень! Свежая земля в аллеях уже сильно усыпана желтой листвой. Листья вяза шершавые, совсем желтые.

Перечитываю «Федона». Этот логический блеск оставляет холодным. Как много сказал Сократ того, что в индийской, в иудейской философии!

В девять вечера вышли с Верой — ждали Антона и Коли со станции, пошли к бывшей монополии. Луна была еще низко над нашим садом. Многое еще в очень длинных тенях. Над бахтеяровской стороной ужасное и мрачное величие сгрудившихся туч, облаков (против луны). Белизна домов там — точно это итальянский городок. Коля опять не приехал.

Газеты. Большевики опять подняли голову. Мартов... требует отмены смертной казни.

В 10 1/2 вышел один гулять по двору. Луна уже высоко — быстро неслась среди ваты облаков, заходя за них, отбрасывала на них круг еле видный, красновато-коричневый (не определишь). За чернотой сада облака шли белыми горами. Смотрел от варка: расчистило, деревья возле дома и сада необыкновенны, точно бёклиновские, черно-зеленые, цвета кипарисов, очерчены удивительно.

Ходил за сад. Нет, что жнивье желтое, это неверно. Все серо. На северо-востоке желтый раздавленный бриллиант. Юпитер? Опять наблюдал сад. Он при луне тесно и фантастично сдвигается. Сумрак аллеи, почти вся земля в черных тенях — и полосы света. Фантастичны стволы, их позы (только позы и разберешь).

11 1/2 ч. Лежал в гамаке, качался — белая луна на пустом синем небе качалась как маятник. В спину дуло.

22 августа. Дождь льет, но день вроде вчерашнего. Начал читать Н. Львову — ужасно. Жалкая и бездарная провинциальная девица. Начал перечитывать «Минеральные воды» Эртеля — ужасно! Смесь Тургенева, Боборыкина, даже Немировича-Данченко и порою Чирикова. Вечная ирония над героями, язык пошленький. Перечитал «Жестокие рассказы» Вилье де Лиль Адана. Дурак и плебей Брюсов восхищается. Рассказы — лубочная фантастика, изысканность, красивость, жестокость и т. д. — смесь Э. По и Уайльда, стыдно читать.

Дочь Аннета. Какая-то почти жуткая девочка, очень

крупная, смесь девочки и женщины, — оттого что очень рано стала б..., должно быть?

«Учение есть припоминание». Сократ.

Последние минуты Сократа, как всегда, очень волновали меня.

Вечером приехали Коля с Евгением. Коля в Ефремове все задыхался.

Взята Рига. Орлов рассказывал Коле — где-то церковный сторож запретил попу служить, запер церковь — поп «буржуй», «ездил в гости к Стаховичу».

23 августа. Вчера после обеда дождь лил до восхода луны, часов до десяти. Нынче часов с двенадцати опять то же. Похолоднело. Лес за Бахтеяровым в тумане.

Думал о Львовой, дочитав ее книгу. Следовало бы написать о ней рассказ.

Читаю «Стихи духовные» (со вступительной статьей Ляцкого).

Почти весь день нельзя выйти — очень часто осенний ливень.

Вечером Антон привез газеты, письмо Юлия. Юлий с вокзала заплатил извозчику одиннадцать рублей. В газетах — ужас: нас бьют и гонят, «наши части самовольно бросят позиции». Статья Кусковой — «Русские кошмары» — о мужиках, как они не дают хлеба и убивают агентов правительства, разъясняющих необходимость реквизиции хлеба. «Разруха ли»!

24 августа. С утра сильный ветер, часто припускает дождь.

Перечитываю стихи Гиппиус. Насколько она умнее (хотя она, конечно, по-настоящему не умна и вся изломана) и пристойнее прочих — «новых поэтов». Но какая мертвяжина, как все эти мысли и чувства мертвы, вбиты в размер!

6 ч. 20 м. Свет солнца с заката в комнате — на правой притолоке двери, кусок на красной материи на отвале кровати и на стене над кроватью (на южной стене) — желтый с зеленоватым оттенком. Эти светлые места все испещрены колеблющейся тенью деревьев палисадника, волнуемых ветром. Кажется, переходит в погоду. Читаю стихи Гиппиус «Единый раз вскипает пеной...».

26 августа. Позавчера вечером были с Верой у Лозинских, — у них оказалось «Русское слово» за двадцать третье. Мы ходили при луне (уже невысокой, три четверти), ждали, пока они дочитают, потом взяли. Аресты великих князей, ужасы нашего бегства от Риги, корпус бежал от немецкого полка, переходившего Двину.

Вчера было прохладно и серо, вид уже совсем осенний. Нынче поминутно дождь, ветер косо гонит его, мелкий, с северо-запада, бахтеяровская сторона часто в тумане.

Вчера мы с Колей ходили к Пантюшку. Он ничего, но подошли бабы. Разговор стал противный, злобный донельзя и идиотский, все на тему, как господа их кровь пьют. Самоуверенность, глупость и невежество непреодолимые — разговаривать бесполезно.

Нынче читаю о Владимирско-Суздальском царстве в книге Полевого. Леса, болота, мерзкий климат — и, вероятно, мерзейший, дикий и вульгарно-злой народ. Чувствую связь вчерашнего с этим — и отвратительно.

Дочитал Гиппиус. Необыкновенно противная душонка, ни одного живого слова, мертво вбиты в тупые вирши разные выдумки. Поэтической природы в ней ни на йоту.

27 августа. День серый и холодный. Вечером приехал Митя. Его рассказ о трех юнкерах.

28 августа. Солнечный прохладный день.

29 августа. День еще лучше. Ходили в контору — я, Вера, Митя. Жуткая весть из Ельца — Митя говорил по телефону: Корнилов восстал против правительства. В четыре часа пошли низом в Колонтаевку. Возвратясь, опять зашли в контору. Весть подтверждается (...)

30 августа. Ездили с Митей в Измалково. На почте видел только «Орловский вестник» 29-го. Дерзкое объявление Керенского и еще более — социалистов-революционеров и социал-демократов — «Корнилов изменник». Волновался ужасно.

31-го. Телефон из Ельца — Орлов и Арсик — что «состоялось соглашение». Дико! Вера утром уехала с М. Н. Рыпковой в Предтечево. Поехали за ней с Митей. Там «Новое время» и «Утро России». Ошалел от волнения. Воззвание Корнилова удивительно! Вечером газеты — «Русское слово» от 29 и «Р(усский) г(олос)» (?) от 30-го. Последняя поразила: истерически-горжественное воззвание Керенского: «Всем! всем! всем!» Таких волнений мало переживал в жизни. Просто пришибло.

Нынче весь день угнетен, как не запомню. Снова звонил Митя в Елец. Оказывается, нет, не все еще кончено, «только ночи настали», сказал К., будто взят Курск Калединым.

В пятом часу поехал в Жилых за рисом. Дни были хорошие, нынче серо, прохладно, все беззвучно, неподвижно.

В Жилых у плотины девочка навстречу. «Где потребилка?» — «Вон на той стороне, где камни на амбаре». Двой-

ная изба, в сенцах свиньи. Грязь, мерзость запустения. В одной половине пусто, в углу на соломе хлеба. Милая баба, жена Семена, торгующего. Ждал его. Но сперва пришел пьяный мужик, просил что-то «объяснить». На взводе затеять скандал. Потом старик, которого Семен назвал «солдатом», и молодой малый с гармонией, солдат, гнусная тварь, дезертир, ошалевший, уставший от шатанья и пьянства. Молчал, потом мне кратко, тоном, не допускающим возражений: «Покурить!» Мужиков это возмутило — «всякий свой должен курить!». Он: «Тут легкий». Я молча дал. Когда он ушел, «Солдат» рассказывал, что дезертира они не смеют отправить: пять раз сходку собирали — и без результату: «Нынче спички дешевы... сожжет, окрадет». Вечером газеты, руки дрожат.

2 сентября. С половины дня ливень и до ночи. И ночью, хотя уже не такой — до утра. «Русское слово» от первого.

3 сентября. Утром «Русское слово» от 2-го. Опять подлая игра в смену кабинета. Где Корнилов? Все-таки, видимо, ужасно испугались. Первый день я сравнительно спокойней. С утра дождь, потом распогодилось. Но все насыщено водой.

4 сентября. Письмо от Юлия. Он еще лечится. Это ужасно. Неужели это не придет в норму или будет повторяться?

«Русское слово» от 31-го и 1-го. В совете рабочих депутатов Каменев и Стеклов говорят, что «снесут голову с Корнилова». «Голос народа» от 2-го: Корнилов будто арестован.

Серо, потом то дождь, то солнце. Сейчас полдень. Уехал Евгений.

К вечеру распогодилось.

В десятом часу вечера — газеты. *Государственный переворот!* Объявлена республика. Мы ошеломлены. — Корнилов арестован.

Воля Гоца, Дана, Либера и т. д. восторжествовала — Россия в их руках! Что же значили эти переговоры Керенского с Кишкиными?! — Авксентьев, Либер в ужасе: «Каледин!»

Заснул почти в два часа.

Ночь была очень светлая, небо засыпано чистейшими звездами.

С неделю уже ровно ничего не делаю.

7 сентября. Уехал Митя. Мы с Колей ездили по предтечевским лугам, потом через Победимовых и Скородное домой, было солнечно, лес уже по-осеннему в свете и волнении.

Мужики все рубят и рубят леса. К вечеру, опять на дождь, ехали назад, на севере — мертв(енно)-синеватые облака.

8 сентября. Погода светлая, хорошая. К вечеру приехал Мишка, возивший Митю: опоздали на поезд, поехали в Елец.

Был в конторе. Сын медника, рабочий, приятный, хорошо осведомлен, но кое в чем путается. И против большевиков, и «Новую жизнь», увидав у меня, назвал «хорошей газетой». Я послал с Митей отказ в «Новую («Свободную») жизнь».

9 сентября. Ночью была ужасная гроза, ураган. Нынче хорошо, ветрено, солнечно.

Были на Жадовке, у Сергея Климова. Все в один голос одно: «Корнилов нарочно выпущен немцами» и т. д. В этом и весь призыв его.

Клен в жадовском саду — цвета кожи королька, по оранжевому темно-красное.

Изумительны были два-три клена и особенно одна осинка в Скородном позавчера: лес еще весь зеленый — и вдруг одно дерево, сплошь все в листе прозрачной, багряно-розовой с фиолетовым тоном крови.

Читал Жемчужникова. Автобиография его. Какой такт, благородство!

Сейчас пишу — по рукам, тетради желтый свет заходящего солнца. Оно садится за бахтеяровской усадьбой, как раз против спуска с той горы. По моим часам около шести.

Сергей Климов: «Да Петроград-то мать с ним. Его бы лучше отдать поскорей. Там только одно разнообразие».

11 сентября. Все пустые дни! Читал Жемчужникова, «Анну Каренину». Приехала М. Ник. Рышкова. Погода холодная, переменчивая, дурная.

12 сентября. Очень холодно. Кажется, вчера утром — косые космы пухлых низких облаков грязно-лиловатых, северных, морских по западному горизонту (утром часов в восемь). Среди дня много солнечных моментов, но ветер, прохладно. К вечеру очень холодно — впору полушубок. Луна уже три четверти.

13 сентября. С утра очень холодно, был за садом, летели листья с кленов, взял один.

Коля в астме. Вечером поехал со мной в Знаменье. Серо, потеплело — дочитал Жемчужникова. В общем, серо, риторика.

14 сентября. Теплый прелестный день, солнечный. Ездил с Верой в Измалково, перед вечером. Луна три четверти стала видна с пяти часов.

15 сентября. Проснулся в 6 1/2, еще солнце не показалось; утро удивительное, росистое. День еще лучше. Совсем лето. Все аллеи усыпаны листвой. Читал Минского. Прочел сорок восемь страниц. Ужасная риторика!

Коля все еще болен. Еле выбрался в сад, сидел на скамейке с Верой. Алекс. Петр. плача рассказывал про Ваню.

Газеты. На советы narosла, видимо, дикая злоба у всех. Разъяснение Савинкова. Да, «совершена великая провокация». Керенского следовало бы повесить. Бессильная злоба.

В пять поехали с Верой в Скородное и вокруг него. По дорожке среди осинок. Еще не желтые осинки, но дорога вся усыпана их листвой круглой — сафьян малиновый, лимонный, палевый, почти канареечный есть. Когда выехали, чтобы повернуть направо, кто-то среди деревьев на опушке что-то делал лежа; красного солнца осталось уже половина. Месяц довольно высоко, — *зеленовато-белый*, небо под ним гелиотроповое почти. Хороша та дорога, где всегда грязь! Глубокие колеи — все возят тяжелое, все воруют лес. Возле места, где была Караулка, стояли, вертел курить, дивились на красоту: месяц впереди, в левом направлении, над лесом, кое-где желтые высокие, стройные деревца (кажется, клены), закат направо совсем бесцветный, светлый. Под месяцем (?) опять гелиотропы, ниже и левее синева цвета сахарной бумаги. Вера смотрела направо — дивилась, как зубчатая линия леса — на закате. Дальше по просеке — дороге трудно ехать — так много сучьев. Уже темнело (в глубине-то леса). Выехали на опушку, чтобы повернуть направо (караулка), постояли, опять подивились — хорош был кровавый клен. Я взял листок. Он сейчас передо мной, точно его, бывший светло-палевым, обмакнули в воду с кровью.

Как осенью в лесу, в чаще, вдруг видишь: светит желтизной, выдвинулась ветка орешника. Даже жутко. Когда проехали Победимовых, повернули направо, стали спускаться с горы, закат уже краснел, а луна (направо, над ложиной, полной леса) была на сером, освещенном ею небе. Вообще небо было почти все серое, чуть в глубине синеватое.

Как странно все освещает осенняя заря! — сказал Вере, поднимаясь в гору.

16 сентября. Все то же: пустота ума, дупи, довольно тупое спокойствие. Дочитываю «Каренину». Последняя часть слаба, даже неприятна немного; и неубедительна. Помнится, и раньше испытывал то же к этой части. Читаю Минского. Есть хорошее. Все же у него была душевная жизнь.

Ездили кататься. (День прекрасный). Возле того места, где была караулка, крикнула задняя ось. Дошли пешком. Спеша за мерином, запотел, устал.

Коля болен. Нынче что-то схватило в кишках — вернулся из нужника страшный — гробовая бледность.

Чуть не все за садом засыпано желтой листвой кленов. Уже очень много вершин зарыжело, зажелтело. Как поражает всегда этот цвет! Остров почти весь зелен. Но, едучи кататься, видел осинку в этой зелени — совершенно малиновая!

Луна ночью была необыкновенно ясна. Совсем полная.

17 сентября. Довольно сильный и прохладный ветер. Сад шипит, кипит. Почти все небо в грифельной мути, облачности. Светлее, где солнце. Еще больше желтых, краснеющих, красно-оранжевых вершин.

Гляжу на бахтеяровский сад: местами — клубы как будто цветной капусты этого цвета.

Вчера, едучи мимо пушешниковского леса, видел вдали, в Скородном (на косогоре, где дорога к Победимовым), целый островок желтого (в которое пущена красная краска — светлая охра? Нет, не то!) — особый цвет осенних берез.

11 1/2 ч. дня. Дочитал «Каренину». Самый конец прекрасно написан. Может быть, я ошибаюсь насчет этой части. Может быть, она особенно хороша, только особенно проста?

Были облака, ветер. Ночь была поразительно ясная, луна чиста необыкновенно, в небе ни единого облачка, так все продрал резкий ветер.

22 сентября. Ездили с Верой в Озерки. Хороший день, но ветер, довольно прохладно, а когда возвращались зарей, то и совсем.

26 сентября. Два дня были необыкновенно хороши — солнечные, теплые. Вчера отправил письмо Кусковой. Был дождь!

Нынче холодно, низкие синеватые небосклоны с утра. После обеда гуляли втроем. Дивились на деревья за сараем, с поля из-за риги — на сад: нельзя рассказать! Колонтаевка — и желтое, и черно-синее (ельник), и что-то фиолетовое. Зеленее к Семен(о)вкам — бильярдное сукно. Клены по нашему садовому... необыкновенные. — Сказочный — желтый, прозрачные купы. Ели темнеют — выделились. Зелень непожелтевшая посерела, тоже отделяется. Вал весь засыпан желтой листвой, грязь на дороге — тоже. Ночью позавчера поразила аллея, светлая по-весеннему сверху — удивительно раскрыта.

Вообще — листопад, этот желтый мир непередаваем. Живешь в желтом свете.

Сейчас ночь темная, дождь. Был нынче на мельнице. Злобой мужики тайно полны. Разговаривать бессмысленно!

27 сентября. Абакумов: нет, жизнь при прежнем правительстве — куда красней была! Теперь в... нельзя — того гляди — голова слетит.

День несколько раз изменялся. С утра было холодно. Все вспоминаю противный разговор на мельнице — Л(нрзб), придирающийся к винокуру, к монопольщику, лгавший, что его мальчишку бросил австриец в окно завода, грозивший «убить» — теперь это слово очень просто! — солдат Алешка...

Ездил с Колей кататься. Лес все рубят.

28 сентября. Почти летний день. Разговор за (в автографе описка: на.— А. Б.) мельницей с «Родным» и другими, шедшими из потребиловки.

Вечером что-то горло.

29 сентября. Не выхожу. Больно железу, в горле что-то есть. Летний день. Все читаю Фета. Как много(...)?!

30 сентября. Горло ничего, слава богу. Гуляли. На гумно Андрея С.— там молотья. А. Пальчиков в очках черных в кожаном футляре подает, серо-бурая борода, темна по окраинам на щеках (как...— (нрзб) — как многие старики), бабы одно и то же: «что гуляете, идите к нам солому тресть». По деревне к лесу. День летний. Поразил осинник на мысу — совершенно оранжевый, и так выделилось каждое дерево и выпуклость бугра, и до неприятности похоже на гигантского ужа. Извив тропинки по бугру. Поразителен и осинник в ложине в начале леса, такой же. Все, весь лес необыкновенно сух, шуршит, и непередаваемо прекрасный запах подожженных сушью, солнцем листьев. Блеклая трава засыпана листвой, дубовая листва коричневая на опушке, — дубы все шуршат, все бронзово-коричневые.

Говорил, как ничтожно искусство!

Поразила декларация правительства, начало: анархия разлилась от Корнилова! О негодяи! И все эти Кишкины, Малянтовичи! Ужасны и зверства и низость мужиков, легендарны.

1 октября. Утром вышел — как все бедно стало: сад, солнце, бледное небо. Потом день превосходный. Ездили с Колей к Победимовым.

И снова мука! Лес поражает. Как он в два дня изменился: весь желто порыжел (такой издали). Вдали за Щер-

бачёвкой шапка леска буро-лиловата, точно мех какой на звере облезает. А какой лес по скату лощины! Сухая золотая краска стерта с коричневой, кленоватой.

2 октября. Проснулся в шесть. Лежал час. Душа подавлена. Юлий, думы о том, что, может, скоро опустеет совсем мир для меня — и где прежде — беспечность, надежда на жизнь всего существа! И на что все! И еще — совсем отупела, пуста душа, нечего сказать, не пишу ничего, пытаюсь — ремесло, и даже жалкое, мертвое.

Вчера воззвание Брешко-Брешковской к молодежи — «идите, учите народ!».

Ночью гулял — опять все осыпано бриллиантами сквозь голые ветви. Григорий идет от кума — «пять бутылочек на двоих выпили». «И ты не выпивши?» — «Да нет, ведь я ее чаем гоню...»

Нынче еще беднее утро, хотя прелестное и свежее, бодрое. Уже на кленах на валу на немногих и местами желтая, еще густая листва.

3 октября. Вчера в три часа с Колей в Осиновые Дворы. Скородное издали — какой-то рыже-бурый медведь. Ехали через Ремерский лес. Дубки все бронзовые. Сквозь него изумительный пруд, в одном месте в зеркало льется отражение совершенно золотое какого-то склоненного деревца. Караулка, собачонка так зла, что вся шерсть дыбом, — знакомая; выскочил тот старик, радостно-шальной, торопливый, бестолковый, что видел в Скородном. Федор Митрофанч, конечно, солгал, что у Ваньки отняли ружья, был скандал, он стрелял уток барских на пруде возле этой караулки, но не отняли. «Как ты попал сюда?» — «Позвольте, сейчас...» Страшно-радостно и таинственно: «Поросенка пошел куплять, у Борис Борисыча... Борис Борисыч отвечает...» (вместо «говорит» и очень часто не кстати: хотя). Были в Польском (деревушке). Два совершенно синих пруда — сзади нас, как въезжали на гору — предвечернее солнце. Поразили живописность и уединение Логофетовой усадьбы. Сад, да и ближе деревья — главное рыже-бронзовое, бронзовое. Наше родовое. Охватила мысль купить. Стекла горят серебряной слюдой, луч(езарными) звездами в доме, издали. В Осиновых Дворах два мужика: один рыжий, нос картошкой, ласково-лучистый, профессор, другой — поразил: IV (?) в., Борис Годунов, крупность носа, губ, толстых ноздрей, профиль почти грозно-грубый, черные грубые волосы, под шапкой смешаны с серебром. Должно быть, древние люди, правда, не те были. Какое ничтожество и мелкость черт у ре-

бят молодых! Говорили эти мужики, что они про новый строй смутно знают. Да и откуда? Всю жизнь видели только Осиновые Дворы! И *не может* интересоваться другим и своим государством. Как возможно народоуправство, если нет знания своего государства, ощущения его, — русской земли, а не своей только десятины!

Шесть часов вечера. Сейчас выходил. Как хорошо. Осеннее пальто как раз впору. Приятный холодок по рукам. Какое счастье дышать этим сладким прохладным ветром, ровно тянущим с юга вот уже много дней, идти по сухой земле, смотреть на сад, на дерево, еще оставшееся в коричневатой листве, краснеющей не то от зари (хотя зоря почти бесцветна), не то своей краской. Вся аллея засыпана краснеющей, сухой, сморщенной листвой, чем-то сладко пахнущей. Как нов вид на сквозной сад, сквозь который за долиной воздух чуть з(е)леноват, и зоря наполняет весь сад розоватым светом. Почти все голо, почти все клены на валу и аллея и т. д., лишь яблони (в) золотисто-бронзоватой мелкой мертвой листве.

Правительство «твердо, решило подавить погромы». Смешно! Уговорами? Нет, это *не ему* сделать! «Они и министры-то немного почище нас!» Вчера в полдень разговор с солдатом Алексеем — бешено против Корнилова, во всем виноваты начальники, «мы большевики, пролетариат, на нас не обращают внимания, а вон немцы...» Младенцы, полуживотная тьма!

Нынче хорошее настроение, написал два стихотворения (нрзб).

Гулял в Колонтаевку, послал утром книгу Белевскому (последний том «Нивы» в переплете).

Нет никого материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют вкуса — лишь бы нажраться. Бабы готовят еду с раздражением. А как, в сущности, не терпят власти, принуждения! Попробуй-ка введи обязательное обучение! С револьвером у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным бедствием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. Злой народ! Участвовать в общественной жизни, в управлении государством — не могут, *не хотят* за всю историю.

Прогулка в Колонтаевку была дивна: какая сине-темная зелень пихт не пожелтевших! (Есть еще такие, хотя большинство все дорожки усыпали своими волосами.) Шли до-

рожкой — впереди березы, их стволы, дальше трубы тонкие пихт, серая тьма и сквозь это — сине-каменное небо (солнце было сзади нас, четвертый час). Бёклин поймал новое, дивное. А как качаются эти тонкие трубы в острых сучках на стволах! Как плавно, плавно и все в разные стороны!

Возле бахтеяровского омета сквозь голый сад видна уже церковь. Как ново после лета!

Интеллигенция не знала народа. Молодежь Эрфуртскую программу учила!

4 октября. Вчера было радостное возбуждение — подумал: будет дождь. Так и есть. С утра очень тихо, дождь. Щеглы на «главном» клене. Потом ветер. Часов с трех повернул — с северо-запада. Образовалась грязь. Заходили на мельницу, к Колонтаевке. Листва (почти не изменилась) на сирени. Про яблони, кажется, неверно записал вчера — оне... ну, грязная золотистая охра, что ли, с зеленоватым оттенком. Яблони еще все в листве (такой).

Все читаю Фета (море пошлого, слабого, одно и то же), пытаюсь писать стихи. Убожество выходит! <...>

5 октября. Вчера вечером около одиннадцати ветер повернул, — с северо-запада. Вызвездило. Я стоял на последней ступеньке своего крыльца — как раз против меня был (над садом) Юпитер, на его левом плече Телец с огоньком Альдебарана, высоко над Тельцом гнездо бриллиантовое — Плеяды.

Нынче очень холодно, ветер почти с севера, солнечный день. Ездил с Колей к Муромцевым. Как хороша его усадьба с этими деревьями в остатках осенней листвы (когда ехали, поразило Скородное далекое <нрзб>, мех (пух, что ли) зверя — дымчато-серый, кое-где клоки рыжеватой шерсти еще не ощипаны. Далекый лесок под Щербачевкой — цвета сухой малины. Прочие лесочки за <нрзб> — все бурое <нрзб>.

Петруха, кучер Муромцевых: «Все начальники продают... Мне племянник пипшет, он брехать не будя». — Послал книгу Милюкову. (Дня три тому назад — Белоруссову.)

6 октября. Рано, в шесть, проснулся. Подавленное состояние. Остудел я, обездарел, как живу, что вижу! Позор!

Туман, вся земля белая, твердая. Пошел гулять — кладбище (оно еще в траве) теперь под сединой изморози — малахитовое, что ли.

Лозинский едет в Измалково. Зашел к нему. Сиденье тележки, козлы — как мукой осыпаны. Сад Бахтеярова в тумане грязно темнеет.

Послал книгу Бурцеву (всем одно — 5—6 томы «Нивы»).

Вчера читали записку Корнилова. И Керенский молчок! И общество его терпит!

Почти полдень. Горизонт туманен. Тихий, тихий беззвучный день. Так мертва, тупа душа, что охватывает отчаяние.

Десять часов вечера. Гуляли немного за садом, потом по двору. В сущности, страшно. Тьма, ледяная мгла вдали едва различима, но все-таки видна.

Днем выходил: все былинки, полынки седые от инея. Туман (холодный <нрзб> весь день). Остров — грязноватое что-то, цвета приблизительно охры, что ли. Лозины деревни вдали — зеленовато-серые... <нрзб>. Бахтеяровский сад и темно-желтоват и буроватое и т. д. У нас в саду возле вала листва — цвета мути, немного желтее.

Записка Алексеева. Что же русское общество не тянет за усы Керенского?!

Хам уже давно в русском обществе. Все, что было темного, наглого, противоестественного (?) в литературе за последние двадцать лет — не то же ли, что теперь в общественной жизни? Что же, дивились словам Горького, Андреева, Скитальца? А теперь — Керенские, Гвоздевы!

7 октября. Заснул вчера в 11, проснулся нынче в восемь. Несмотря на это, чувство тупости, растерянности еще сильнее. Утром письмо Юлия к Вере от 27 сентября. Мы все очень огорчились: каждый день будни... Ужасно!

День дивный, солнечный, бодрый; ходили в Колонтаевку — похоже все на то, как мы видели в прошлую прогулку туда. — Письмо от Кусковой. Отвечаю.

Сейчас около двенадцати ночи. Изумительная ночь, морозная, тихая, тихая, с великолепнейшими звездами. Мертвая тишина. Юпитер, Телец, Плеяды очень высоко. (Над юго-западом.) На юго-западе Орион. Где Сириус? Есть звезда под Орионом, но низко и слабо видна.

Листва точно холодным мылом потерта. Земля тверда, подмерзла. Ходил за валом. Идешь к гумну мимо вала (по направлению от деревни) — деревья на валу идут навстречу, а небо звездное за ними сваливается, *идет вместе со мною вперед*. Сзади идет за мной Юпитер и пр. Идешь назад — все обратно. То же и на аллее. А я писал в «Таньке»: «звезды бежали навстречу». Глупо.

Аллея голая стройна, выше и стройнее, чем в листопад. О, какая тишина всюду, когда я ходил! Точно весь мир

прервал дыхание, и только звезды мерцают, тоже затаив дыхание.

8 октября 11 ч. утра. Вчера долго не мог заснуть — ужасная мысль о Юлии, о Маше, о себе — останусь один в мире, если Юлий не выздоровеет, и кажется: если даже будет успех, сделаю что-нибудь — для кого, если Юлия не будет! Заснул почти в два.

Нынче проснулся в 8 1/2. Бешенство на Софью — уехали в Измалково! На меня внимания не обращают. Послал с Лозинским: Кусковой, Бунину, Нилусу, Черемнову, Колино письмо к Мите о въезде в Москву (запретили!). Поехал один на дрожках в Скородное — круг обычный (начиная со стороны северной). Утро изумительное. Все крыши, вся земля были белые. Поехал через аллею, ветер вычистил ее середину, вся листва сметена на бока. Думал: «Могучим блеском полон голый сад, синим и сияющим эфиром». В поле дорога еще тверда, кое-где начинает потеть. В каждой колее, где тень, — голубая сахарная пудра. По жнивью под солнцем блеск алмазов по остаткам изморози. В лесу светлей, чем думалось. Иногда улавливал горечь листвы мокрой. Повернул по опушке мимо северной стороны леса — тени осинки по блестящей мокрой листве. В лошадке, полной деревьев, блеск мелкого стекла — сучки, оставшиеся листики. Вдоль восточной стороны, там, где всегда грязь и ухабы по кусочку дороги между деревьями, грязь салится, под салом земля еще твердая; бледно-водянистые зелена налево, за лугом направо лес, по косоугору лежащий — веет сизоватый дым, весь почти голый — осинник, среди этого верхушки берез удлинненными купами желтеют (неярко, грязно, темная охра, что ли), выделяются. На просеке снова вдали дроги, лошадь — рубят! О, негодяи, дикая сволочь! Думал о своей «Деревне». Как верно там все! Надо написать предисловие: будущему историку — верь мне, я взял типическое. Да вообще пора свою жизнь написать, спустить шкуру со всей сволочи, какую видел, со всех этих Венгеровых и т. д.

Свернул на лесную дорогу, идущую от Победимовых, — направо. Вся в ухабах глубоких грязи, засыпанной листвой (перед этим все глядел на верхушки берез, сохранивших розовато- и рыжеватую-желтую мелкую листву на изумительном небе). Дубы все в коричневой сухой листве. Среди стволов блеклая, вялая сырая зелень под листвой. Думал — здесь особенно похоже на весну. Если бы ехал весной, тут, в затишье, среди стволов, на спуске с горы, было бы жарко, птицы были бы, сладость, мука радостная,

полная надежд на что-то — и на любовь, как всегда! — были бы. Въехал на гору — еще среди стволов четыре подводы, баба с топором, мальчишка. Выехал из лесу — далеко-далеко налево, на юго-востоке, над лугами возле Предтечева светлый белесый пар под солнцем, над ним полный света горизонт. В голове — Одесса, Керчь, утро в ней, солнце, синь густая моря, белый город...

Понемножку читал эти дни «Село Степанчиково». Чудовищно! Уже пятьдесят страниц — и ни на иоту, все долбит одно и то же! Пошлейшая болтовня, лубочная в своей литературности! <...> Всю жизнь об одном, «о подленьком, о гаденьком»!

В три часа поехали с Колей на Прилепы за конопляным маслом для замазки. Хозяин маслобойки — богач, большой рост, великий удельный князь, холодно серьезен, застали среди двора, ноль внимания. «Масло — два рубля фунт». Пошли в маслобойку, заговорили — и вдруг чудесная добрая улыбка. Вот кем Русь-то строилась. О своих односельчанах как о швали говорил.

Закат с легчайшим, чуть фиолетовым туманом за бахтеяровской усадьбой на зеленях и по бахтеяровскому саду и Колонтаевка в нем. Солнце за бахтеяровским садом садилось огромным расплавленным шаром из золотого, чуть шафранового стекла. Пошел в контору. Там безобразничал негодяй Зайчик.

Ночью гуляли. Туман находил на нас холодный. Вверху звезды.

В двенадцать часов вышел — там вяз смутной массой. Звезды туманны. Юпитер распустил пленку голубоватую.

9 октября. Снова такой же дивный день. В три поехали с Колей в Гурьевку, были у Дмитрия Касаткина — «рушник», рушит просо и гречиху. Хозяин — «видно, опять кичится Николаем». Солдат стерва, дурак необыкновенный. «Солдаты зимней одежды не принимают — не хотят больше воевать. Два месяца дали сроку правительству — чтобы сделало мир. Немцы бедным не страшны — черт с ними, пускай идут. Богатые — вот это дело другое. За границу не уедешь — все дороги в один час станут, всех переколем штыками. Начальства мы слушаемся, если хорошее, а если он не так командует, как же ему голову не срезать? Корнилов виноват, семьдесят пять тысяч с фронта взял. Керенский — <...> не лезь, когда не умеешь править. Зачем он умолял наступление сделать?» И т. д.

Старик мужик худой, болезненный, милый и разумный.

Баба — мощи, зло (про нас): «Это они все немцами пугают чернородие». — Да, вот что К(еренский) негодяй сделал!

Немцы завладели Рижским заливом.

12 октября. Позавчера мне исполнилось сорок семь лет. Страшно писать, но порой и утешение мелькает — а может быть, это еще ничего, может быть, я преувеличиваю значение этих лет?

Позавчера утром поехал с Колей и Мишкой (полуидиот и плут, но ничего себе малый, на старый деревенский лад) в Ефремов. Было похоже, что погода портится, сперва шли лиловатые облака — туман по небу — потом затянуло, день стал серый, ехали на Волжанку, Лебяжку, Березовку и т. д. Дорога по горам и однообразным деревням бесконечна. Деревня тонет в благополучии, — сколько хлеба везде, скотины, птицы и денег! Пусто очень, почти ни души не встретили, и на улицах ни души, только молотят кое-где молотилки. Паровая молотилка в имении на Голицыне. И как никто не интересуется ни немцами, ни «Сов. Рос. Ре(с)п.» — и не знает ничего.

Приехали часа в четыре. Евгений в кухне на печке со своим Арсиком. Когда зажгли огонь, прибежали дети Елизаветы Ильинишны Добровольской (Победимовой) — мальчик и девочка, мальчик хотел страстно видеть «живого писателя»; рассказали, что уже пачался погром, которого давно ждали в Ефремове. Я пошел в парикмахерскую — слух вздорный, хотя действительно ждут с часу на час. Отврат(ительный) «демократ» завивался самым бл...м образом, завился на 1 р. 75 к. Малый, что стриг меня, вежливейше спросил: «Под полечку прикажете?» Светила луна (почти 1/2). Ночевал не во флигеле, а в доме, долго разговаривал через дверь с Елизаветой Ильинишной. Она разошлась с мужем, выходит за другого, за пожилого. Я очень удивил ее, угадав, что у него слабые волосы (он довольно большой, блондин, «ждет его десять лет») и что он очень любит ее детей. Не физически, но все-таки волновался близостью женщины за дверью, с которой мы одни в доме, за исключением крепко спящих детей. В три часа проснулся, не спал до шести, приехала в четыре старуха Победимова — я испугался, думал, она на лошадях, бежала от мужиков.

Утро с большой изморозью. Ходили с Евгением за покупками. В 1 ч. уехали. Светлый, прохладный, по свету похожий на летний день, — превосходный. Оглянулся — нежно и грустно защемило сердце, — там, в роце лежит мама, которая

так просила не забывать ее могилы и у которой на могиле я никогда не был.

Коля задохнулся; всю дорогу молчал. Ехали на Боборыкино, потом на Кожинку, не доезжая Кожинки, свернули, мимо Новиковой, потом под гору, на гору, на мельницы и на Веригину. В Веригине пруд посредине, очень старые избы, богатая деревня. За Веригиной — под гору. За лугами напротив — лес коричневый в лощине, над ним высоко луна (ровно 1/2), профиль бледный, лес весь дубовый, весь в коричневой листве — листва точно в паутине. Боже, какая пустыня! А какая пустыня, какой дикарский поселок — хутор Лукьян Степанова! Никто не представит себе через сто, двести лет. По лиловому пруду золотая (от месяца) зыбь.

Опять восхитила логофетовская усадьба. Только миновали дом, луна за дубами, горизонт под ней — розовый. Потом быстро ехали, светало, ветреная ночь. Приехали домой в семь.

В Ефремове газеты за девятое и десятое. Открытие «Совета Республики», пошлейшая болтовня негодяя Керенского, идиотская этой стервы-старухи Брешко-Брешковской («понятно, почему анархия — борьба классов, крестьяне осуществляют свою мечту о земле»). Мерзавец <...> Троцкий призывал <нрзб> к прямой резне.

Нынче ветрено, светлый, прекрасный день. Убирался, запаковывал черный сундук. На полчаса выходил с Верой по направлению к Колонтаевке.

13 октября. Вот-вот выборы в Учредительное собрание. У нас ни единая душа не интересуется этим.

Русский народ взывает к Богу только в горе великом. Сейчас счастлив — где эта религиозность! А в каком жалком положении и как жалко наше духовенство! Слышно ли его в наше, такое ужасное время? Вот церковный собор — кто им интересуется и что он сказал народу? Ах, Мережковские м...!

Понемногу читаю «Леонардо да Винчи» Мережковского. Ужасный «народился» разговор. Длинно, мертво, натащено из книг. Местами недурно, но почем знать, может быть, ворованное! Несносно долбленье одного и того же про характер Леонардо, противно-слащаво, несносно, как он натягивает все на свою идейку — Христос — Антихрист!

«Нигде не видал таких красок — темных и в то же время таких ярких, как драгоценные камни» (стекла в соборе). «Монах откинул куколь с головы».

«Побледневшее на солнце, почти не видное пламя».

«Пахло чадом оливкового масла, тухлыми яйцами, кис-

лым вином, плесенью погребов». «Ненавидящий проникающей любящего» (Леонардо). «У художников подражание друг другу, готовым образцам» (Леонардо). «Для великого содержания нужна великая свобода» (Леонардо).

Quant'è bella giovinezza.
Ma si fugge tuttavia
Chi vuol esser lieto, sia:
Di doman: non c'è certezza*.

День темный, позднеосенний, хмурый. Ветер шумит, порою дождь.

Как нежны, выбриты бывают лица итальянских попов!
Вечером и ночью ветер, дождь.

14 октября. С утра серо, ветер с северо-запада, холодный, сейчас три, мы с Верой гуляли, облака, светит солнце.

На низу сада, возле плетня, слышу матерную брань. Вижу — Савкин сын (кривой), какой-то пьяный мужик лет двадцати пяти, долговязый малый лет двадцати, не совсем деревенского вида.

— Когой-то ругает?

Пьяный:

— Да дьякона вашего.

— Какой же он мой.

— Как же так не ваш? А кто ж вас хоронить будет, когда помрете? Вот П. Ник. помер — кто его хоронил? Дьякон.

— Ну, а вот ты-то дьякона ругаешь, тебя-то кто ж будет хоронить?

— Он мне керосину (в потребиловке) не дает... и т. д.

Говорил, что мы рады, что немцы идут, они мужиков в крепостное право обратят нам.

15 октября. Утро было все белое — вся земля, все крыши, особенно наш двор. Утро и день удивительные.

В школе выборы в волостное земство. Два списка — № 1 и № 2. Какая между ними разница — ни единая душа не знает, только некоторые говорят, что разница в том, что № 1 «больше за нас». Это животное, сын Андриана, когда я спросил про эту разницу, закричал: «Да что вы его слушаете, что он дурака валяет!» — с большой злобой. За что? Почему

* Как ни прекрасна юность,
Все же она убегает;
Кто хочет радоваться, пусть радуется,
В завтрашнем дне нет уверенности (ит.).

(Перевод С. Ошерова)

он злобен и на меня? Помимо бессмысленной злобы, убежден, что я *не могу* не знать этой разницы — думает, что все эти номера для всей России одинаковы. Гурьбой идут девки, бабы, мужики, староста сует им номер первый, и они его несут к «урне». Заходил и вечером — там крик, возмущение, что мужики друг у друга лес рубят, Петр Ар., Сергей Климов за то, чтобы солдат взять. Матрос молодой (Милонов, с Майоровки) кронштадтский сказал: «Не в том суть, чтобы осинку как-нибудь срубить, а в организации, чтобы не к именно капиталистам власть перешла, но народу...» Большевик, иота в иоту повторяет дудочку «Новой жизни» и т. п.

В головах дичь, тьма, — ужас вообще! В «Совете Российской республики» говорят больше всего «евреи».

Вчера ужасное письмо Савинкова.

16 октября. Мужик: «Нет, и господ нельзя тоже оставить без последствий, надо и их принять к сведению».

Проснулся в шесть. С утра темновато, точно дождь шел. Потом превосходный, хотя сыро-холодный день. (Вчера, гуляя вечером, Вера обиделась, мы стали шутить — «Фома Фомич» — она плакала одна, в саду.)

Вечер поразительный. Часов в шесть уже луна как зеркало сквозь голый сад (если стоять на парадном крыльце — сквозь аллею, даже ближе к сараю), и еще заря на западе, розово-оранжевый след ее — длинный — от завода до Колонтаевки. Над Колонтаевкой золотистая слеза Венеры. Луна ходит очень высоко, как всегда в октябре, и как всегда в октябре — *несколько* ночей *полная*. Сейчас гуляли, зашли с Верой в палисадник, смотрели на тени в нем, на четкость людской, крыша которой кажется черной почти, — вспомнился Цейлон даже.

Про политику и не пишу! Изболел. Главное — этот мерзавец, которому аплодируют даже кадеты.

17 октября. Дни похожи по погоде один на другой — дивная погода. Ни единого облачка ни днем, ни ночью. Все время с вечера — луна и полоса красноватая на закате. Пришла Вера Семеновна с Измалкова. Я отвозил ее в школу. Смотрел с дороги, уже близко от школы — вдали на реке что-то вроде коричневого острова камышей, дальше — необыкновенно прелестная синь речной заводи. По дороге отпавшая грязь. Ночью подмораживает, морозная роса, тугая земля.

Вечером Вл. Сем. провожал до кладбища Надю. — Письмо от Шмелева.

18 октября. Та же погода. Чувствую себя, дай бог не

сглазить, все время хорошо, но пустота, бездарность — на редкость.

Пять с половиною часов вечера. Зажег лампу. В окне горизонт — смуглость желтая, красноватая (смуглая, темная желтизна?), переходящая в серо-зеленое небо, — выше синее — сине-зеленое, на котором прекрасны ветви деревьев палисадника — голого тополя и сосны. Краски чистейшие. Пятнадцать минут тому назад солнце уже село, но еще светло было, сад коричневый.

Прочел Лескова «На краю света». Страшно длинно, многословно, но главное место рассказа — очень хорошо! Своеобразный, сильный человек!

20 октября. Девять с половиною часов вечера. Прочел статью из «Русской мысли» какой-то Глаголевой: «Раб (Бенедиктов), Эллин (Щербина), Жрец (Фет)». Наивная дурочка.

Критики говорят о поэте только то, что он им сам надолбит.

«Любовь — высшее приближение к духовности» — правда ли это?

Вчера прошел слух (от Лиды), что хотят громить Бахтеяровых. Стал собирать корзину в Москву. Потом поехал с Верой в Измалково отправлять. Погода дивная. Кричал на Веру дорогой — нехорошо! Коля рассказывал, как солдат Федька Кузнецов разговаривал с офицерами, что охраняют бахтеяровское имение, — на «ты» и т. д.

Когда вчера Вера ходила на почту в Измалково, я сидел ждал, всходила раскаленная луна, возле нее небо мрачное, темное. Нынче ездили с Колей в Предтечево — говорить по телефону в Елец с комиссаром о въезде в Москву (наш телефон все портят). День поразительный. Дали на юге в светлом тумане (нет, не туман). Были в потребиловке (мерзко!), в волости. Воззвания правительства на стенах. О, как дико, как не связано с жизнью и бесполезно!

Что за цвета были леса, когда мы возвращались! Щербачевка (дубовая) светло-коричневая, поляны (березы) — еще есть грязное золото, Скородное — не умею определить.

Десять часов вечера. Густой туман — вот неожиданно! Не выхожу, что-то опять горло.

В Предтечево возле потребиловки встреча с девицами Ильиными. Леля сказала, что на «Среде» Зилов читал на меня пародию. Гадина!

Читаю «Волхонскую барышню» Эртеля. Плохо. Мужичий язык по частностям верен, но в общем построен лите-

ратурно, лживо. И потом, эта тележка, ныряющая по грязи, лукавая пристяжная, и заспанный мальчик, ковыряющий в носу... Никогда не скажет: «надел пальто», а всегда — «облачившись в пальто».

21 октября. Не выходил — немного горло. День сперва серый, потом с солнцем. Возился весь день — укладывался. Завтра Казанская, могут напиться — вся деревня варит самогонку — все может быть. Отвратительное, унижительное положение, жутко.

В языке и умах мужиков все спуталось. — Никто, впрочем, не верит в долготу этого «демократического рая».

В 1905 году поэты все писали стихи про кузнецов.

Читал отрывки из Ницше — как его обворовывают Андреев, Бальмонт и т. д. Рассказ Чулкова «Дама со змеей». Мерзкая смесь Гамсуна, Чехова и собственной глупости и бездарности. Как Сибирь, так «наузка», «пали» и т. д., еще «заимка»...

22 октября. Все бело от изморози. Чудеснейшее тихое солнечное утро. Звон.

«Забота» — Капри, 24 января — 6 февраля 1913 г.

Это ли не «Петлистые уши»*. <...>

Мужики и теперь твердят, что весь хлеб «везут» (кто? Неизвестно) немцам.

Радость жизни убита войной, революцией.

Как гадки Пшибышевский, Альтенберг!

Луна — зеркало солнца. Сердцевина мака черная.

Жизнь Фофанова — «сюжет для небольшого рассказа».

Одиннадцать часов утра. Коля напевает под пианино: «Жил был в Фуле...»

Нет, в людях все-таки много прекрасного!

30 октября. Москва, Поварская, 26. Проснулся в восемь — тихо. Показалось, все кончилось. Но через минуту, очень близко — удар из орудия. Минут через десять снова. Потом щелканье кнута — выстрел. И так пошло на весь день. Иногда с час нет орудийных ударов, потом следуют чуть не каждую минуту — раз пять, десять. У Юлия тоже.

Горький, оказывается, уже давно (должно быть, с неделю) в Москве. Юлий мне сказал позавчера, что его видели в «Летучей мыши», — я не поверил. Вчера Вера говорила с Катериной Павловной, по телефону. Катерина Павловна —

* Эти слова относятся к месту рукописи, где был приклеен какой-то текст; он оторван (А. Б.).

«обе стороны ждут подкреплений». Затем сказала, что Алексей Максимович у нее, что если я хочу с ним поговорить и т. д. Но мне он так мерзок, что я не хочу.

Часа в два в лазарет против нас пришел автомобиль — привез двух раненых. Одного я видел, — как его выносили — как мертвый, голова замотана чем-то белым, все в крови и подушка в крови. Потрясло. Ужас, боль, бессильная ярость. А Катерина Павловна пошла нынче в Думу (Вере нынче опять звонила) — она гласная, верно, идет разговор, как ликвидировать бой. Юлий сообщает, что Комитет общественного спасения послал четырех представителей на Николаевский вокзал для переговоров с четырьмя представителями Военно-революционного комитета — чтобы большевики сдали оружие, сдались. Кроме того, идут будто бы разговоры между представителями всех соц(иалистических) партий вкупе с большевиками, чтобы помириться на однородном социал(истическом) кабинете. Если это состоится, значит, большевики победили. Отчаяние! Все они одно. И тогда снова вот-вот скандалы, война и т. д. Выхода нет! Чуть не весь народ за «социальную революцию».

22-го — во втором часу пленный из Предтечева, верхом — громят Глотова*. Я ждал Казанской, многое убрал, — самогонка, праздник и слух о 20-м октябре, о выступлении большевиков — все предвещало, что многое может быть. Через час — пьяный мужик из Предтечева: «Там все бьют, там громят, мельницу Селезневскую разнесли... Уезжайте скорее!» Цель — разносит слухи, оповещает всех, хотя прикидывается возмущенным, и кроме того всюду берет на водку. Мой рубль швырнул — «я тебе сам пять целковых дам!». Я заорал, он струсил, взял рубль. С двух с половиною дня до трех ночи я убирался, заснул (в) два часа, в пять встал, в семь выехали — я, Коля, Вера, Мишка и Антон сзади на телеге с вещами. Туман, дорога вся в ухабах из застывшей грязи, лошади ужасные. До большой дороги была мука. Под Становой остановились, закусывали, баб тридцать из Кириловки, идут в Становую что-то получать (солдатки, кажется). Завязался разговор. Я выпил — иначе такой глупости не сделал бы. Злоба — «вы, буржуи, капиталисты, войну затеяли». Да, началось с насмешки над нами: «А плохо вам теперь!» Я сказал — «погоди, через месяц и вам будет плохо». — «А! вот как! Значит, ты знаешь! Почему же это нам будет

* Воспоминания о Глотове перемежаются впечатлениями от оружейных ударов в момент записи в дневник (А. Б.).

плохо? Говори!» Я стал говорить как елецкий мещанин (плюс мой полушубок и весь наш вид жалкий). Подошел кто-то, что-то «товарищеское», хотя мужик (молодой) ... (Ох! ужасный удар!) (Сейчас пять дня.) (Опять!) «Что? Плохо? Вы почему ж это знаете?» (Очень строго.) О, позор, о, жуткое чувство! (Опять удар.) Я вильнул — «через месяц Учредительное собрание» — собрал вожжи и поскорее ехать. Возле шлагбаума колесо рассыпалось. До Ельца пешком — тяжко! Жутко! Остановят, могут убить. В Ельце все полно. Приютили нас Барченко. Вечером (опять удар!) у нас гости, я говорил лишнее, — выпил. 24-е пробыли в Ельце. Отовсюду слухи о погромах имений. Вл(адимира) Сем(еновича) все Анненское разгромили. Жгут хлеб, скотину, свиней жарят и пьют самогонку. (Опять!) У Ростовцева всем павлинам голову свернули. (Опять!) 25-го выехали вместе с Б. П. Орловым. В вагоне в проходе — солдаты, солдат из Ламского весело и хорошо рассказывал, как Голицыны с тремя-четырьмя ингушами и попом (опять!) отбивались от мужиков и солдат. Голицына П. А. ранили. 26-го на Курском вокзале узнали, что в Москве готовят бинты, кареты скорой помощи и т. д. — будет бой с большевиками. Два извозчика — сорок рублей. 27-го был в городе — везде равнодушие — «а, вздор, это уже давно говорят». Какие-то два солдата мне (опять!) сказали, что начнется часов с семи. В пять — к Телешовым. Мимо трамвая — поп, народ, несли чудотворную икону. На углу Пречистенки бабы — «большевики стреляли в икону». От Телешовых благополучно дошли, хотя казалось, по городу уже шла стрельба. 28-го мы стрельбы почти не слышали, выходили.

Все было ожидание, что их скоро задавят. Слухов — сотни (опять!). «Каледин диктатор, идет в Москву» и т. д. «Труд» (газетка Минора) врала, что в Петербурге все (о, ужас, какой удар, всего потрясло) кончено — большевики разбиты. Вчера уже нельзя было выходить — стрельба. Ближе Александровское юнкерское училище. О сегодня я уже писал. С фронта никого, хотя поминутно слух — «Москва окружена (опять!) правительственными войсками» и т. д. Ясно, дело плохо, иначе давно бы пришли. Сейчас Вере сказали слух: «Железнодорожники согласились пропустить войска с фронта, если будет социалистический кабинет». У нас в вестибюле дежурство, двери на запоре, все жильцы и «дамы» целый день галдят, врут, женщины особенно. Много евреев, противных. Изнурился от безделья, ожиданья, что все кончится вот-вот, ожиданья громил, — того, что

убьют, ограбят. Хлеба дают четверть фунта. А что на фронте? Что немцы? Боже, небывалое в мире зрелище — Россия!

Десять часов вечера (30 октября). В девять часов погасло электричество и у Зои и у Юлия. У Телешева нет. Юлий сказал, что Т(елешов) передал — подписано соглашение большевиков и прочих партий. Но б(ольшевики) не могут унять солдат. Озлоблены и юнкера. К(атерина) П(авловна) говорила с Митей — Максимка в плену. (Клестов скрывается у (нрзб).) Все слухи: четыре тысячи казаков пришли, не могут войти, их не пускают большевики на Казанский вокзал, пришел ударный батальон, тоже не может войти, где-то под Москвой дикая дивизия и т. д. Я дежурил от шести до семи. Большевистский студент собрал прислугу со всего дома — «она волнуется, говорит, зачем мы ворота бревнами закладываем, действуем против своих товарищей, надо с прислугой объясниться...». И объяснился: «Стрелять будем, если вы пойдете против нас». Возмущение.

В вестибюле сидел какой-то полурабочий, к каждому слову «в обчем».

31 октября. Проснулся (в) восемь. Думал, все кончено (было тихо). Но нет, кухарка говорит, только что был орудйный удар. Теперь слышу щелканье выстрелов. Телефон для частных лиц выключен. Электричество есть. Купить на еду ничего нельзя. (Нрзб) сказал, ударный батальон пришел, часть переправилась в лодках, швейцар будто бы видел — человек двести пошло к юнкерскому училищу.

Двенадцать часов дня. Прочел «Соц. демократ» и «Вперед». Сумасшедший дом в аду.

Один час. Орудийные удары — уже штук пять, близко. Снова — в минуту три раза. Опять то же. Два рода ударов — глуше и громко, похоже на перестрелку.

Семь с половиною часов вечера. За день было очень много орудийных ударов (вернее, все время — разрывы гранат и, кажется, шрапнелей), все время щелканье выстрелов, сейчас где-то близко грохотал по крышам тяжкий град — чего? — не знаю.

От трех до четырех был на дежурстве. Ударила бомба в угол дома Казакова возле самой панели. Подошел к дверям подъезда (стеклянным) — вдруг ужасающий взрыв — ударила бомба в стену дома Казакова на четвертом этаже. А перед этим ударило в пятый этаж возле черной лестницы (со двора) у нас. Перебило стекла. Хозяин этой квартиры принес осколок гранаты трехдюймовой. Был Сережа. День тяжелый, напряженный. Все в напряжении, и все

всё ждут помощи. Но в то же время об общем положении России и о будущем никто не говорит, — видимо, это не занимает.

Хочется есть — кухарка не могла выйти за провизией (да и закрыто, верно), обед жалкий.

Лидия Федоровна чудовищно невыносима. Боже, как я живу!

Опять убирался, откладывал самое необходимое — может быть пожар от снаряда. Дом Коробова горел.

Юлий утром звонил. С тех пор ни звука. Верно, телефон не дают.

А что в деревне?! Что в России?!

Москву расстреливают — и ниоткуда помощи! А Дума толкует о социалистическом кабинете! Почему же, если телеграф нейтрален, Керенский не дает знать о себе?

Почти двенадцать часов ночи. Страшно ложиться спать. Загораживаю шкафом кровать.

1 ноября. Среда. Засыпая вчера, слышал много всяких выстрелов. Проснулся в шесть с половиною утра — то же. Заснул, проснулся в девять — опять то же. Весь день не переставая орудия, град по крышам где-то близко и щелканье. Такого дня еще не было. Серый день. Все жду чего-то, истомился. Щелканье кажется чьей-то забавой. Нынче в третьем часу, когда вышел в вестибюль, снова ужасающий удар где-то над нами. Пробегают не то юнкера, не то солдаты под окнами у нас — идет охота друг на друга.

Читал только «Социал-демократ». Ужасно.

В Неаполе в монастыре *Camaldoli* над Вомеро каждую четверть часа дежурный монах стучит по кельям: «*Badate, è possato un quarto d'ora della vostra vita*»*.

Пишу под тяжкие удары, щелканье и град.

Поповы — молодые муж и жена. Она княжна Туркестанова. Что за прелестное существо. Все раздает всем свои запасы. Объявление в «Русских ведомостях» от 22 октября. (нрзб.)

Читал «Русские ведомости» за 21, 22, 24, 25. Сплошной ужас! В мире не было такого озверения. Постановление офицеров («Русские ведомости», номер от 25 октября).

Ходил в квартиру чью-то наверх, смотрел пожар (возле Никитских ворот, говорят). Дочь Буренина.

2 ноября. Заснул вчера поздно — орудийная стрельба. День нынче особенно темный (погода). Остальное все то же.

* «Внемлите, прошло еще четверть часа вашей жизни» (*итал.*).

Днем опять ударило в дом Казакова. Полная неизвестность, что в Москве, что в мире, что с Юлием! Два раза дежурил.

Народ возненавидел все.

Положение нельзя понять. Читал только «Социал-демократ». Потрясающий номер! Но о событиях нельзя составить представления. Часов с шести вечера стрельбы из орудий, слава Богу, чтобы не сглазить, что-то не слышно.

Одиннадцать часов вечера. Снова два орудийных удара.

4 ноября. Вчера не мог писать, один из самых страшных дней всей моей жизни. Да, позавчера был подписан в пять часов «Мирный договор». Вчера часов в одиннадцать узнал, что большевики отбирают оружие у юнкеров. Пришли Юлий, Коля. Вломились молодые солдаты с винтовками в наш вестибюль — требовать оружие. Всем существом понял, что такое вступление скота и зверя победителя в город. «Вобче, безусловно!» Три раза приходили, вели себя нагло. Выйдя на улицу после этого отсиживания в крепости — страшное чувство свободы (идти) и рабства. Лица хамов, сразу заполнивших Москву, потрясающе скотски и мерзки. День темный, грязный. Москва мерзка как никогда. Ходил по переулкам возле Арбата. Разбитые стекла и т. д. Назад, по Поварской — автомобиль взял белый гроб из госпиталя против нас.

Заснул около семи утра. Сильно плакал. Восемь месяцев страха, рабства, унижений, оскорблений! Этот день венеч всего! Разгромили людоеды Москву!

Нынче встал в одиннадцать. Были Юлий, Митя, Коля, поплы в книгоиздательство. Заперто. Богданов у Никитских ворот (нрзб. 1 сл.). Цинизм!!

Вечером был у Пүшешниковых. Купил «Новую жизнь» несколько номеров. Сейчас читал номер от 3-го. О негодяи! Как изменили тон! Громят большевиков. Луначарский мерзавец. Достигнуто «Соглашение» (нрзб.). Женский батальон в Петербурге насильовали. Из Москвы бегут юнкера, публика. И — «Соглашение»!

Командующий войсками Московского округа — солдат Муралов. Комиссар театров — Е. К. Малиновская. Старк тоже комиссар. О Боже! Вишневецкий из Малого театра говорил, как запаскудили Малый театр. Разгромлен, разграблен Зимний дворец. Из Москвы бегут — говорят о «Варфоломеевской ночи». Восемь месяцев!

11 ноября. Нынче опять нет газет — опять праздновали вчера. Вчера хоронили «борцов» большевиков. В «Известиях В.-Рев. Комит.»: «Не плачьте над трупами павших борцов». Часа в два эти борцы — солдаты и «красная гвардия» возвра-

щались с похорон по Поварской, между прочим. Вид — пещерных людей. Среди Москвы зарыли чуть не тысячу трупов.

Вчера самое ошеломляющее: Ленин сместил Духонина, назначил верховным главнокомандующим Крыленко. Да <...> Троцкий за Россию заключает мир! Того хочет сам русский народ!

Дни грязные, со снегом, с таянием.

21 ноября 12 ч. ночи. Сижу один, слегка пьян. Вино возвращает мне смелость, муть сладкую сна жизни, чувственность — ощущение запахов и пр. — это не так просто, в этом какая-то суть земного существования. Передо мной бутылка № 24 удельного. Печать, государственный герб. Была Россия! Где она теперь. О Боже, Боже. Нынче ужас <прзб. 1 сл.>. Убит Духонин, взята ставка и т. д.

Возведен патриарх «всёя Руси» на престол нынче — кому это нужно?!

18 января 1918. Мокрая погода. Заседание в книгоиздательстве — по обыкновению, мерзкое впечатление. Шмелев, издавший за осень штук шесть своих книг, нагло гремел против издания сборников «Слово» и против авансов (значит, главное — против меня, так как я попросил, и мне постановили выдать в прошлом заседании тысячу рублей), когда «авторам за их книги не платят полностью». Уникум сверхъестественный, такого <...>, как Шмелев, я не видывал.

С утра расстроила «Власть народа» — «Киев взят большевиками». В других газетах этого нет.

Была Маня Устинова — приглашала читать у Лосевой. Говорила про А. Толстого: «Хам, без мыла влезет где надо, прибивается к богатым» и т. д. Провожал ее. Москва так мерзка, что страшно смотреть. Вечером у Мити. Юлий рассказывал, какой ужас, какая грязь, какая матерщина в чайной у Никитских ворот, где он чай вздумал пить.

Арбат по ночам страшен. Песни, извозчики нагло, с криком несутся домой, народ идет по середине улицы, тьма в переулках, Арбат полутемен. Народ выходил из кинематографа, когда я нынче возвращался, — какой страшный плебей! Поварская темна. Теперь, местами, когда темно, город очень хорош, заграничный какой-то.

16/29 апреля. День серый, а то все время чудесная погода. Был в сберегательной кассе, лучше все выбрать, в дикарских странах банки и кассы — <прзб>, прежде умней были — в землю зарывали. Чиновник, жалкая <прзб>, в очках, весь

день пьет чай за своим барьером. Уверен — очень доволен жизнью, главное — служебными часами.

Лакей лет двадцати пяти, грек или полугрек, можно — одессит, можно — пароходный лакей. Довольно высок, длинные ноги, пиджачная черная парочка, волосы черные — на косой ряд, завитком, коком, как у какого-нибудь лаборанта, надо лбом, пенсне, большой кадык, служит очень молчаливо, вечная сдержанность, вечное мысленное пожимание плечом — «что ж, делать нечего, будем лакеем!». Может стать преступником.

Одесса, весна, часов двенадцать ночи, чистая, пустая уже улица — приятно идти. Свежая зелень каштанов, в ней — фонари. Еврей, небольшой, кругленький, довольно приятный даже, идет, снял шляпу. Превосходное расположение духа. Был в гостях, там в гостиной на четвертом этаже, с отворенной на балкон дверью, пела молодая женщина с большой грудью. Гостиная тесная, противная, мерзкие картины в тяжелых багетах, атласные пуфы и т. д. <нрзб> В «Парус» (для альманаха) послал (уже недели две тому назад): «Золотыми цветут остриями...», «Просыпаюсь в полумраке...», «Этот старый погост...», «Стали дымом...», «Тает, сияет...», «Что впереди» и «Мы рядом шли...».

12 ч. ночи 17/30 апреля. Утром отвратительное ощущение — ходил в Лионский кредит, в сейф за чековой книжкой. Со зла взял из ящика все — черновики, письма, столовое серебро и т. д. — оставил только бумагу в 500 р. — кажется, военный заем. Скандал — у Глобы пропало кольцо бриллиантовое ценой тысяч в десять. Хам, который его, очевидно, украл, — начальство от большевиков, ужасно орал и все твердил одно: если бы оно тут было, то оно бы и было тут.

Москву украшают. Непередаваемое впечатление — какой цинизм, какое <...> издевательство над этим скотом — русским народом! Это этот-то народ, дикарь, свинья грязная, кровавая, ленивая, презираемая ныне всем миром, будет праздновать *интернационалистический* праздник! А это хамское, несказанно-нелепое и подлое стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик... И как раз нынче известие о взятии турками Карса! А завтра, в день предания Христа — торжество предателей России!

Вечером у Авиловых. Слава Богу, дождь! Если бы и завтра, да сколь возможно проливной! Вот уж поистине все чуда ждешь, — так страшно изболела душа! Хоть бы их гроза уби-

ла, потоп залил! Говорят, возмущенных этим стаскиванием памятников очень много. (Да какой там черт, это наше возмущение!) «Немцы (или турки) приказали стащить!» Домовый комитет наш трусит, — ищет красной материи на флаги, боится, что не исполнит приказания «праздновать» и пострадает. И во всей Москве так. Будь проклят день моего рождения в этой проклятой стране!

А Айхенвальд — да и не один он — всерьез толкует о таком ничтожнейшем событии, как то, что Андрей Белый и Блок, «нежный рыцарь Прекрасной Дамы», стали большевиками! Подумаешь, важность какая, чем стали или не стали два сукина сына, два набитых дурака!

1 мая, 12 ч. дня. С утра серо, холодно. Сейчас проглядывает и тает солнце. Чудовищно-скотские подробности поведения Дыбенко (началось его дело). Идиотски-риторические вопли Андрея Белого в «Жизни» по поводу 1-го мая. Вообще газета эта верх пошлости и бесстыдства. А меж тем в ней чуть не все наши знаменитости. Негодяи!

Везет им! День очень хороший, солнечный, хотя сильно прохладный. Выходил, был на Арбатской площади, на Никитской. Город довольно чист и очень довольно пуст. Оживления в толпе, на лицах нет. Был Цетлин (Мих. Осип. — 1-51-88), приглашал в эсеровскую газету (Бунаков, Вишняк и т. д.). Литературный отдел все тоже очень сплывающаяся за последнее время <...> компания — Гершензон, Шестов, Эренбург, В. Инбер и т. д. Дал согласие — что делать! Где же печататься, чем жить? Спрашиваю: «Отчего нет Бальмонта?» — «Да он, видите ли, настроен очень антисоциалистически».

2/19 мая, 11 ч. вечера. Воротился в десять от Юлия. Фонарей нет — зато вчера праздновали — горели до двенадцати, против всякого обыкновения. Темно на Арбате, на площади — на Поварской-то всегда с десяти темно. Противно бешенство хрюкающих автомобилей, на площади костерчик вдали, грохот телег ломовых — в темноте не тот, что при огне. Дома высоки.

День прохладный, но теплый, солнце, облака. В двенадцать был в книгоиздательстве — Клестов говорит, что они хотят отменить торговлю — всякую <...>. Потом — к Фриче! Узнать о заграничных паспортах. Нет приема. Сказал, чтобы сказали мою фамилию, — моментально принял. Сперва хотел держаться официально — смущение скрываемое. Я повел себя проще. Стал улыбаться, смелей говорить. Обещал всяче-

ское содействие. Можно и в Японию, «можно скоро будет, думаю, через Финляндию, тоже и в Германию...».

Два раза был в «Новой жизни» на Знаменке. «Это помещение занято редакцией «Новой жизни» по постановлению такого-то комиссариата» — это на дверях. Однако, когда я был там в пять часов, их, оказывается, хотят «вышибать» латыши. «Могут и стрелять — от латышей всего можно ждать». Когда выходил — бешеный автомобиль к их дверям, солдаты, винтовки. В редакции барышня-еврейка, потом Моисей Яковлевич (смесь кавказца с евреем), еще какой-то грязный тощий еврей (не Авилов ли?), Базаров — плебейского вида остолоп, Суханов. У Фриче все служащие тоже евреи.

В шестом (часу) был с Верой у Коган. Коган перековал язычок — уже ругает большевиков. Бессовестный!.. Лариса вышла за Альтросера.

Надежда Алексеевна была в «Метрополе» у Рейснеров. Рейснеры будто бы все стараются держаться аристократами, старик будто бы барон и т. д.

Идя к Коганам, развернул «Вечернюю жизнь» — взята Феодосия! Севастополь «в критическом положении». Каково! Взят Карс, Батум, Ардаган, а по Поварской нынче автомобиль с турецким флагом! Что за адская чепуха! Что за народ мы, будь он трижды и миллион раз проклят!

Митя был на Красной площади. Народ, солдаты стреляют, разгоняют. Народ волнуется, толпится против башни, на которой вчера завесили кумачом икону, а кумач на месте иконы истлел, исчезал, вываливался. Чудо!

4 мая (21 апреля). Великая суббота. Интеллигенты — даже из кушцов — никогда не упускали случая похвастаться, что пострадал за студенческие беспорядки и т. п.

12 ч. 45 м. ночи. Вчера были с Колей против Никольских ворот. Народ смотрит на них с Никольской, кучка стоит на углу Музея. Мы стояли там. Одни — «чудо», другие его отрицают: гнусный солдат латыш, отвратное животное еврей студент, технолог, что ли; в кучке этой еще несколько (безмолвствующих, видимо, желающих понять «как дело») евреев. Меня назвали «чиновником старого режима» за то, что я сказал студенту, что нечего ему, нерусскому, тут быть. Потом суматоха — солдаты погнали в шею какого-то купца. Студент кричал на меня: «Николаевщиной пахнет!» — науськивал на меня. Злоба, боль. Чувства самые черносотенные.

В шесть у Ушаковой. Она рассказывала, что в Киеве офицерам *прибывали гвоздями погонь*.

Сегодня опять 37 — я почти всю зиму болел в этой яме. Боже, Господи, какая зима! И совершенно некуда деться!

Немцы мордуют раду. «Самостийность», кажется, им уже не нужна больше. Чувство острого злорадства.

Вчера от Ушаковой зашел в церковь на Молчановке — «Никола на курьей ношке». Красота этого еще уцелевшего островка среди моря скотов и убийц, красота мотивов, слов дивных, живого золота дрожащих огоньков свечных, траурных риз — всего того дивного, что все-таки создала человеческая душа и чем жива она — единственно этим! — так поразила, что я плакал — ужасно, горько и сладко!

Сейчас был с Верой там же. «Христос воскрес!» Никогда не встречал эту ночь с таким чувством! Прежде был холоден.

На улицах — полная тьма. Хоть бы один фонарь дали, мерзавцы! А 1-го мая велели жечь огонь до 12 ч. ночи.

А в Кремль нельзя. Окопались <...> Тр... (?) пропустил только пятьсот — избранных — да и то велел не шататься возле церквей. «Пришли молиться, так молитесь!»

О, Господи, неужели не будет за это, за эту кровавую обиду, ничего?! О какая у меня нестерпимая боль и злоба к этим Клестовым, Троцким, матросам.

Матрос убил сестру милосердия — «со скуки» (нынешний номер подлейшей газеты «Жизнь»).

У светлой заутрени Толстой с женой. В руках — *рублевые* свечи. Как у него все рассчитано! Нельзя дешевле. «Граф прихожанин!» Стоит точно в парике в своих прямых бурых волосах à la мужик.

Нынче шла крупа. Весь день дома.

Пасхальные номера газет — верх убожества.

Какой напев нынче «Волною морскою...». Нежная гордость, что Господь покарал «гонителя — мучителя», скромная радость, грусть...

5 мая (22 апреля) 1918 г. Плохие писатели почти всегда кончают рассказ лирически, восклицанием и многоточием.

Как дик культ Пушкина у поэтов новых и новейших, у этих плебеев, дураков, бестактных, лживых — в каждой черте своей диаметрально противоположных Пушкину. И что они могли сказать о нем, кроме «солнечный» и тому подобных пошлостей! А ведь сколько говорят!

Светлый день, а я все думаю о народе, о разбойниках мужиках, убийцах — Духонина, Кокошкина, Стрельцовой. Нет, надо бы до гробовой доски не поднимать глаз на этих скотов!

Вместо Немецкой улицы — исторического, давнего названия — улица Баумана! О! И этого простить нельзя!

Прошлую ночь заснул в пять часов утра.

7 мая (24 апреля). Вечером на первый день у Зои (сперва у Каменских) очень напился. Как только дошел — как

отрубил — с этого момента ничего не помню. Очнулся в пять утра. Весь день очень страдал — сердце. *Нельзя, нельзя уже так пить.*

От Каменных шли мимо памятника Александру III. У него отбили нос. Кучка народа, споры — диаметрально противоположные мнения. Много озлобленных против большевиков. (Я шел к Каменским — вслух ругал засевших в запертом Кремле — проходящие — из народа — горячо подхватывают.) И тут — самый мерзкий и битый дурак — студент <...>.

Вчера у Чулковых. Кайранские, Щепкина-Куперник (очень, очень приятна, — что значит прежнее литературное поколение!). Все нездоровилось — все около 37 — погибаю в этом подвале у Муромцевых — а деться буквально некуда! Всю зиму всю голову сломал — куда бы уехать! Нынче с утра опять почти 37. К вечеру нынче чувствую себя лучше. Холод на дворе, у меня холод как в могиле.

Ездил искать «Речь» пасхальный номер — на трамвае солдат у солдата разрезал мешок, накрал, в колени зажал пирожков. «Отдай, сукин сын!» Кругом: «В морду, в морду-то его! В комиссариат!» Злоба, грубость всюду — несказанные!

Опять слухи: в Петербурге — бунт, в Киеве уже монархия.

Перечитал «Записную книжку» Чехова. Сколько чепухи, нелепых фамилий сколько записано — и вовсе не смешных и не типичных — и какие все сюжеты! Все выкапывал человеческие мерзости! Противная эта склонность у него несомненно была.

8 мая (25 апреля). День большого непрерывного волнения: переворот на Украине («Экстренный выпуск «Известий»). Прочли этот выпуск с Колей у Юлия. Радость, злорадство острое.

Светлый холодный день.

У нас было много народу (наша «Среда»). Масса слухов: Мирбах требует выгнать латышей, Мирбах отзывается, на его место — фон Тирпиц (Мирбах слаб!) и т. д.

9 мая (26 апреля). Самый лучший, необходимый паспорт, и теперь еще выдаваемый газетами общественному деятелю: он верил... он верит... я верю в светлое будущее России, «в революцию» и т. д.

Светлый холодный день. С утра все время — чтение газет. В пять на обед к Пашуканису (изд. «Мусагет»).

Художник Ульянов, Бальмонт, Белый. Зоя, Лид. Ив. Некрасова, Вера, я, муж Лидии Ивановны.

Сперва все время мой спор с Андреем Белым. Он вывертывается, по-моему, отрекаясь от большевиков, болтая мутно все одно, смысл чего: из этой грязи и крови родится нечто божественное — и т. д. При встречах он, впрочем, всегда симпатичен. Бальмонт был разумен, прост.

10 мая (нов. стиля). Серый, очень холодный день.

Был <нрзб>, просил участвовать в «Палестинском вечере», был Цетлин — просит рассказ в свою газету («Возрождение»).

Звонил из типографии Левинсон метранпаж. Спрашиваю: «Кто говорит?» Отвечает: «С вами говорит товарищ Морозов». Боже мой, сам себя называет «товарищем» — чего же ждать от этой «демократии»!

13 мая. Позавчера почти-весь номер «Новой жизни» — травля кадетов. Горького статья особенно — нечто выдающееся по глупости, низости, наглости, злобе.

Все дни — слух, слух — и у всех страстное ожидание переворота на манер киевского.

Вчера «Среда». Читал Лидин («Олень»), стихи — Ходасевича и Копылова (...) Эренбург, Соболь — все наглет. Эренбург опять стал задевать меня — пшютовским, развязным, задирчивым тоном. Шкляр — «страстную» речь по этому поводу. Я сказал: «Да, это надо бросить!» Начался скандал. Толстой злой на меня за «Элиту», на их стороне. «Эренбург — большой поэт». А как он три месяца тому назад, после чтения стихов Эренбургом, ругал Эренбурга (...)!

Нынче говорил на углу с газетчиком и еще <с> кем-то из народа. Бесплезно! В голове тьма, путаница самых противоположных вещей, в сердце — только корысть, материальное. «У Николая четырнадцать миллиардов золотом, вот он и нанимает белогвардейцев».

Позавчера Телешов рассказывал, как на него замахнулся хлыстом (в банке) какой-то «товарищ» — из начальства при банке — и крикнул: «Молчать!»

Клестов говорит, что б<ольшевики> решили <начать> ужаснейший террор против «кадетов».

14/1 мая. Утром в десять, когда я еще в постели, — Арсик — плачет — умерла Варвара Владимировна.

Весь день и в момент этого известия у меня никаких чувств по поводу этого известия. Как это дико! Ведь какую роль она сыграла в моей жизни! И давно ли это было — она, молоденькая, мы приехали с ней в Полтаву... Ехали — в Харькове на вокзале поцеловала у меня руку и... (на этом автограф обрывается. — А. Б.).

ОКАЯННЫЕ ДНИ

МОСКВА, 1918 г.

1 января (старого стиля).

Кончился этот проклятый год. Но что дальше? Может, нечто еще более ужасное. Даже наверное так.

А кругом нечто поразительное: почти все почему-то необыкновенно веселы, — кого ни встретишь на улице, просто сияние от лица исходит:

— Да полно вам, батенька! Через две-три недели самому же совестно будет...

Бодро, с веселой нежностью (от сожаления ко мне, глупому) тиснет руку и бежит дальше.

Нынче опять такая же встреча, — Сперанский из «Русских Ведомостей». А после него встретил в Мерзляковском старуху. Остановилась, оперлась на костыль дрожащими руками и заплакала:

— Батюшка, возьми ты меня на воспитание! Куда ж нам теперь деваться? Пропала Россия, на тринадцать лет, говорят, пропала!

7 января.

Был на заседании «Книгоиздательства писателей», — огромная новость: «Учредительное Собрание» разогнали!

О Брюсове: все левее, «почти уж форменный большевик». Не удивительно. В 1904 году превозносил самодержавие, требовал (совсем Тютчев!) немедленного взятия Константинополя. В 1905 появился с «Кинжалом» в «Борьбе» Горького. С начала войны с немцами стал ура-патриотом. Теперь большевик.

5 февраля.

С первого февраля приказали быть новому стилю. Так что по-ихнему нынче уже восемнадцатое.

Вчера был на собрании «Среды». Много было «молодых». Маяковский, державшийся, в общем, довольно пристойно, хотя все время с какой-то хамской независимостью, щеголявший стоеросовой прямоотой суждений, был в мягкой рубаше

без галстука и почему-то с поднятым воротником пиджака, как ходят плохо бритые личности, живущие в скверных номерах, по утрам в нужник.

Читали Эренбург, Вера Инбер. Саша Койранский сказал про них:

Завывает Эренбург,
Жадно ловит Инбер ключ его,—
Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

6 февраля.

В газетах — о начавшемся наступлении на нас немцев. Все говорят: «Ах, если бы!»

Ходили на Лубянку. Местами «митинги». Рыжий, в пальто с каракулевым круглым воротником, с рыжими кудрявыми бровями, с свежевыбритым лицом в пудре и с золотыми пломбами во рту, однообразно, точно читая, говорит о несправедливостях старого режима. Ему злобно возражает курносый господин с выпуклыми глазами. Женщины горячо и невпопад вмешиваются, перебивают спор (принципиальный, по выражению рыжего) частностями, торопливыми рассказами из своей личной жизни, долженствующими доказать, что творится черт знает что. Несколько солдат, видимо, ничего не понимают, но, как всегда, в чем-то (вернее, во всем) сомневаются, подозрительно покачивают головами.

Подшел мужик, старик с бледными вздутыми щеками и седой бородой клином, которую он, подойдя, любопытно всунул в толпу, воткнул между рукавов двух каких-то все время молчавших, только слушавших господ: стал внимательно слушать, но тоже, видимо, ничего не понимая, ничему и никому не веря. Подшел выфкый синеглазый рабочий и еще два солдата с подсолнухами в кулаках. Солдаты оба коротконоги, жуют и смотрят недоверчиво и мрачно. На лице рабочего играет злая и веселая улыбка, пренебрежение, стал возле толпы боком, делая вид, что он приостановился только на минуту, для забавы: мол, заранее знаю, что все несут чепуху.

Дама поспешно жалуется, что она теперь без куска хлеба, имела раньше школу, а теперь всех учениц распустила, так как их нечем кормить:

— Кому же от большевиков стало лучше? Всем стало хуже и первым делом нам же, народу!

Перебивая ее, наивно вмешалась какая-то намазанная сучка, стала говорить, что вот-вот немцы придут и всем придется расплачиваться за то, что натворили.

— Раньше, чем немцы придут, мы вас всех перережем, — холодно сказал рабочий и пошел прочь.

Солдаты подтвердили: «вот это верно!» — и тоже отошли.

О том же говорили и в другой толпе, где спорили другой рабочий и прапорщик. Прапорщик старался говорить как можно мягче, подбирая самые безобидные выражения, стараясь воздействовать логикой. Он почти заискивал, и все-таки рабочий кричал на него:

— Молчать побольше вашему брату надо, вот что! Нечего пропаганду по народу распускать!

К. говорит, что у них вчера опять был Р. Сидел четыре часа и все время бессмысленно читал чью-то валявшуюся на столе книжку о магнитных волнах, потом пил чай и съел весь хлеб, который им выдали. Он по натуре кроткий, тихий и уж совсем не нахальный, а теперь приходит и сидит без всякой совести, поедает весь хлеб с полным невниманием к хозяевам. Быстро падают люди!

Блок открыто присоединился к большевикам. Напечатал статью, которой восхищается Коган (П. С.). Я еще не читал, но предположительно рассказал ее содержание Эренбургу — и, оказалось, очень верно. Песенка-то вообще не хитрая, а Блок человек глупый.

Из Горьковской «Новой Жизни»:

«С сегодняшнего дня даже для самого наивного простака становится ясно, что не только о каком-нибудь мужестве и революционном достоинстве, но даже о самой элементарной честности применительно к политике народных комиссаров говорить не приходится. Перед нами компания авантюристов, которые ради собственных интересов, ради промедления еще на несколько недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов родины и революции, интересов русского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых».

Из «Власти Народа»:

«Ввиду неоднократно наблюдающихся и каждую ночь повторяющихся случаев избиения арестованных при допросе в Совете Рабочих Депутатов, просим Совет Народных Комиссаров оградить от подобных хулиганских выходов и действий...»

Это жалоба из Боровичей.

Из «Русского Слова»:

Тамбовские мужики, села Покровского, составили протокол:

«30-го января мы, общество, преследовали двух хищников, наших граждан Никиту Александровича Булкина и Адриана Александровича Кудинова.

По соглашению нашего общества, они были преследованы и в тот же момент убиты».

Тут же выработано было этим «обществом» и своеобразное уложение о наказаниях за преступления:

— Если кто кого ударит, то потерпевший должен ударить обидчика десять раз.

— Если кто кого ударит с поранением или со сломом кости, то обидчика лишить жизни.

— Если кто совершит кражу или кто примет краденое, то лишить жизни.

— Если кто совершит поджог и будет обнаружен, то лишить того жизни.

Вскоре были захвачены с поличным два вора. Их немедленно «судили» и приговорили к смертной казни. Сначала убили одного: разбили голову безменом, пропороли вилами бок и мертвого, раздев догола, выбросили на проезжую дорогу. Потом принялись за другого...

Подобное читаешь теперь каждый день.

На Петровке монахи колют лед. Прохожие торжествуют, злорадствуют:

— Ага! Выгнали! Теперь, брат, заставят!

Во дворе одного дома на Поварской солдат в кожаной куртке рубит дрова. Прохожий мужик долго стоял и смотрел, потом покачал головой и горестно сказал:

— Ах, так твою так! Ах, дезелтир, так твою так! Пропала Россия!

7 февраля.

Во «Власти Народа» передовая: «Настал грозный час — гибнет Россия и Революция. Все на защиту революции, так еще недавно лучезарно сиявшей миру!»

Когда она сияла, глаза ваши бесстыжие?

В «Русском Слове»: «Убит бывший начальник штаба генерал Янушкевич. Он был арестован в Чернигове и, по распоряжению местного революционного трибунала, препровождался в Петроград в Петропавловскую крепость. В пути генерала сопровождали два красноармейца. Один из них ночью чetyрьмя выстрелами убил его, когда поезд подходил к станции Орбеж».

Еще по-зимнему блестящий снег, но небо синее ярко, по-весеннему, сквозь облачные сияющие пары.

На Страстной наклеивают афишу о бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала:

— Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам? Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают, — придут, придут, а вот что-й-то не приходят!

По Тверской идет дама в пенсне, в солдатской бараньей шапке, в рыжей плюшевой жакетке, в изорванной юбке и в совершенно ужасных калошах.

Много дам, курсисток и офицеров стоят на углах улиц, продают что-то.

В вагон трамвая вошел молодой офицер и, покраснев, сказал, что он «не может, к сожалению, заплатить за билет».

Перед вечером. На Красной площади слепит низкое солнце, зеркальный наезженный снег. Морозит. Зашли в Кремль. В небе месяц и розовые облака. Тишина, огромные сугробы снега. Около артиллерийского склада скрипит валенками солдат в тулупе, с лицом точно вырубленным из дерева. Какой ненужной кажется теперь эта стража!

Вышли из Кремля — бегут и с восторгом, с неестественными ударами кричат мальчишки:

— Взятие Могилева германскими войсками!

8 февраля.

Андрей (слуга брата Юлия) все больше шалает, даже страшно.

Служит чуть не двадцать лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но, видно, уже через силу, не может глядеть на нас, уклоняется от разговоров с нами, весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчанья, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху.

Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н. Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем:

— Да, да, летит, летит! А кто виноват, кто? Буржуазия! И вот увидите, как ее будут резать, увидите! Вспомните тогда вашего генерала Алексеева!

Юлий спросил:

— Да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?

Андрей, не глядя на нас, прошептал:

— Мне нечего объяснять. Вы сами должны понять...

— Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Что же случилось?

— Что случилось? А вот погодите, поймете...

Приехал Дерман, критик, — бежал из Симферополя. Там, говорит, «неописуемый ужас», солдаты и рабочие «ходят прямо по колено в крови». Какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке.

9 февраля.

Вчера были у Б. Собралось порядочно народу — и все в один голос: немцы, слава Богу, продвигаются, взяли Смоленск и Бологое.

Утром ездил в город.

На Страстной толпа.

Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.

— Это для меня вовсе не камень, — поспешно говорит дама, — этот монастырь для меня священный храм, а вы стараетесь доказать...

— Мне нечего стараться, — перебивает баба нагло, — для тебя он освящен, а для нас камень и камень! Знаем! Видали во Владимире! Взял маляр доску, намазал на ней, вот тебе и Бог. Ну и молись ему сама.

— После этого я с вами и говорить не желаю.

— И не говори!

Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим.

— У вас, конечно, ничего теперь не осталось, ни Бога, ни совести, — говорит старик.

— Да, не осталось.

— Вы вон пятого мирных людей расстреливали.

— Ишь ты! А как *вы* триста лет расстреливали?

На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает, стоит робко, скромно, как нищий...

Как потрясающе быстро все сдались, пали духом!

Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. Кстати, — почему именно «легион»? Какое обилие новых и все высокопарных слов! Во всем игра, балаган, «высокий» стиль, напыщенная ложь.

Жены всех этих с. с., засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по своим домашним телефонам.

19 февраля*.

«Мир, мир, а мира нет. Между народом Моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Это из Иеремии, — все утро читал Библию. Изумительно. И особенно слова: «И народ Мой любит это... вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их».

Потом читал корректуру своей «Деревни» для горьковско-го книгоиздательства «Парус». Связал меня черт с этим заведением! А «Деревня» вещь все-таки необыкновенная. Но доступна только знающим Россию. А кто ее знает?

Потом просматривал (тоже для «Паруса») свои стихи за 16 год.

Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт
И по хлевам чадит навоз...
Жара, страда... Куда летит
Через усадьбу шальный пес?

Это я писал летом 16 года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими, жившими в деревне, в близости с народом.

Летом прошлого года это осуществилось полностью:

Вот рожь горит, зерно течет,
А кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И, как Мамай, всю Русь пройдет...

До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17 года в деревне и как, почему уцелели наши головы!

«Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно...» Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно! Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное: наша «пристрастность»

* Очевидно, опечатка (ред.)

будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна «страсть» только «революционного народа»? А мы-то что ж, не люди, что ли?

Вечером на «Среде». Читал Ауслендер — что-то крайне убогое, под Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах.

Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоеывая, а «просто едут по железной дороге» — занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, не более не менее.

В «Известиях» статья, где «Советы» сравниваются с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал.

14 февраля.

Несет теплым снегом.

В трамвае ад, тучи солдат с мешками — бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев.

Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ: «Ну, вот, немец придет, наведет порядок».

Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов, жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломаются. И так всю зиму.

У Никитских Ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся:

— Простите, ради Бога, в ноги поклонюсь!

Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив:

— Зачем в ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри не попадайся мне!

Чувствует себя начальником, и недаром. Новые господа.

Газеты с белыми колонками — цензура. Муралов «выбыл» из Москвы.

Извозчик возле «Праги» с радостью и смехом:

— Что ж, пусть приходит. Он, немец-то, и прежде все равно нами владел. Он уж там, говорят, тридцать главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному «трогай», а за ним и все.

15 февраля.

После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы «встать, как один, на борьбу с немецкими белогвардейцами».

Луначарский призывает даже гимназистов записываться в красную гвардию, «бороться с Гинденбургом».

Итак, мы отдаем немцам 35 губерний, на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов...

Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им — красота и радость. Особенно была хороша одна — прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты... Что ждет эту молодость?

К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте. Лужи и еще не растаявший белый, мягкий снег.

16 февраля.

Вчера вечером у Т. Разговор, конечно, все о том же, — о том, что творится. Все ужасались, один Шмелев не сдавался, все восклицал:

— Нет, я верю в русский народ!

Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый:

— Москва, брат, теперь ни... не стоит.

— Теперь и провинция ни... не стоит.

— Ну, вот немец придет, наведет порядок.

— Конечно. Мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые.

— А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах...

В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал пятьдесят пудов сливочного масла и громко говорил:

— Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов такой же солдат, как и я, а на днях пропил двадцать тысяч царскими.

Двадцать тысяч! Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя, черт его знает, — может, и правда.

В четыре часа в Художественном Кружке собрание журналистов — «выработка протеста против большевистской цензуры». Председательствовал Мельгунов. Кускова призывала в знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам! Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фриче, например, уже вывез.

Говорили про Саликовского:

— Да, вы только подумайте! И журналист-то был пар-

шивый, но вот эта смехотворная Рада, и Саликовский — киевский генерал-губернатор!

Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения: генерал Каменев застрелился; на Поварской — главный немецкий штаб; жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой; большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов; по согласию с Мирбахом решено избрать на царство Самари-на... С кем же в таком случае будет жаркий бой?

Ночью.

Простаясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:

— Деспот, сукин сын!

Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки, — пора готовиться на юг, — и как раз нахожу кое-какие доказательства своего «деспотизма». Вот заметка 22 февраля 15 года:

— Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и в свободную минуту читает, — медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется... Как жестоко, отвратительно мы живем!

Вот зима 16 г. в Васильевском:

— Поздний вечер, сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Марья Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги:

— Прибавить просит. Совсем бесстыжий стал народ.

Как всегда, на конверте ухарски написано лиловыми чернилами рукой измалковского телеграфиста: «Нарочному уплатить 70 копеек». И, как всегда, карандашом и очень грубо цифра семь исправлена на восемь: исправляет мальчишка этого самого «нарочного», то есть измалковской бабы Махоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндеवेशей шалью, с кнутом в руке, небольшая баба.

— Махоточка, опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?

— Барин, — отвечает Махоточка деревянным с морозу голосом, — ты глянть, дорога-то какая. Ухаб на ухабе. Всю душу выбило. Опять же стыдь, мороз, коленки с пару зашлись. Ведь двадцать верст туда и назад...

С укоризной качая головой, потом сую Махоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна: ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле, блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стучающие по ней, мелко бегущая бокастая лошадедка, вся обросшая изморозью, с крупными, серыми от изморози ресницами... О чем думает Махоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка?

В кабинете разрываю телеграмму: «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы!» Вот из-за чего двадцать верст стучалась Махоточка по ухабам.

17 февраля.

Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан.

— Не представляю себе, — говорил А. А. Яблоновский, — не представляю подпись Гогенцоллерна рядом с подписью Бронштейна!

Нынче был в доме Зубова (на Поварской). Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна, очень ярко от снега и солнца, — в ветвях берез, сине-голубое, оно особенно хорошо.

В половине пятого на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков «Вечерние Новости»: *мир подписан!*

Позвонил во «Власть Народа»: правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в «Известия» и что оттуда твердый ответ: да, подписан.

Вот тебе и «не представляю».

18 февраля.

Утром собрание в «Книгоиздательстве писателей». До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов-Ангарский, — он уже какой-то комиссар, — ни слова.

На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова:

— Ну, а сколько же именно эти мерзавцы получили?

— Не беспокойтесь,— ответил он с мутной усмешкой,— порядочно...

По городу общий голос:

— Мир подписан только со стороны России; немцы отказались подписать...

Дурацкое самоутешение.

К вечеру матовым розовым золотом светились кресты церквей.

19 февраля.

Критик Коган (П. С.) рассказывал мне о Штейнберге, комиссаре юстиции: старозаветный, набожный еврей, не ест тrefного, свято чтит субботу... Затем о Блоке: он сейчас в Москве, страстный большевик, личный секретарь Луначарского. Жена Когана с умилением:

— Но не судите его строго! Ведь он совсем, совсем ребенок!

В пять часов вечера узнал, что в Экономическое Общество Офицеров на Воздвиженке пьяные солдаты бросили бомбу. Убито, говорят, не то шестьдесят, не то восемьдесят человек.

Читал только что привезенную из Севастополя «резолюцию, вынесенную командой линейного корабля «Свободная Россия». Совершенно замечательное произведение:

— Всем, всем и за границу Севастополя бесцельно подурному стреляющим!

— Товарищи, вы достреляетесь на свою голову, скоро нечем будет стрелять и по цели, вы все расстреляете и будете сидеть на бабах, а тогда вас, голубчиков, и пустыми руками заберут.

— Товарищи, буржуазия глотает и тех, кто лежит сейчас в гробах и могилах. Вы же, предатели, стреляльщики, тратя патроны, помогаете ей и остальных глотать. Мы призываем всех товарищей присоединиться к нам и запретить стрельбу всем имеющим конячую голову.

— Товарищи, давайте сделаем так от нынешнего дня, чтобы всякий выстрел говорил нам: «Одного буржуя, одного социалиста уже нет в живых!» Каждая пуля, впущенная нами, должна лететь в толстое брюхо, она не должна пенить воду в бухте.

— Товарищи, берегите патроны пуще глаза. С одним глазом еще можно жить, но без патронов нельзя.

— Если стрельба при ближайших похоронах возобновится по городу и бухте, помните, что и мы, военные моряки линейного корабля «Свободная Россия», выстрелим один ра-

зочек, и тогда не неняйте на нас, если у всех полопаются барабанные перепонки и стекла в окнах.

— Итак, товарищи, больше в Севастополе пустой, дурной стрельбы не будет, будет стрельба только деловая — в контр-революцию и буржуазию, а не по воде и воздуху, без которых и минуты никто не может жить!

20 февраля.

Ездил на Николаевский вокзал.

Очень, даже слишком солнечно и легкий мороз. С горы за Мясницкими воротами — сизая даль, груды домов, золотые маковки церквей. Ах, Москва! На площади перед вокзалом тает, вся площадь блещет золотом, зеркалами. Тяжкий и сильный вид ломовых подвод с ящиками. Неужели всей этой силе, избытку конец? Множество мужиков, солдат в разных, в каких попало шинелях и с разным оружием — кто с саблей на боку, кто с винтовкой, кто с огромным револьвером у пояса... Теперь хозяева всего этого, наследники этого колоссального наследства — они...

В трамвае, конечно, давка.

Две старухи яростно бранят «правительство»:

— Дают, глаза их накройся, по осьмушке сухарей, небось, год валялись, пожуешь — вонь, душа горит!

Рядом с ними мужик, туго слушает, туго глядит, странно, мертво, идиотски улыбается. На коричневое лицо нависли грязные лохмотья белой манджурки. Глаза белые.

А среди всех прочих, сидящих и стоящих, возвышаясь надо всеми на целую голову, стоит великан военный в великолепной серой шинели, туго перетянутой хорошим ремнем, в серой круглой военной шапке, как носил Александр Третий. Весь крупен, породист, блестящая коричневая борода лопатой, в руке в перчатке держит Евангелие. Совершенно чужой всем, последний могокан.

На обратном пути слепит идущая прямо на солнце улица. Вдруг все приподнимаются и смотрят: сцена древней Москвы, картина Сурикова; толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает лежащую и бьющуюся на мостовой лошадь: громадные набитые соломой розвальни, оглобли которых она безобразно вывернула, падая, влезли на тротуар. Мужик орет всем нутром: «Ребят, подцоби!» Но никто не трогается.

В шесть вышли. Встретили М. Говорит, что только что слышал, будто Кремль минируют, хотят взорвать при приходе

немцев. Я как раз смотрел в это время на удивительное зеленое небо над Кремлем, на старое золото его древних куполов... Великие князья, терема, Спас-на-Бору, Архангельский собор — до чего все родное, кровное и только теперь как следует почувствованное, понятое! Взорвать? Все может быть. Теперь все возможно.

Слухи: через две недели будет монархия и правительство из Адрианова, Сандецкого и Мищенко: все лучшие гостиницы готовятся для немцев.

Эсеры будто бы готовят восстание. Солдаты будто бы на их стороне.

21 февраля.

Была Каменская. Их выселяют, как и сотни прочих. Сроку дано всего 48 часов, а их квартиру и в неделю не соберешь.

Встретил Сперанского. Говорит, что, по сведениям «Русских Ведомостей», в Петербург едет немецкая комиссия — для подсчета убытков, которые причинены немецким подданным, и что в Петербурге будет немецкая полиция; в Москве тоже будет немецкая полиция и уже есть немецкий штаб; Ленин в Москве, сидит в Кремле, поэтому-то и объявлен Кремль на осадном положении.

22 февраля.

Утром горестная работа: отбираем книги — что оставить, что продать (собираю деньги на отъезд).

Юлию из «Власти Народа» передавали «самые верные сведения»: Петербург объявлен вольным городом; градоначальником назначается Луначарский. (Градоначальник Луначарский!) Затем: завтра московские банки передаются немцам; немецкое наступление продолжается... Вообще, черт ногу сломит!

Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда теперь, во тьме, но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Фасад театра темен, погребально-печален, карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи. Еврей с коричневой лысиной, с седой подстриженной на щеках бородой и в золотых очках, все трепал по заду свою дочку, все садившуюся на барьер девочку в синем платье, похожую на черного барана. Сказали, что это какой-то «эмиссар».

Когда вышли из театра, между колонн черно-синее небо, два-три туманно-голубых пятна звезд и резко дует холодом.

Ехать жутко. Никитская без огня, могильно-темна, черные дома высятся в темно-зеленом небе, кажутся очень велики, выделяются как-то по-новому. Прохожих почти нет, а кто идет, так почти бегом.

Что средние века! Тогда по крайней мере все вооружены были, дома были почти неприступны...

На углу Поварской и Мерзляковского два солдата с ружьями. Стража или грабители? И то и другое.

23 февраля.

Опять стали выходить «буржуазные газеты» — с большими пустыми местами.

Встретил К. «Немцы будут в Москве через несколько дней. Но страшно: говорят, будут отправлять русских на фронт против союзников». Да, все то же. И все то же тревожное, нудное, неразрешающееся ожидание.

Все говорим о том, куда уехать. Был вечером у Юлия и попал, возвращаясь домой, под обстрел. Бешено садили из винтовок откуда-то сверху Поварской.

У П. были полотеры. Один с черными сальными волосами, гнутый, в бордовой рубахе, другой рябой, буйнокурчавый. Заплясали, затрясли волосами, лица лоснятся, лбы потные. Спрашиваем:

— Ну, что же скажете, господа, хорошенького?

— Да что скажешь. Все плохо.

— А что ж, по-вашему, дальше будет?

— А Бог знает, — сказал курчавый. — Мы народ темный. Что мы знаем? Я хучь читать умею, а он совсем слепой. Что будет? То и будет: напустили из тюрем преступников, вот они нами и управляют, а их надо не выпускать, а давно надо было из поганого ружья расстрелять. Царя ссадили, а при нем подобного не было. А теперь этих большевиков не сопрешь. Народ ослаб. Я вот курицы не могу зарезать, а на них бы очень просто налягнул. Ослаб народ. Их и всего-то сто тысяч наберется, а нас сколько миллионов, и ничего не можем. Теперь бы казенку открыть, дали бы нам свободу, мы бы их с квартир всех по клокам растащили.

— Там жида все, — сказал черный.

— И поляки вдобавок. Он и Ленин-то, говорят, не настоящий — этого давно убили, настоящего-то.

— А про мир с немцами что вы думаете?

— Этого мира не будет. Это скоро прекратят. А поляки опять наши будут. Главное, хлеба нету. Он вчера купил себе пышечку за три рубля, а я так пустой суп и хлебал...

24 февраля.

На днях купил фунт табаку и, чтобы он не сох, повесил на веревочке между рамами, между фортками. Окно во двор. Ныңче в шесть утра что-то бах в стекло. Вскочил и вижу: на полу у меня камень, стекла пробиты, табаку нет, а от окна кто-то убегает. — Везде грабеж!

Перистые облака, порою солнце, синие клоки луж...

В доме напротив нас молебствие, принесли икону «Нечаянной Радости», поют священники. Очень странно кажется это теперь. И очень трогательно. Многие плакали.

Опять долбят, что среди большевиков много монархистов и что вообще весь этот большевизм устроен для восстановления монархии. Опять чепуха, сочиненная, конечно, самими же большевиками.

Савич и Алексеев будто бы сейчас в Пскове, «формируют правительство».

Звонит на станцию газета «Власть Народа»: дайте 60-42. Соединяют.

Но телефон, оказывается, занят — и «Власть Народа» неожиданно подслушивает чей-то разговор с Кремлем:

— У меня пятнадцать офицеров и адъютант Каледина. Что делать?

— Немедленно расстрелять.

Про анархистов: необыкновенно будто бы веселые и любезные люди; большевицкий «Совет» их весьма боится; глава — Бармаш, вполне сумасшедший кавказец.

В Севастополе «атаман» матросов — некто Ривкин, аршин ростом, клоками борода; участвовал во многих ограблениях и убийствах; «нежнейшей души человек».

Очень многие всегда делают теперь вид, что будто имеют такие сведения, которых ни у кого нет.

В кофейне Филиппова видели будто бы Адрианова, бывшего московского градоначальника. Он будто бы один из главнейших тайных советников в «Совете рабочих депутатов».

25 февраля.

Юрка Саблин — командующий войсками! Двадцатилетний мальчишка, специалист по кэк-уоку, конфетно-хорошенький...

Слух: союзники — теперь уже союзники! — вошли в соглашение с немцами, поручили им навести порядок в России.

Опять какая-то манифестация, знамена, плакаты, музыка — и кто в лес, кто по дрова, в сотни глоток:

— Вставай, подымайся, рабочий народ!

Голоса утробные, первобытные. Лица у женщин чувашские, мордовские, у мужчин, все как на подбор, преступные, иные прямо сахалинские.

Римляне ставили на лица своих каторжников клейма: «Save fugem». На эти лица ничего не надо ставить, и без всякого клейма все видно.

И при чем тут Марсельеза, гимн тех самых французов, которым только что изменили самым подлым образом!

26 февраля.

Не то мужик, не то рабочий вслух разбирает на углу Поварской объявление о газете «Вечерний Час», читает имена сотрудников. Прочитал и сказал:

— Все одна сволочь. Прославились!

Из редакции «Русских Ведомостей»: Троцкий — немецкий шпион, был сыщиком при нижегородском охранном отделении. Это опубликовал в «Правде» Стучка, по злобе на Троцкого.

27 февраля.

Опять праздник, — годовщина революции. Но народу нигде нет, и вовсе не потому, что опять нынче зима и метель. Просто уже надоедает.

Какая-то дикая и жуткая ерунда: у нас весь день сам собой звонит, не умолкая, телефон и из него сыплется огонь.

«Разбегаются! Карахан назначен послом в Константинополь. Каменев — в Берлин...

Читали статейку Ленина. Ничтожная и жульническая — то интернационал, то «русский национальный подъем».

28 февраля.

Опять зима. Много снега, солнечно, стекла домов блестят. Вести со Сретенки — немецкие солдаты заняли Спасские казармы.

В Петербург будто бы вошел немецкий корпус. Завтра декрет о денационализации банков. Думаю, что опять-таки это все сами большевики нас дурачат.

А телефон и нынче звонит — трещит, звонит и сылет красные огненные искры!

1 марта. Вечер у Шкляра.

Идя к нему, видели адвоката Тесленко. Подъехал к своему

* «Осторожно, злодей» (лаг.).

дому на красной лошади. Приостановились, поздоровались. Бодр, говорит, что большевики заняты сейчас одним: «награбить как можно больше денег, так как сами отлично знают что царствию их конец».

У Ш〈кляра〉, кроме нас, Дерман и А. Е. Грузинский.

Грузинскому рассказывал в трамвае солдат: «Хожу без работы, пошел в совет депутатов просить места — мест, говорят, нету, а вот тебе два ордена на право обыска, можешь отлично поживиться. Я их послал куда подале, я честный человек...» Д〈ерман〉 получил сведения из Ростова: корниловское движение слабо. Г〈рузинский〉 возражал: напротив, оно крепнет и растет. Д〈ерман〉 прибавил: «Большевики творят в Ростове ужасающие зверства. Могилу Каледина разрыли, расстреляли 600 сестер милосердия...» Ну, если не шестьсот, то все-таки, вероятно, порядочно. Не первый раз нашему христоролюбивому мужичку, о котором сами же эти сестры распустили столько легенд, избивать их, насиловать.

Говорят, что Москва будет во власти немцев семнадцатого марта. Градоначальником будет Будберг.

Цовар от Яра говорил мне, что у него отняли все, что он нажил за тридцать лет тяжкого труда, стоя у плиты, среди девяностоградусной жары. «А Орлов-Давыдов, прибавил он, прислал своим мужикам телеграмму, — я сам ее читал: жгите, говорит, дом, режьте скот, рубите лес, оставьте только одну березку, — на розги, — и елку, чтобы было на чем вас вешать».

Слух, что в Москве немцы организовали сыскное отделение; следят будто за малейшим шагом большевиков, все отмечают, все записывают.

Вести из нашей деревни: мужики возвращают помещикам награбленное.

В последнем, верно, есть правда. Слышу на улицах:

— Нет, теперь солдаты стали в портки пускать. То все бахвалились, беспечничали, — пускай, мол, придет немец, черт с ним, — а теперь, как стало до серьезного доходить, здорово побаиваются. Большое, говорят, наказание нам будет, да и поделом, по правде сказать: уж очень мы освинели!

Да, если бы в самом деле повяло чем-нибудь «серьезным», живо бы эта «стихийность великой русской революции» присмирела. Как распоясалась деревня в прошлом году летом, как жутко было жить в Васильевском! И вдруг слух: Корнилов ввел смертную казнь — и почти весь июль Васильевское было тише воды, ниже травы. А в мае, в июне по

улице было страшно пройти, каждую ночь то там, то здесь красное зарево пожара на черном горизонте. У нас зажгли однажды на рассвете гумно и, сбежавшись всей деревней, орали, что это мы сами зажгли, чтобы сжечь деревню. А в полдень в тот же день запылал скотный двор соседа, и опять сбежались со всего села, и хотели меня бросить в огонь, крича, что это я поджег, и меня спасло только бешенство, с которым я с матерными словами кинулся на орущую толпу.

2 марта.

«Развратник, пьяница Распутин, злой гений России». Конечно, хорош был мужичок. Ну, а вы-то, не вылезавшие из «Медведей» и «Бродячих Собак»?

Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в гнуснейшем кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алешка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные. Брюсов, говорят, читал «Гавриилиаду», произнося все, что заменено многоточиями, полностью. Алешка осмелился предложить читать и мне, — большой гонорар, говорит, дадим.

«Вон из Москвы!» А жалко. Днем она теперь удивительно мерзка. Погода мокрая, все мокро, грязно, на тротуарах и на мостовых ямы, ухабистый лед, про толпу же и говорить нечего. А вечером, ночью пусто, небо от редких фонарей чернеет тускло, угрюмо. Но вот тихий переулок, совсем темный, идешь — и вдруг видишь открытые ворота, за ними, в глубине двора, прекрасный силуэт старинного дома, мягко темнеющий на ночном небе, которое тут совсем другое, чем над улицей, а перед домом столетнее дерево, черный узор его громадного раскидистого шатра...

Читал новый рассказ Тренева («Батраки»). Отвратительно. Что-то, как всегда теперь, насквозь лживое, рассказывающее о самых страшных вещах, но ничуть не страшное, ибо автор не серьезен, изнуряет «наблюдательностью» и такой чрезмерной «народностью» языка и всей вообще манеры рассказывать, что хочется плюнуть. И никто этого не видит, не чувствует, не понимает, — напротив, все восхищаются. «Как сочно, красочно!»

«Съезд Советов». Речь Ленина. О, какое это животное!

Читал о стоящих на дне моря трупах, — убитые, утопленные офицеры. А тут «Музыкальная табакерка».

3 марта.

Немцы взяли Николаев и Одессу. Москва, говорят, будет взята семнадцатого, но не верю и все собираюсь на юг.

Маяковского звали в гимназии Идиотом Полифемовичем.

5 марта.

Серо, редкий снежок. На Ильинке возле банков туча народу — умные люди выбирают деньги. Вообще, многие тайком готовятся уезжать.

В вечерней газете — о взятии немцами Харькова. Газетчик, продававший мне газету, сказал:

— Слава Тебе Господи. Лучше черти, чем Ленин.

7 марта.

В городе говорят:

— Они решили перерезать всех поголовно, всех до семилетнего возраста, чтобы потом ни одна душа не помнила нашего времени.

Спрашиваю дворника:

— Как думаешь, правда?

Вздыхает:

— Все может быть, все может быть.

— И ужели народ допустит?

— Допустит, дорогой барин, еще как допустит-то! Да и что ж с ними сделаешь? Татары, говорят, двести лет нами владели, а ведь тогда разве такой жидкий народ был?

Шли ночью по Тверскому бульвару: горестно и низко клонит голову Пушкин под облачным с просветами небом, точно опять говорит: «Боже, как грустна моя Россия!»

И ни души кругом, только изредка солдаты и бляди.

8 марта.

Катерина Павловна, жена Горького, про Спиридонову:

— Меня никогда не влекло к ней. Революционная ханжа, истеричка. Дурное издание Фигнер, которую она прежде сознательно копировала...

Да, а ведь какой героиней была одно время эта Спиридонова.

Великолепные дома возле нас (на Поварской) реквизируются один за одним. Из них все вывозят и вывозят куда-то мебель, ковры, картины, цветы, растения — нынче весь день стояла на возу возле подъезда большая пальма, вся мокрая от дождя и снега, глубоко несчастная. И все привозят, внедряют

в эти дома, должностующие быть какими-то «правительственными» учреждениями, мебель новую, конторскую.

Неужели так уверены в своем долгом и прочном существовании?

«Поношение сокрушило сердце мое...»

9 марта.

Нынче В. В. В. — он в высоких сапогах, в поддевке на меху, — все еще играет в «земгусара», — понес опять то, что уже совершенно осточертело читать и слушать:

— Россию погубила косная, своекорыстная власть, не считавшаяся с народными желаниями, надеждами, чаяниями... Революция в силу этого была неизбежна...

Я ответил:

— Не народ начал революцию, а вы. Народу было совершенно наплевать на все, *чего мы хотели*, чем мы были недовольны. Я не о революции с вами говорю, — пусть она неизбежна, прекрасна, все, что угодно. Но не врите на народ — ему ваши ответственные министерства, замены Щегловитых Малянтовичами и отмены всяческих цензур были нужны, как летошний снег, и он это доказал твердо и жестоко, сбросивши к черту и временное правительство, и учредительное собрание, и «все, за что гибли поколения лучших русских людей», как вы выражаетесь, и ваше «до победного конца».

10 марта.

Люди спасаются только слабостью своих способностей, — слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить.

Толстой сказал про себя однажды:

— Вся беда в том, что у меня воображение немного живее, чем у других...

Есть и у меня эта беда.

Грязная темная погода, иногда летает снег.

Отбирали книги на продажу, собираю деньги, уезжать необходимо, не могу переносить этой жизни, — физически.

Вечером у Веселовского. Рассказывал про Фриче, которого видел на днях. «Да, да, давно ли это была самая жалкая и смиренная личность в обшарпанном сюртучишке, а теперь — персона, комиссар иностранных дел, сюртук с атласными отворотами!» Играл на фисгармонии Баха, венгерские народные песни. Очаровательно. Потом смотрели старинные книги, — какие виньетки, заглавные буквы! И все это уже навеки

погибший золотой век. Уже давно во всем идет неуклонное падение.

Как злобно, неохотно отворял нам дверь швейцар! Поглодно у всех лютое отвращение ко всякому труду.

11 марта.

Жена архитектора Малиновского, тупая, лобастая, за всю свою жизнь не имевшая ни малейшего отношения к театру, теперь комиссар театров: только потому, что они с мужем друзья Горького по Нижнему. Утром были в «Книгоиздательстве писателей», и Гонтарев рассказывал, как Шкляр битый час ждал Малиновскую где-то у подъезда, когда же подкатил наконец автомобиль с Малиновской, кинулся высаживать ее с истинно холопским подобоострастием.

Грузинский сказал:

— Я теперь всеми силами избегаю выходить без особой нужды на улицу. И совсем не из страха, что кто-нибудь даст по шее, а из страха видеть теперешние уличные лица.

Понимаю его как нельзя более, испытываю то же самое, только, думаю, еще острее.

Ветер разносит редкие, совсем весенние облака по бледно-голубеющему небу, около тротуаров блестит, бежит весенняя вода.

12 марта.

Встретил адвоката Малянтовича. И этот был министром. И таким до сих пор праздник, с них все как с гуся вода. Розовый, оживленный:

— Нет, вы не волнуйтесь. Россия погибнуть не может уж хотя бы по одному тому, что Европа этого не допустит: не забывайте, что необходимо европейское равновесие.

Был (по делу издания моих сочинений «Парусом») у Тихонова, вечного прихлебателя Горького. Да, очень странное издательство! Зачем понадобилось Горькому завести этот «Парус» и за весь год *издать только книжечку Маяковского?* Зачем Горький купил меня, заплатил семнадцать тысяч вперед и до сих пор не выпустил ни одного тома? Что скрывается под вывеской «Паруса»? И, особенно, в каких же отношениях с большевиками вся эта компания — Горький, А. Н. Тихонов, Гиммер-Суханов? «Борются» якобы с ними, а вот Тихонов и Гиммер приехали и остановились в реквизированной большевиками «Национальной Гостинице», куда я вошел через целую цепь солдат, сидящих на площадках лестниц с винтовками, после того, как получил пропуск от боль-

шевицкого «коменданта» гостиницы. Тихонов и Гиммер в ней как дома. На стенах портреты Ленина и Троцкого. Насчет дела Тихонов вертелся: «Вот-вот начнем печатать, не беспокойтесь».

Рассказывал, как большевики до сих пор изумлены, что им удалось захватить власть и что они все еще держатся:

— Луначарский после переворота недели две бегал с вытаращенными глазами: да нет, вы только подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели произвести, и вдруг такой неожиданный успех!

13 марта.

Какой позор! Патриарх и все князья церкви идут на поклон в Кремль!

Видел В. В. Горячо поносил союзников: входят в переговоры с большевиками вместо того, чтобы идти оккупировать Россию!

Обедал и вечер провел у первой жены Горького, Е(катерины) П(авловны). Был Бах (известный революционер, старый эмигрант), Тихонов и Миролюбов. Этот все превозносил русский народ, то есть мужиков: «Милосердный народ, прекрасный народ!» Бах говорил (в сущности, не имея ни малейшего понятия о России, потому что всю жизнь прожил за границей):

— Да о чем вы спорите, господа? А во французской революции не было жестокостей? Русский народ — народ, как все народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего...

Возвращались с Тихоновым. Он дорогой много, много рассказывал о большевицких главарях, как человек очень близкий им: Ленин и Троцкий решили держать Россию в накалении и не прекращать террора и гражданской войны до момента выступления на сцену европейского пролетариата. Их принадлежность к немецкому штабу? Нет, это вздор, они фанатики, верят в мировой пожар. И всего боятся, как огня, везде им снятся заговоры. До сих пор трепещут и за свою власть и за свою жизнь. Они, повторяю, никак не ожидали своей победы в октябре. После того, как пала Москва, страшно растерялись, прибежали к нам в «Новую жизнь», умоляли быть министрами, предлагали портфели...

15 марта

Все та же морозная погода. И нигде не топят, холод на квартирах ужасный.

Закрты «Русские Ведомости» — из-за статьи Савинкова. Многим все кажется, что Савинков убьет Ленина.

«Комиссар по делам печати Подбельский закрыл и привлек к суду «Фонарь» — «за помещение статей, вносящих в население тревогу и панику». Какая забота о населении, поминутно ограбляемом, убиваемом!

22 марта.

Вчера вечером, когда за мокрыми деревьями уже заблестели огни, в первый раз увидал грачей.

Нынче сыро, пасмурно, хотя в облаках много свету.

Все читаю, все читаю, чуть не плача от какого-то злорадного наслаждения, газеты. Вообще этот последний год будет стоить мне, верно, не меньше десяти лет жизни!

Ночью в черно-синем небе пухлые белые облака, среди них редкие яркие звезды. Улицы темны. Очень велики в небе темные, сливающиеся в один дома; их освещенные окна мягки, розовы.

23 марта.

Вся Лубянская площадь блестит на солнце. Жидкая грязь брызжет из-под колес. И Азия, Азия — солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, маковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор — и какие все мерзкие даже и по цвету лица, желтые и мышинные волосы! У солдат и рабочих, то и дело грохочущих на грузовиках, морды торжествующие.

Старик букинист Волнухин, в полушубке, в очках. Милый, умница; грустный, внимательный взгляд.

Именины Н. Говорили, что все слова на «ны» требуют выпивки. Крепок еще «старый режим».

«Кабак» Премирова. Несомненно, талант. Да что с того? Литературе конец. А в Художественном Театре опять «На дне». Вовремя! И опять этот осточертевший Лука!

К. П. (Пешкова, жена Горького) до сих пор твердо убеждена, что Россию может спасти только Минор.

Меньшевистская газета «Вперед». Все одно и то же, все одно и то же!

Жены всех комиссаров тоже все сделаны комиссарами.

Рота красногвардейцев. Идут вразнобой, спотыкаясь, кто по мостовой, кто по тротуару. «Инструктор» кричит: «Смирно, товарищи!»

Газетчик, бывший солдат:

— Ах, сволочь паскудная! На войну идут и девок с собой

берут! Ей-Богу, барин, гляньте — вот один под ручку с своей шкуррой!

Очень черная весенняя ночь. Просветы в облаках над церковью, углубляющие черноту, звезды, играющие белым блеском.

Особняк Цетлиных на Поварской занят анархистами. Над подъездом черная вывеска с белыми буквами. Внутри всюду освещено — великолепные матовые люстры за гардинами.

24 марта.

Теперь, несчастные, говорим о выступлении уже Японии на помощь России, о десанте на Дальнем Востоке; еще о том, что рубль вот-вот совсем ничего не будет стоить, что мука дойдет до 1000 р. за пуд, что надо делать запасы... Говорим — и ничего не делаем: купим два фунта муки и успокоимся.

У Н. В. Давыдова в Большом Левшинском. Желтоватый домик (бывший писателя Загоскина) с черной крышей, во дворе, за железной оградой с железными черными чашами на воротах. Бирюзовое небо в сети деревьев. Старая Москва, которой вот-вот конец навеки.

В кухне у П. солдат, толстомордый, разноцветные, как у кота, глаза. Говорит, что, конечно, социализм сейчас невозможен, но что буржуев все-таки надо перерезать. «Троцкий молодец, он их крепко по шее бьет».

Серьезная сухая дама и девочка в очках. Торгуют на улице папиросами.

Купил книгу о большевиках, изданную «Задругой». Страшная галерея каторжников! У молодого Луначарского шея пол-аршина длины.

ОДЕССА. 1919 г.

12 апреля (старого стиля).

Уже почти три недели со дня нашей гибели.

Очень жалею, что ничего не записывал, нужно было записывать чуть не каждый момент. Но был совершенно не в силах. Чего стоит одна умопомрачительная неожиданность того, что свалилось на нас 21 марта! В полдень 21-го Анюта (наша горничная) зовет меня к телефону. «А откуда звонят?» — «Кажется, из редакции» — то есть из редакции «Нашего Слова», которое мы, прежние сотрудники «Русского Слова», собравшиеся в Одессе, начали выпускать 19 марта в полной уверенности на более или менее мирное существование «до возврата в Москву». Беру трубку: «Кто говорит?» — «Ва-

лентин Катаев. Спешу сообщить невероятную новость: французы уходят». — «Как, что такое, когда?» — «Сию минуту». — «Вы с ума сошли?» — «Клянусь вам, что нет. Паническое бегство!» — Выскочил из дому, поймал извозчика и глазам своим не верю: бегут нагруженные ослы, французские и греческие солдаты в походном снаряжении, скачут одноколки со всяким воинским имуществом... А в редакции — телеграмма: «Министерство Клемансо пало, в Париже баррикады, революция...»

Двенадцать лет тому назад мы с Верой приехали в этот день в Одессу по пути в Палестину. Какие сказочные перемены с тех пор! Мертвый, пустой порт, мертвый, загаженный город... Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...

Перед тем как проснуться нынче утром, видел, что кто-то умирает, умер. Очень часто вижу теперь во сне смерти — умирает кто-нибудь из друзей, близких, родных, особенно часто брат Юлий, о котором страшно даже и подумать: как и чем живет, да и жив ли? Последнее известие о нем было от 6 декабря прошлого года. А письмо из Москвы к Вере от 10 августа пришло только сегодня. Впрочем, почта русская кончилась уже давно, еще летом 17 года: с тех самых пор, как у нас впервые, на европейский лад, появился «министр почт и телеграфов...». Тогда же появился впервые и «министр труда» — и тогда же вся Россия бросила работать. Да и сатана Каиновой злобы, кровожадности и самого дикого самоуправства дохнул на Россию именно в те дни, когда были провозглашены братство, равенство и свобода. Тогда сразу наступило исступление, острое умопомешательство. Все орали друг на друга за малейшее противоречие: «Я тебя арестую, сукин сын!» Меня в конце марта 17 года чуть не убил солдат на Арбатской площади — за то, что я позволил себе некоторую «свободу слова», послав к черту газету «Социал-Демократ», которую навязывал мне газетчик. Мерзавец солдат прекрасно понял, что он может сделать со мной все что угодно, совершенно безнаказанно, — толпа, окружавшая нас, и газетчик сразу же оказались на его стороне: «В самом деле, товарищ, вы что же это брезгуете народной газетой в интересах трудящихся масс? Вы, значит, контрреволюционер?» — Как

они одинаковы, все эти революции! Во время французской революции тоже сразу была создана целая бездна новых административных учреждений, хлынул целый потоп декретов, циркуляров, число комиссаров, — непременно почему-то комиссаров, — и вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли, как грибы, и все «пожирало друг друга», образовался совсем новый, особый язык, «сплошь состоящий из высокопарнейших восклицаний вперемешку с самой площадной бранью по адресу *грязных остатков издыхающей тирании...*». Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций — бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна.

Ах, эти сны про смерть! Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем *и без того крохотном* существовании! А про эти годы и говорить нечего: день и ночь живем в оргии смерти. И все во имя «светлого будущего», которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. И образовался на земле уже целый легион специалистов, подрядчиков по устройению человеческого благополучия. «А в каком же году наступит оно, это будущее?» — как спрашивает звонарь у Ибсена. Всегда говорят, что вот-вот: «Это будет последний и решительный бой!» — Вечная сказка про красного бычка.

Ночью лил дождь. День серый, прохладный. Деревцо, зазеленевшее у нас во дворе, побледнело. И весна-то какая-то окаянная! Главное — совсем нет *чувства весны*. Да и на что весна *теперь?*

Все слухи и слухи. Жизнь в непрестанном ожидании (как и вся прошлая зима здесь, в Одессе, и позапрошлая в Москве, когда все так ждали немцев, спасения от них). И это ожидание чего-то, что вот-вот придет и все разрешит, сплошное и неизменно-напрасное, конечно, не пройдет нам даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем. А за всем тем, что было бы, если бы не было даже ожидания, то есть надежды?

«Боже мой, в какой век повелел Ты родиться мне!»

13 апреля.

Вчера долго сидел у нас поэт Волошин. Нарвался он с предложением своих услуг («по украшению города к первому мая») ужасно. Я его предупреждал: не бегайте к ним, это не только низко, но и глупо, они ведь отлично знают, кто вы были еще вчера. Нес в ответ чепуху: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». В украшении чего? Виселицы, да еще и собственной? Все-таки побежал.— А на другой день в «Известиях»: «К нам лез Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Теперь Волошин хочет писать «письмо в редакцию»; полное благородного негодования. Еще глупей.

Слухи и слухи. Петербург взят финнами, Колчак взял Сызрань, Царицын... Гинденбург идет не то на Одессу, не то на Москву... Все-то мы ждем помощи от кого-нибудь, от чего-нибудь, от чуда, от природы! Вот теперь ходим ежедневно на Николаевский бульвар: не ушел ли, избавь Бог, французский броненосец, который зачем-то маячит на рейде и при котором все-таки как будто легче.

15 апреля.

Десять месяцев тому назад ко мне приходил какой-то Шпан, на редкость паршивый и оборванный человек, нечто вроде самого плохенького коммивояжера, и предлагал мне быть моим импресарио, ехать с ним в Николаев, в Харьков, в Херсон, где я буду публично читать свои произведения «каждый вечер за тысячу думскими». Нынче я его встретил на улице: он теперь один из сотоварищей этого сумасшедшего мерзавца профессора Щепкина, комиссар по театральному делу, он выбрит, сыт — по всему видно, что сыт, — и одет в чудесное английское пальто, толстое и нежное, с широким хлястиком сзади.

Против наших окон стоит босяк с винтовкой на веревке через плечо, — «красный милиционер». И вся улица трепещет его так, как не трепетала бы прежде при виде тысячи самых свирепых городских. Вообще, что же это такое случилось? Пришло человек шестьсот каких-то «григорьевцев», кривоногих мальчишек во главе с кучкой каторжников и жуликов, кои и взяли в полон миллионный, богатейший город! Все помертвели от страха, прижукнулись. Где, например, все те, которые так громили месяц тому назад добровольцев?

16 апреля.

Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию! Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта: и нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.

Встретили Л. И. Гальберштата (бывший сотрудник «Русских Ведомостей», «Русской Мысли»). И этот «перекрасился». Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос Красноармейца». Воровски шептал нам, что он «совершенно раздавлен» новостями из Европы: там будто бы твердо решено — никакого вмешательства во внутренние русские дела... Да, да, это называется «внутренними делами», когда в соседнем доме, среди бела дня, грабят и режут разбойники!

Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого «кристальная душа». Так и сказал: кристальная.

Проф. Евгений Щепкин, «комиссар народного просвещения», передал управление университетом «семи представителям революционного студенчества», таким, говорят, негодям, каких даже и теперь днем с огнем поискать.

В «Голосе Красноармейца» известие «о глубоком вторжении румын в Советскую Венгрию». Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во «внутренние» дела! Впрочем, ведь это не Россия.

«Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем.

Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», ме-

щанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина — словом, вся и всех, за исключением какого-то «народа», — безлошадного, конечно, — и босяков.

17 апреля.

«Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата... Народ пламенным, стихийным порывом опрокинул — и навсегда — сгнивший трон Романовых...»

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошло с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

«Революции не делаются в белых перчатках...» Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

«Утешься ради скорби всего Иерусалима!»

До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами.

Читаю книгу о Савиной — ни с того ни с сего, просто потому, что надо же делать что-нибудь, а что именно, теперь совершенно все равно, ибо главное ощущение теперь, что это *не жизнь*. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание: да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь — завтра, послезавтра; может, даже нынче ночью!

С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень. Два раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевортывает. «Я как-то физически чувствую людей», — записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, «пристрастности». Для

большинства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге — все естество произносящего ее.

Когда выходил в полдень: накрапывает, возле Соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотря на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами, были какие-то размалеванные «колесницы» в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали «пролетариат» актеры и актрисы в оперно-народных костюмах, были «живые картины», изображавшие «мощь и красоту рабочего мира», «братски» обнявшихся коммунистов, «грозных» рабочих в кожаных передниках и «мирных пейзаж» — словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля ее душ и утроб и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький! Бывало, на Рождестве на Капри (утрировано окая на нижегородский лад): «Нонче, ребята, айдате на пьядцу: там, дьявол их забери, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать, — вся, понимаете, пьядца танцует, мальчишки орут, как черти, расшибают под самым носом достопочтеннейших лавочников хлопущки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок... Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий, будут петь чудеснейшие уличные песни...» И на зеленых глазках — слезы.

Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чрезвычайка, в мокром асфальте жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных.

Вечером почти весь город в темноте: новое издевательство, новый декрет — не сметь зажигать электричества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достанешь нигде, и вот только кое-где видны сквозь ставни убогие, сумрачные огоньки: коптят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика-рабочего у ворот дома, где прежде были «Одесские Новости», в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек

с кипами только что отпечатанных «Известий» и с криками: «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» — Рабочий захрапел, захлебнулся от ярости и злорадства: «Мало! Мало!» — Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства.

«Без всяких аннексий и контрибуций с Германии!» — «Правильно, верно!» — «Пятьсот миллиардов контрибуции с России!» — «Мало, мало!»

«Левые» все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея. «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили...»

19 апреля.

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена дикая — 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс — кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать; она теперь народное достояние». Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезли в долги) домик — и вот оказывается, что домик «народный», что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то «трудящиеся». Повеситься можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Черновицах, и даже «о падении Петрограда». О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с проф. Лазурским в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, в эти последние убежища, еще не залитые потопом грязи, зверства. Только там слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютности, восток, древность, скитания — и Единый,

перед Коим можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающемся реве.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны, — там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуям!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой Жизни» со стороны «царских опричников», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

— Нет, простите! Наш долг был и есть — довести страну до учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, — мимо него быстро шли и спорили, — горестно покачал головой:

— До чего в самом деле довели, сукины дети!

— Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики...

Грузовик — каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжелых и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревушим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжниками.

Вся грубость современной культуры и ее «социального пафоса» воплощена в грузовике.

Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок,

жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «шляменной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!

А его слушали?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы, — не говорит, а все только спрашивает: и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на животико-первобытных губах.

«Российская история» Татищева:

«Брат на брата, сынове против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведуще, яко премудрый глаголет: *ища чужого, о своем в оный день възрыдает...*»

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому!

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о «российской истории» не имел.

20 апреля.

Кинулся к газетам — ничего особенного. «В ровенском направлении попытка противника...» Кто же, наконец, этот противник?

Тон газет все тот же, — высокопарно-площадной жаргон, — все те же угрозы, остервенелое хвастовство, и все так плоско, лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живешь в полной отрезанности от мира, как на каком-то Чертговом острове.

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колики, и кому же не выдают? — тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах

воззвания: «Граждане! Все к спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?

Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через «морского комиссара и командующего черноморским флотом», Немица, который, кстати сказать, поэт, «особенно хорошо пишущий рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную «миссию» в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Большинство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-вот будут в Одессе...

Какая у всех свирепая жажда их погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел, как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и своей лжи, *своего* искажения к заведомо лживому слуху. *И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется.* Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру, — такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлешь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасет их Господь, — и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам, — вот оно, что-то случилось, кто-то, может быть, напал на город — и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжкое похмелье, ки-

мулся к газетам, — нет, ничего не случилось, все тот же наглый и твердый крик, все новые «победы». Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди... и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой, долгий день, да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно...

«У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать». Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь, — теперь-то я уж знаю ей цену!

Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васьевский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов, — и все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками...

«Ах, мщения, мщения!» — как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: «Ужели Господь попустит и наши солдатики, наши чудо-богатыри должны будут перенести этот стыд и горе — наше поражение!»

Что это было? Глупость, невежество, происходившее не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

— Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!?

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти не сознаваемая, привычная жизнь, выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.

Как мы ввали друг другу, что наши «чудо-богатыри» — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: *«из нас, как из дерева,— и дубина, и икона»*, — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает: Сергей Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ, — если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств, — и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-Экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседатель, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, все то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как улаживали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: — «что ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, врали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое, по его мнению, ответил: «Да черт... Чертом представляется, козлекает...»).

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно вдали о его «патриотическом» подъеме, даже тогда, когда младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присутствующей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей ее истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограничены.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой Николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем, — карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни», — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа, —

сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье... Мы канонизировали человечество... канонизировали революции... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения...»

Нет, отрезвление еще далеко.

Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными расгубами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей... Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!

21 апреля.

«Ультиматум» Раковского и Чичерина Румынии, — «в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию!». Так неправдоподобно глупо (даже если это все то же издевательство над чернью, что приходит в голову: «Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли, — с целью изодня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию?») Затем: «От победы к победе — новые успехи доблестной красной армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе...»

В «Известиях», — ох, какое проклятое правописание! — после передовой об ультиматуме, напечатан поименный список этих двадцати шести, расстрелянных вчера, затем статья о том, что «работа» в одесской чрезвычайке «налаживается», что «работы вообще много», и, наконец, гордое заявление: «Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев...» — Счастливым день! И это после ультиматума-то!

Ну а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходы!

Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирка? Кому же именно?

Да, а «буржуи» уж совсем было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда (после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него)...

Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве,— «сбор» одежды и обуви...

Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. *Как забыть, как это простить русскому народу?* А все простится, все забудется. Впрочем, и я — *только стараюсь ужасаться*, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков — убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, — перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт!» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. «Как? Семь повешенных?!» — «Нет, милый, не семь, а семьсот!» — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!

В три часа, — все время шел дождь, — выходили. Встретили Полевицкую с мужем. — «Ужасно ищущую роль для себя в мистерии — так хотелось бы сыграть Богоматерь!» — О, Боже мой, Боже мой! Да все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно...

Купил спичек, 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили полтинник.

Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни.

Сейчас (8 часов вечера, а по «советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратясь с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонким и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины, — тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел, и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового» тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели — любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей — все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой, — чувство легкости, молодости. И наряду с этим — какая тоска, какая боль!

Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю, — в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша, — и на мгновение *сердцем* вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при свечильничке, — масло и поплавок в банке. Темь, копать, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повеситься, — так мы забыты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств!

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шуточные стихи одного молодого поэта, студента, поступившего

прошлой зимой в полицейские, — идейно, — и убитого большевиками.) — Да, мы теперь лошади очень простого звания.

22 апреля.

Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью, — Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб:

— Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: «Ну будет, будет. Бог с тобой!» — спрашиваю: «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет... Чужой... *Завидую...*

И еще вспомнилось, Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Е. Трубецкой картаво кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

— Помните, господа: гусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ея!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать «русскую свободу»!

Зимой 18 года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение (только уже не русской свободы) именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом.

Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве (длящемся с самого начала войны) на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением?

На редкость твердо уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17 году.

Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? «С цинизмом, доходящим до грации... Нынче брюнет, завтра блондин... Чтение в сердцах... Учинит допрос с пристрастием... Или — или: третьего не дано... Сделать надлежащие выводы... Кому сие ведать надлежит... Вариться в собственном соку... Ловкость рук... Нововременские молодцы...» А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Росинант, вместо «я сел писать» — «я оседлал своего Пегаса», жандармы — «мундиры небесного цвета». Кстати о Короленко. Летом 17 года какую громовую статью напечатал он в «Русских Ведомостях» *в защиту Раковского!*

По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких «правительственных» учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах «имени Троцкого», «имени Свердлова», «имени Ленина» прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам на автомобилях, на лихачах, — очень часто с разряженными девками, — мчится в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаиностическими глазами... Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, «кроет матом» По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен) или чернеют кучки играющих на гармониях, пляшущих и вскрикивающих:

Эх, яблочко,
Куда котишься!

Вообще, как только город становится «красным», тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь то же самое в Одессе — с самого того «праздничного» дня, когда в город вступила «революционно-народная армия» и когда даже на извозчицких лошадях как жар горели красные банты и ленты.

На этих лицах прежде всего нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!

«Нельзя огулом хаять народ!»

А «белых», конечно, можно.

Народу, революции все прощается,— «все это только эксцессы».

А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито,— родина, родные колыбели и могилы, матери, отцы, сестры,— «эксцессов», конечно, быть не должно.

«Революция — стихия...»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революции всегда «углубляют».

«Народ, давший Пушкина, Толстого».

А белые не народ.

«Салтычиха, крепостники, зубры...» Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели «эпохи великих реформ», «кающийся дворянин», первые народовольцы, Государственная Дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А ее герой? *Ни одна страна в мире не дала такого дворянства.*

«Разложение белых...»

Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире «разложения», которое явил «красный» народ.

Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняется исключительно глупостью.

— В моей молодости, — рассказывал он, — был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснения этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глух.

23 апреля.

Каждое утро делаю усилия одеваться спокойно, преодолевать нетерпение к газетам — и все напрасно. Напрасно старался и нынче. Холод, дождь, и все-таки побежал за этой мерзостью и опять истратил на них целых пять целковых. Что Петербург? Что ультиматум румынам? Ни о том, ни о другом, конечно, ни слова. Крупно: «Колчаку Волги не видать!» Затем: образовалось «Временное Рабоче-Крестьянское Правительство» Бессарабии, Нансен просит «Совет Четырех» о хлебе для России, где «ежемесячно умирают от голода и болезней сотни тысяч», Абрашка-Гармонист (Регинин из «Биржевки») продолжает забавлять красноармейцев: «Тут вскочил как ошарашенный Колчак и присел от перепуга на столчак», «в Париже баррикады, старый палач Клемансо в панике», болгарский коммунист Касанов «объявил войну Франции», — так буквально и сказано! — в одесский порт вчера пришло посыльное французское судно, а «блокада продолжается, французы останавливают даже парусники...». Все в городе диву даются, стараясь понять поведение французов, и все бегают на Николаевский бульвар смотреть на французский миноносец, сереющий вдали на совершенно пустом море, и дрожат: как бы не ушел, избавь Бог! Все кажется, что есть хоть какая-то защита, что, в случае каких-нибудь уж слишком чрезмерных зверств над нами, миноносец может начать стрелять... Что если он уйдет, уж всему конец, полный ужас, полная пустота мира...

Весь вечер сидел Волошин. Очень хвалил этого морского комиссара Немица, — «он видит и верит, что идет объединение и строительство России». Читал свои переводы из Верхарна. Опять думаю: Верхарн большой талант, но, прочитав десяток его стихов, начинаешь задыхаться от этого дьявольского однообразия приемов, диких преувеличений, сумасшедшего, «большевицкого» нажима на воображение читателя.

Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все — и литература особенно — выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервнрует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния». В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы».

Ночь на 24 апреля.

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокза-

лу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В «Европейскую» — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислужгой и всякими ярыгами, торгавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сладстями, и всем, чего просишь. А на тротуарах сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой навозный лед, горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш. Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячетлетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней полагивались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители, будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, комедию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заключены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее дощатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто *умоляли* финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же

Финляндии — на банкете в честь финнов после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же — весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми возобладали — «поэт» Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел Милюков, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не ступешаться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и себе и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим *излишеством* свинства и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многооо! Многооо!

И еще одно торжество случилось тогда в Петербурге — приезд Ленина. «Добро пожаловать!» — сказал ему Горький

в своей газете. И он пожаловал — в качестве еще одного притязателя на наследство. Притязания его были весьма серьезны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почетным караулом и музыкой и позволили затесаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий.

«Много»? Да как сказать? Ведь шел тогда у нас пир на весь мир, и трезвы-то на пиру были только Ленины и Маяковские.

Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский (которого еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем) были оба тоже довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвался футуристом, то есть человеком будущего: полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней и как великолепно заткнет рот всем прочим грибунам Ленин с балкона Кшесинской: еще великолепнее, чем сделал это он сам на пиру в честь готовой послать нас к черту Финляндии!

В мире была тогда Пасха, весна, удивительная весна: даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настезь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплеывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование...

«Разочарования,— говорит Герцен,— мир не знал до Великой французской революции, скепсис прошел вместе с республикой 1792 года».

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире.

Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул: вот, например, 5 мая 1917 года:

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит высокий мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

— Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

— Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали!

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

— Что ж мало навоевал? — закричал за ним мужик. — Ты что ж, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся.) Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги да головой об стену! Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, поднялся общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

24 апреля.

Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда несдобровать мне. В «Известиях» обо мне уже писали: «Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника, из «Ночь под Рождеством», вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов!»

Посмотрел газеты. Все тот же балаган. «Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов...» и т. д.

Статья Троцкого «о необходимости добить Колчака». Конечно, это первая необходимость, и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели «проклятого прошлого» готовы на гибель хоть половины русского народа.

В Одессе народ очень ждал большевиков — «наши идут!». Ждали и многие обыватели — надоела смена властей, уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох как нарвались все! Ну да ничего, привыкнут. Как тот старик-мужик, что при мне купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули.

— Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам!

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся...

Волошин рассказывал, что председатель одесской чрезвычайки Северный (сын одесского доктора Юзефовича) говорил ему:

— Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках!

Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слышал.

Дыбенко... Чехов однажды сказал мне:

— Вот чудесная фамилия для матроса: Кошкодавленко. Дыбенко стоит Кошкодавленки.

О Коллонтай (рассказывала вчера Щепкина-Куперник):

— Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы — «на работу». А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку — и шмыг с коробкой конфет в кровать ко мне: «Ну давай, дружок, поболтаем теперь всласть!»

Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток.

Из «Известий» (замечательный русский язык):

— Крестьяне говорят: дайте нам коммуны, *лишь бы избавьте нас от кадетов...*

У дверей «Политуправления» стоит огромный плакат. Краснокожая баба, с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись:

— *Не зарись, Деникин, на чужую землю!*

«Не зарись» должно обозначать «не зарься».

По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевицкого правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию.

Подумать только: надо еще *объяснять* то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще *доказывать*, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «антересуется» стихами!

Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен *доказывать*, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту *хряпу* ямба и хорям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой.

А у «председателя» этой чрезвычайки, у Северного, «кристальная душа», по словам Волопина. А познакомился с ним Волопин, — всего несколько дней тому назад, — «в гостиной одной хорошенькой женщины».

Анюта говорит:

— Пригнали красноармейцев из России.

Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного — толстомордого, коротконогого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце Торговой, он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, исподлобья поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все тая надежду на спасение с той стороны!

Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему: — Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренно верят, что не могут постигнуть их глубины... Прочел пролог к «Анатэме» — полная бессмыслица... Что у них у всех в головах, у всех этих Брюсовых, Белых?

Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что «чудесно», а дома хохотал: «Ах, такие-сякие! Их бы в арестантские роты отдать!» И про Андреева: «Прочитаю две страницы, — надо два часа гулять на свежем воздухе!»

Толстой говорил:

— Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью.

Он забыл помощь критиков.

Кто они, эти критики?

На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию — юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом — архитекторы, а вот искусство всякий, кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому искусству. И слушают только их. А отзыв Толстых в грош не ставится, — отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова.

Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, *всечеловеческого* проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?

Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего *литература поможет*, которая что угодно исказит, как это сделало, например, с французской революцией то вреднейшее

на земле племя, что называется поэтами, в котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосвятов, выродков и шарлатанов.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а «вервие», как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою зловенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, наклеив на него этот ярлык.

Вообще, *литературный подход* к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия — двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидесятые годы — и каждое десятилетие определили его *литературным* героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров... Это ли не курам на смех, особенно ежели вспомнить, что героям этим было одному «осемнадцать» лет, другому девятнадцать, третьему, самому старшему, двадцать!

Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось: осень 14 года, собрание московских интеллигентов в Юридическом Обществе. Горький, зеленея от волнения, говорит речь:

— Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!

Теперь это брюхо большевицкое, и он уже не боится.

Рядом с этим призывом («поход на Европу») есть в газетах и «предупреждение»: «В связи с полным истощением топлива, электричества скоро не будет». Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего!

Да, да — «вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее».

Сейчас (одиннадцатый час, ночь) открыл окно, выглянул на улицу: луна низко, за домами, нигде ни души, и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака, — и откуда только могла она взять эту кость? Вот дожили, — даже кости дивисься!

Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилия, чтобы читать — так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка! «Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?» — «А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?» Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников: так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное в воздухе, *что во сто крат усиливает его существование и влияние — часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства — и сделал Дон-Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон-Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить марковщину — и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги.* — Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали в моей жизни и *воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого.* А в жизнь других входит Шерлок, в жизнь горничной — та, которую она видела в автомобиле на экране.

25 апреля.

Вчера поздно вечером, вместе с «комиссаром» нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты «на предмет уплотнения пролетариатом». Все комнаты всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан! Я не проронил ни слова, молча лежал на диване, пока мерили у меня, но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стучало с перерывами и больно пульсировала жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать!

«Комиссар» нашего дома сделался «комиссаром» только потому, что моложе всех квартирантов, и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страха; человек скромный, робкий и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал», бегаёт по всему дому, умоляя исполнять декреты, — умеют нагонять страх, ужас эти негодяи, *сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство!* А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как «революционный трибунал». Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? *Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что, благодаря им, даже*

наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо вязать, тащить в полицию босняка, который схватил за горло прохожего *в обычное время*, от восторга захлебываются перед этим босняком, если он делает то же самое *во время, называемое* революционным, хотя ведь всегда имеет босьяк полнейшее право сказать, что он осуществляет «гнев низов, жертв социальной несправедливости».

Когда дописывал предыдущие слова — стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил — опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет, — вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвление головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды руках и ногах.

Внезапная музыка во дворе — бродячая немецкая гармония, еврей в шляпе и женщина. Играют польку, — *и как все странно, нектаги теперь!*

День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее, дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое.

Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали (про нас): «Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках!»

Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерibasовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море — маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое

отчаяние, вдруг осознал уж как будто совсем до конца все, что творится и в Одессе и во всей России.

Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то:

— А эти коммунисты, какие постели ограбляют, одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос, — он отца родного угробит!

Все так, *но есть, несомненно, и помешательство*. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что (как нарочно) наткнулся на Пушкинской: от вокзала, навстречу мне, промчался бешеный автомобиль и в нем, среди кучи товарищей, совершенно бешеный студент с винтовкой в руках: весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, худ смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка... Вообще, студентов видишь нередко: спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке... Впрочем, черт его знает — студент ли он на самом деле.

Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины, тогда весь отряд вдруг останавливается — и с хохотом мочится, оборотаясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней — трон, от трона текут потоки крови. Подпись:

Мы кровью народной залитые троны
Кровью наших врагов обгарим!

А на площади, возле Думы, еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше висится нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности, — нечто сбитое из досок, очевидно по какому-то футуристическому рисунку, и всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порывевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вшивых головах! И какой ужас

берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает «шевелюр». Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля.

Часовые сидят у входов реквизируемых домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босаяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Чтобы топить водопровод, эти «строители новой жизни» распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в «Известиях»: «Эстакаду растаскивает кто попало!» Рубят, обрубают на топку и деревья — уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады.

Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку: «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса, 1917 г.». Да, это и тут есть:

Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обогрим,
Месть беспощадная всем супостатам,
Смерть паразитам трудящихся масс!

Есть «Рабочая Марсельеза», «Варшавянка», «Интернационал», «Народовольческий гимн», «Красное знамя»... И все злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия:

— Мы пошлем всем злодеям проклятье,
На борьбу всех борцов позовем...
— Вихри враждебные веют над нами...
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...
— Мы в плуги меч перекуем
И новой жизнью заживем...

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противозестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на «красный крест» и с «литературой», бесстыдно притворявшихся, что они уми-

рают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим «кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия»!

Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок, и один говорит другому:

— А Петербург весь под стеклянным потолком будет... Так что ни снег, ни дождь, ни что...

Недавно встретил на улице проф. Щепкина, «комиссара народного просвещения». Двигается медленно, с идиотической тупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул, и *толстый старый галстук, выкрашенный красной масляной краской.*

Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским «депутатам»:

— Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!

И вдруг голос из толпы этих депутатов:

— Сего не буде!

Фельдман яростно:

— Это почему?

— Жидив не хвате!

Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных.

26 апреля.

Проснулся в шесть, от сердцебиения.

Идя за газетами, слышал проклятия какой-то бабы: в корзине у нее небольшая рыба — 80 рублей!

В газетах из Москвы: погрузка дров на всех ж. д. упала на 50 процентов... Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства... Индия охвачена большевизмом...

«Известия» завели почтовый ящик:

— Гражданину Губерману. Так война с колчаковской и денкинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?

— Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу.

— Гражданке Гликман. Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век?

Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная картина — пустой рейд, прелестные краски дальних берегов, крепкая синяя зыбь моря... Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же: делают безразличное лицо и быстро, вполголоса: «Тирасполь взят немцами и румынами,— теперь это уже факт. Взят и Петербург...»

В три часа вошла с испуганным лицом Анюта:

— Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить, и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо!

Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсянко-Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. Все дивные люди, как всегда у Куликовского. Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их...» О Господи! И это на старости лет!

Потом читал Ренана: «L'homme fut des milliers d'années un fou, après avoir été des milliers d'années un animal»*.

27 апреля.

«Известия»: «Контрреволюционеры сидят и думают великую думу, как бы запутать пролетариев коммунистов... Узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, из-под толстых отвислых губ этих Федул Федулычей желтеют зубы... Комики, ей-Богу, или просто жулье кабацкое, шантажное...»

В «Голосе Красноармейца» жирно:

«Тов. Подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию... Румынские разбойники со своим кровавым королем схватили за горло молодую советскую республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу».

Резолюция из Вознесенска:

«Мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма!»

В Киеве «приступлено к уничтожению памятника Александра Второго». Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы...

* Человек много лет был скотом, а затем много лет был дураком (франц.).

Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы: «Приехал один знакомый моего знакомого...»

Огромная новость. Пришли взволнованные Радецкий и Койранский.

— На Одессу идет Григорьев!

— Какой Григорьев?

— Тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет Зеленый. «Бей жидов и коммунистов, за веру и отечество!» Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С. говорит, что он демократ, что он *против* всяких интервенций, вмешательств. А я ему: а что бы вы сказали против них, если бы шел всероссийский еврейский погром?

28 апреля.

Так и есть!

«Во избежание циркулирующих в городе слухов, штаб третьей украинской советской армии объявляет, что атаман *Григорьев*, собрав кучку привереженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству...»

Затем приказ Овсенко-Антонова:

«Белогвардейская сволочь стремится расстроить красную силу, награвить ее на мирное население... Подлый предатель родины, подлый слуга врагов наших Каин должен быть уничтожен, как бешеная собака... раздавлен и вбит, как черви, в землю, которую он опоганил...»

Затем воззвание членов военно-революционного совета:

«Всем, всем, всем! Дети трудового народа социалистической Украины! Авантюрист, пьяница, прислужник своры старого режима, попов и помещиков, *маменькиных* сынков, Григорьев, открыл свою настоящую личину, окружил себя *стаей черных воронов с засаленными рожками*... Проповедует о том, якобы большевики желают запрячь в коммуну, — меж тем как коммунисты никого не заставляют вступать, а только разъясняют, как всякий тоже знает, что не дело большевиков распинать Христа, который учил тому же и, будучи Спаситель, восстал против богачей... Такая нелепая провокация, сочиненная в пьяном виде, конечно, не могла подействовать... *Ура, долой авантюриста, который вздумал выкупаться в крови проголодавшихся рабочих*... Мы должны изловить сутенеров и предателей и предать их в руки рабочих и крестьян...» Под-

писано так: «Товарищи Дятко, Голубенко, Щаденко». — Это вроде того, как если бы я подписался: господин Бунин.

Вообще утро большого волнения. Был Юшкевич. Очень боится еврейского погрома. Юдофобство в городе лютое.

Да, еще, — «из местной жизни»: «Вчера по постановлению военно-революционного трибунала расстреляно 18 контрреволюционеров».

Паника и отчаянные зверства. «Вся буржуазия берется на учет». Как это понимать?

Выходил на закате, встретил Розенталя, говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошел с ним, зашел к профессору Лазурскому. Там из окон весенний розовый запад среди бледно-синих туч. Потом, уже в сумерках, на Дерибасовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто, злые крики солдат: «Товарищи, на другую сторону!» Бешено промчалось несколько автомобилей, тревожный рожок кареты скорой помощи, пронеслись два верховых, за ними с лаем собака... Дальше совсем не пускают.

Фома сообщил, что послезавтра будет «чистое светопреставление»: «День мирного восстания», грабеж всех буржуев поголовно.

30 апреля.

Ужасное утро! Пошел к Шпитальникову (Тальникову, критику), он в двух штанах, в двух рубашках, говорит, что «день мирного восстания» уже начался, грабеж уже идет; бойтся, что отнимут вторую пару штанов.

Вышли вместе. По Дерибасовской несется отряд всадников, среди них автомобиль, с воем, переходящим в самую высокую ноту. Встретили Овсяннико-Куликовского. Говорит: «Душу раздражающие слухи, всю ночь шли расстрелы, сейчас грабят».

Три часа. Опять ходил в город: «день мирного восстания» внезапно отменен. Будто бы рабочие восстали. Начали было грабить и их, а у них у самих куча награбленного. Встречали выстрелами, кипятком, камнями.

Ужасная гроза, град, ливень, отстаивался под воротами. С ревом неслись грузовики, полные товарищей с винтовками. Под ворота вошли два солдата. Один большой, гнутый, картуз

на затылок, лопает колбасу, отрывая куски прямо зубами, а левой рукой похлопывает себя ниже живота:

— Вот она, моя коммуна-то! Я так прямо и сказал ему: не кричите, ваше иерусалимское благородие, она у меня под пузом висит...

1 мая.

Очень встревожены, и не только в Одессе, но и в Киеве, и в самой Москве. Дошло дело даже до воззвания «Чрезвычайного уполномоченного совета обороны Л. Каменева: Всем, всем, всем! Еще одно усилие, и рабоче-крестьянская власть завоюет мир. В этот момент предатель Григорьев хочет всадить рабоче-крестьянской власти нож в спину...»

Приходил «комиссар» дома проверять, сколько мне лет, всех буржуев хотят гнать в «тыловое ополчение».

Весь день холодный дождь. Вечером зашел к С. Юшкевичу: устраивается при каком-то «военном отделе» театр для товарищей, и он, боясь входить единолично в совет этого театра, втягивает в него и меня. Сумасшедший! Возвращался под дождем, по темному и мрачному городу. Кое-где девки, мальчишки красноармейцы, хохот, шелканье орехов...

2 мая.

Еврейский погром на Большом Фонтане, учиненный одесскими красноармейцами.

Были Овсяннико-Куликовский и писатель Киппен. Рассказывали подробности. На Б. Фонтане убито 14 комиссаров и человек 30 простых евреев. Разгромлено много лавочек. Врывались ночью, стаскивали с кроватей и убивали кого попало. Люди бежали в стень, бросались в море, а за ними гонялись и стреляли, — шла настоящая охота. Киппен спасся случайно, — ночевал, по счастью, не дома, а в санатории «Белый цветок». На рассвете туда нагрянул отряд красноармейцев. «Есть тут жида?» — спрашивают у сторожа — «Нет, нету». — «Побожись!» — Сторож побожился, и красноармейцы поехали дальше.

Убит Моисей Гутман, биндюжник, прошлой осенью перевозивший нас с дачи, очень милый человек.

Был возле Думы. Очень холодно, серо, пустое море, мертвый порт, далеко на рейде французский миноносец, очень маленький на вид, какой-то жалкий в своем одиночестве, в своей нелепости, — черт знает, зачем французы шатаются сюда, чего выжидают, что затевают? Возле пушки кучка наро-

да, одни возмущались «днем мирного восстания», другие горячо, нагло поучали и распекали их.

Шел и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, — опротивел человек! Жизнь заставила так остро почувствовать, так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, — как мало они видели, даже мои!

Сейчас на дворе ночь, темь, льет дождь, нигде ни души. Вся Херсонщина в осадном положении, выходить, как стемнеет, не смеем. Пишу, сидя как будто в каком-то сказочном подземелье: вся комната дрожит сумраком и вонючей копотью ночника. А на столе новое воззвание: «Товарищи, образумьтесь! Мы несем вам истинный свет социализма! Покиньте пьяные банды, окончательно победите паразитов! Бросьте душителя народных масс, бывшего акцизного чиновника Григорьева! Он страдает запоем и имеет дом в Елизаветграде!»

3 мая.

Борешься с этим, стараешься выйти из этого напряжения, нетерпеливого ожидания хоть какой-нибудь развязки — и никак не можешь. Особенно ужасна жажда, чтобы как можно скорее летели дни.

Резолюция полка имени какого-то Старостина:

«Заявляем, что все как один пойдем в бой против нового некоронованного палача Григорьева, который снова желает, подобно пауку, сосать для пьянства и разгула все наши силы!»

Арестован одесский комитет «Русского народно-государственного союза» (16 человек, среди них какой-то профессор) и вчера ночью весь расстрелян, «ввиду явной активной деятельности, угрожающей мирному спокойствию населения».

О спокойствии населения, видите ли, заботятся!

Были у Варшавских. Возвращались по темному городу; в улицах, полных сумраком, не так, как днем или при свете, а гораздо явственнее слышется стук шагов.

4 мая.

Погода улучшается. Двор под синим небом, с праздничной весенней зеленью деревьев, с ярко белеющей за ней стеной дома, испещренной пятнами тени. Въехал во двор красноармеец, привязал к дереву своего жеребца, черного, с волнистым

хвостом до земли, с полосами блеска на крупе, на плечах — стало еще лучше. Евгений (Буковецкий, в доме которого на Княжеской улице мы живем) играет в столовой на пианино. Боже мой, как больно!

Были у В. А. Розенберга. Служит в кооперативе, живет в одной комнате вместе с женой; пили жидкий чай с мелким сорным изюмом, при жалкой лампочке... Вот тебе и редактор, хозяин «Русских Ведомостей»! Со страстью говорил «*об ужасах царской цензуры*».

5 мая.

Видел себя во сне в море, бледно-молочной, голубой ночью, видел бледно-розовые огни какого-то парохода и говорил себе, что надо запомнить, что они бледно-розовые. К чему теперь все это?

Аншлаг «Голоса Красноармейца»:

«Смерть погромщикам! Враги народа хотят потопить революцию в еврейской крови, хотят, чтобы господа жили в писаных хоромах, а мужики в хлеву, на *гнойниках* с коровами, гнули свои *спиннушки* для дармоедов-лежебоков...»

Во дворе у нас женился *милиционер*. *Венчаться поехал в карете*. Для пира привезли 40 бутылок вина, а вино еще месяца два тому назад стоило за бутылку рублей 25. Сколько же оно стоит теперь, когда оно запрещено и его можно доставить только тайком?

Статья Подвойского в киевских «Известиях»: «Если черным *шакалам*, *слегтевшимся* в Румынии, удастся выполнить свои замыслы, то решится судьба мировой революции... Черная банда негодяев... Хищные когти румынского короля и помещиков...» Затем призыв Раковского, где между прочим есть такое место: «К сожалению, украинская деревня осталась такой же, какой ее описывал Гоголь, — невежественной, антисемитской, безграмотной... Среди комиссаров взяточничество, поборы, пьянство, нарушение на каждом шагу всех основ права... Советские работники выигрывают и проигрывают в карты тысячи, пьянством поддерживают винокурение...»

А вот новое произведение Горького, его речь, сказанная им на днях в Москве на съезде Третьего Интернационала. Заглавие: «День великой лжи». Содержание:

— Вчера был день великой лжи. Последний день ее власти.

— Издревле, точно пауки, люди заботливо плели крепкую паутину осторожной мещанской жизни, все более пропитывая

ее ложью и жадностью. Незыблемой истиной считалась циничная ложь: человек должен питаться плотью и кровью ближнего.

— И вот вчера дошли по этому пути до безумия общеевропейской войны, кошмарное зарево ее сразу осветило всю безобразную наготу древней лжи.

— Силою взрыва терпения народов изгнившая жизнь разрушена и ее уже нельзя восстановить в старых формах.

— Слишком светел день сегодня, и оттого так густы тени!

— Сегодня началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого, работа страшная и трудная, как родовые муки...

— Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой русские люди. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы.

— То, что творится сейчас на Руси, должно быть понято как гигантская попытка претворить в жизнь, в дело великие идеи и слова, сказанные учителями человечества, мудрецами Европы.

— И если честные русские революционеры, окруженные врагами, измученные голодом, будут побеждены, то последствия этого страшного несчастья тяжко лягут на плечи всех революционеров Европы, всего ее рабочего класса.

— Но честное сердце не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать — русский рабочий верит, что его братья в Европе не дадут задуть Россию, не позволят воскреснуть всему, что издыхает, исчезает — и исчезнет!

А вот вырезка из горьковской «Новой Жизни» от 6 февраля прошлого года:

«Перед нами компания авантюристов, которые, ради собственных интересов, ради промедления еще нескольких недель агонии своего гибнущего самодержавия, готовы на самое постыдное предательство интересов социализма, интересов российского пролетариата, именем которого они бесчинствуют на вакантном троне Романовых!»

Только тем и живем, что тайком собираем и передаем друг другу вести. Для нас главный притон этой контрразведки на Херсонской улице, у Т. Щепкиной-Куперник. Туда приносят сообщения, получаемые Бүпом (бюро украинской печати).

Вчера в Бупе будто бы была зашифрованная телеграмма: Петербург взят англичанами. Григорьев окружает Одессу, издал Универсал, которым признает советы, но такие, чтобы «те, что распяли Христа, давали не более четырех процентов». Сообщение с Киевом будто бы совершенно прервано, так как мужики, тысячами идущие за лозунгами Григорьева, на десятки верст разрушают железную дорогу.

Плохо верю в их «идейность». Вероятно, впоследствии это будет рассматриваться как «борьба народа с большевиками» и ставиться на один уровень с добровольчеством. Ужасно. Конечно, коммунизм, социализм для мужиков, как для коровы седло, приводит их в бешенство. А все-таки дело заключается больше всего в «воровском шатании», столь излюбленном Русью с незапамятных времен, в охоте к разбойничьей, вольной жизни, которой снова охвачены теперь сотни тысяч отбившихся, отвыкших от дому, от работы и всячески развращенных людей. Чуть не десять лет тому назад поставил я эпиграфом к своим рассказам о народе, о его душе слова Ив. Аксакова: «Не прошла еще древняя Русь!» Правильно поставил. Ключевский отмечает чрезвычайную «повторяемость» русской истории. К великому несчастью, на эту «повторяемость» никто и ухом не вел. «Освободительное движение» творилось с легкомыслием изумительным, с непременным, обязательным оптимизмом, коему оттенки полагались разные: для «борцов» и реалистической народнической литературы один, для прочих — другой, с некоей мистикой. И все «надевали лавровые венки на вшивые головы», по выражению Достоевского. И тысячу раз прав был Герцен:

— «Мы глубоко распались с существующим... Мы блажим, не хотим знать действительности, мы постоянно раздражаем себя мечтами... Мы терпим наказание людей, входящих из современности страны... Беда наша в расторжении жизни теоретической и практической...»

Впрочем, многим было (и есть) просто невыгодно не распадаться с существующим. И «молодежь» и «вшивые головы» нужны были как пушечное мясо. Кадили молодежи, благо она горяча, кадили мужику, благо он темен и «шато». Разве многие не знали, что революция есть только кровавая игра в перемену местами, всегда кончающаяся только тем, что народ, даже если ему и удалось некоторое время посидеть, попить и побушевать на господском месте, всегда в конце концов попадает из огня да в полымя? Главари наиболее умными и хитрыми вполне сознательно приготовлена была издевательская вывеска: «Свобода, братство, равенство, со-

циализм, коммунизм!» И вывеска эта еще долго будет висеть — пока совсем крепко не усядутся они на шею народа. Конечно, тысячи мальчиков и девочек кричали довольно простодушно:

За народ, народ, народ,
За святой девиз вперед!

Конечно, большинство выводило басами довольно бессмысленно:

И утес великан
Все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет...

«Ведь что ж было? — говорит Достоевский. — Была самая невинная, милая либеральная болтовня. Нас пленил не социализм, а чувствительная сторона социализма...» Но ведь было и подполье, а в этом подполье кое-кто отлично знал, к чему именно он направляет свои стопы, и некоторые, весьма для него удобные, свойства русского народа. И Степану цену знал.

— «Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникали смуты, колебание, шаткость... И вот они опять возникли в огромном размере. Дух материальности, неосмысленной воли, грубого своекорыстия повеял гибелью на Русь... У добрых отнялись руки, у злых развязались на всякое зло... Толпы отверженников, подонков общества потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, честолюбцев...»

Это — из Соловьева, о Смутном времени. А вот из Костомарова, о Стеньке Разине:

— «Народ пошел за Стенькой, обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком... Были посулы, *привады*, а уж возле них всегда капкан... Поднялись все азиатцы, все язычество, зыряне, мордва, чуваша, черемисы, башкиры, которые бунтовались и резались сами не зная за что... Шли «преlestные письма» Стеньки — «иду на бояр, приказных и всякую власть, учиню равенство...». Дозволен был полный грабеж... Стенька, его присные, его воинство были пьяны от вина и крови... возненавидели законы, общество, религию, все, что стесняло личные побуждения... дышали местью и завистью... составились из беглых воров, лентяев... Всей этой сволочи и черни Стенька обещал во всем полную волю, а на

деле забрал в кабалу, в полное рабство, малейшее послушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...»

Не верится, чтобы Ленины не знали и не учитывали всего этого!

«Красноармейская звезда»: «Величайший из мошенников и блюдолизов буржуазии Вильсон требует наступления на север России. Наш ответ: Лапы прочь! Как один человек, все мы пойдем доказать изумленному миру... Только лакеи душой останутся за бортом нашего якоря спасения...»

Радостные слухи — Николаев взят, Григорьев близко...

8 мая.

В «Одесском коммунисте» целая поэма о Григорьеве:

Ночь, Устав, пан Гетман спит.
Спит и — видит «скверный» сон:
Перед ним с ружьем стоит
Пролетарий. Грозен он!
Жутко... Взгляд его горит.
И, немного погодя,
Пролетарий говорит,
В ужас «пана» приводя:
— Знай, изменник и подлец,
Руки вздумавший нагреть,
Желтый гетманский венец
Я не дам тебе надеть!

Ходил бриться, стоял от дождя под навесом на Екатерининской. Рядом со мной стоял и ел редьку один из тех, кто «крепко держит в мозолистых руках красное знамя всемирной коммунистической революции», мужик из-под Одессы, и жаловался, что хлебá хороши, да сеяли мало, боялись большевиков: придут, сволочь, и заберут! Это «придут, сволочь, и заберут» он повторил раз двадцать. В конце Елизаветинской — человек сто солдат, выстроенных на панели, с ружьями, с пулеметами. Повернул на Херсонскую — там, на углу Преображенской, то же самое... В городе слухи: «Произошел переворот!» Просто тошнит от этой бесконечной брехни.

После обеда гуляли. Одесса надоела невыразимо, тоска просто пожирает меня. И никакими силами и никуда не выскочишь отсюда! По горизонтам стояли мрачные синие тучи. Из окон прекрасного дома возле чрезвычайки, против Екатерины, неслась какая-то дикая музыка, пляска, раздавал-

ся отчаянный крик пляшущего, которого точно резали: а-а! — крик пьяного дикаря. И все дома вокруг горят электричеством, все заняты.

Вечер. И свету не смей зажигать и выходить не смей! Ах, как ужасны эти вечера!

Из «Одесского коммуниста»:

«Очаковский гарнизон, приняв во внимание, что контрреволюция не спит, в связи с выступлением зазнавшегося пьяницы Григорьева, подняла свою голову до полного обнагления, пускает яд в сердце крестьянина и рабочего, натравливает нацию на нацию, а именно: пьяница Григорьев провозгласил лозунг: «Бей жидов, спасай Украину», что несет страшный вред Красной Армии и гибель социальной Революции! А посему мы постановили: послать проклятие пьянице Григорьеву и его друзьям-националистам!»

И далее: «Обсудив вопрос о заключенных белогвардейцах, требуем немедленного расстрела таковых, ибо они продолжают проделывать свои темные делишки, проливают напрасно кровь, которой и так много пролито, благодаря капиталистам и их прихвостням!»

Рядом с этим стихи:

Коммунист рабочий
Знает сила в чем:
В нем любовь к работе
Бьет живым ключом...
Он не знает наций,
Хлещет черных сук.
Для организаций
Отдает досуг!

6 мая.

Иоанн, тамбовский мужик Иван, затворник и святой, живший так недавно, — в прошлом столетии, — молясь на икону Святителю Дмитрия Ростовского, славного и великого епископа, говорил ему:

— Митюшка, милый!

Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами. Сочинял простодушно-нежные стихи:

Где пришел еси, молитву сотвори,
Без нее дверей не отвори.
Аще не видишь в дверях ключа,
Воротись, друг мой, скорей, не стуча...

Куда девалось все это, что со всем этим случилось?

«Святейшее из званий», звание «человек», опозорено, как

никогда. Опозорен и русский человек, — и что бы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось «ледяных походов»! Уж на что страшна старая русская летопись: беспре-
рывная крамола, ненасытное честолюбие, лютая «хотя» власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым «для подъема поганых на свой же собственный отчий дом», рабские послания друг к другу / «бью тебе челом до земли, верный холоп твой» / с единственной целью одурачить, про-
вести, злые и бесстыдные укоры от брата к брату... *и все-таки иные, совсем не нынешние слова:*

— «Срам и позор тебе; хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа!»

9 мая.

Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, — и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке, и все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи:

На гривастых конях на косматых,
На золотых стременах, на разлтых,
Едут братья, меньшей и старшой,
Едут сутки, и двое и трое,
Видят в поле корыто простое,
Наезжают — ан гроб да большой:
Гроб глубокий, из дуба долбленный,
С черной крышей тяжелой, томленной,
Вот и сдвинул ее Святогор,
Лег, надвинул и шутит: «А впору!
Помоги-ка, Илья, Святогору
Снова выйти на Божий простор!»
Обнял крышу Илья, усмехнулся,
Во всю грузную печень надулся,
Двинул срыву... Да нет, погоди!
«Ты мечом!» — слышен голос из гроба, —
Он за меч, — разгорается злоба,
Занимается сердце в груди, —
Нет, и меч не берет! С виду рубит,
Да не делает дела, а губит:
Где ударит — там обруч готов,

Нарастает железная скрепа:
Не подняться из гробного склепа
Святогору во веки веков!

Это написано мной в 16 году.

Лезли мы в наше гробное корыто весело, пошучивая...

В газетах опять: «Смерть пьянице Григорьеву! — и дальше гораздо серьезнее: — *Не время словам!* Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уже о самых элементарных завоеваниях Октября... Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но, с другой стороны, стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей...»

Напечатан новый список расстрелянных — *«в порядке проведения в жизнь красного террора»* — и затем статейка:

«Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего Гарнизонного Собраниа, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был «Интернационал», затем товарищ Кронкарди, *вызывая интерес и удовольствие* слушателей, подражал лаю собаки, *визгу цыпленка*, пению соловья и других животных, *вплоть до пресловутой свиньи...*»

«Визг» цыпленка и «пение соловья и прочих животных», — *которые*, оказывается, тоже все «вплоть» до свиньи поют, — этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья «пресловутая» и перед подражанием ей исполняют «Интернационал»?

Конечно, вполне «заборная литература». Но ведь этим «забором», таким свинским и интернациональным, делается чуть ли не вся Россия, чуть ли не вся русская жизнь, чуть не все русское слово, и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом — ведь эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей «новой» русской литературе. Ведь уже давно стали печататься — и не где-нибудь, а в «толстых» журналах — такие, например, вещи:

Уж все цветы в саду поспели...
Тот лем, из какого веревку сплели...
Иду и колосья пшена разбираю...
Вы об этой женщине не тужьте...

А в этот час не *хорошо везде ль?*
Царевну не надо в покои пустить...
Я б описал, но хватит слов ли?

Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно.

— Вы домой? — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице.

Он отвечает:

— Отнюдь!

Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чувствует:

— А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет? Но какая разница?

Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить «отнюдь нет». А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова! Сколько поклонников старинного («ядренного и сочного») народного языка, словечка в простоте не говорящих, изнуряющих своей архирусскостью!

Последнее (после всех интернациональных «исканий», то есть каких-то *младогурецких* подражаний всем западным образцам) начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, «словеса золотые» и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архируссизме смесь, на которой никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно! Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о «свечечках» и «речечках» или прикидывавшихся «разудальными головушками»!

Язык ломается, болеет и в народе. Спрашиваю однажды мужика, чем он кормит свою собаку. Отвечает:

— Как чем? Да ничем, ест что попало: она у меня собака съедобная.

Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолет ли теперь?

10 мая.

«Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть...»

С Колчаком едет Михаил Романов... едет на старой тройке: самодержавие, православие, народность... несет еврейские погромы, водку... Колчак поступил на службу к международным хищникам... чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд-Джорджа билась в судорогах истощенная страна... Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих...»

Рядом брань и угрозы по адресу левых эсеров: «Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску... мажут свою физиономию, но на физиономии, как они ни чистятся, все же есть кулацкие веснушки...»

Помимо крестьян, «засекаемых» Колчаком, страшно беспокоятся и о немцах: «Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемановцы заявляют, что условия союзных живодепов, буржуазных акул, совершенно неприемлемы...»

Ходили на Гимназическую. Почти всю дорогу дождь, весенний, прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, еще больше растравляю себе сердце.

И опять слухи — теперь уже о десяти транспортах с «цветочными» (то есть, говоря по-русски, цветными) войсками, будто бы идущими выручать нас.

О Подвойском, от человека, близко знающего его: «Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины...»

11 мая.

Призывы в чисто русском духе:

— Вперед, родные, не считайте трупы!

Из вестей о «разгроме» Григорьева можно убедиться только в одном — что григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия.

Вчера говорили, что в Одессу приехал «сам» Троцкий. Но оказывается, он в Киеве. «Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины... Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов в дни, когда разбит позвоночник буржуазной уверенности, когда мы слышим в ее голове трещину... Говорил к народу с балкона...»

Как раз читаю Ленотра. Сен-Жюст, Робеспьер, Кутон... Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские. Но и парижские были неплохи.

Кутон, говорит Ленотр, Кутон-диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, лионский Атилла, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных душ, «страстный друг Народа и Добродетели», был, как

известно, калека колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук, шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в окно во двор и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, он навсегда лишился ног, — отнялись на всю жизнь.

Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины «окрылило прибытие вождя».

Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что «не дело большевиков распинать Христа, который, будучи Спаситель, восстал на богачей»? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из «Одесского Коммуниста»:

«Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что «истины» Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но, в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития».

12 мая.

Опять флаги, шествия, опять праздник, — «день солидарности пролетариата с красной армией». Много пьяных солдат, матросов, босяков...

Мимо нас несут покойника (не большевика). «Блаженни, иже избрал и приял еси, Господи...» Истинно так. Блаженны мертвые.

Говорят, Троцкий-таки приехал. «Встречали, как царя».

14 мая.

«Колчак с Михаилом Романовым несет водку и погромы...» А вот в Николаеве Колчака нет, в Елизаветграде тоже, а меж тем: «В Николаеве зверский еврейский погром... Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки

исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавчонки и даже буфетчики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться!»

И дальше:

«Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев, — убитых свыше ста, магазины разграблены...»

«В Жмеринке идет еврейский погром, как и был погром в Знаменке...»

Это называется, по Блокам, «народ объят музыкой революции — слушайте, слушайте музыку революции!».

Ночь на 15 мая.

Пересматривал свой «портфель», изорвал порядочно стихов, несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности (хотя и раньше случалось со мной это не раз). Прятал разные заметки о 17 и 18 годах.

Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег! Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов! И все наше время станет сказкою, легендой...

Лето 17 года. Сумерки, на улице возле избы кучка мужиков. Речь идет о «бабушке русской революции». Хозяин избы размеренно рассказывает: «Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, — я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чеши держали, а умирить не могли, ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли: *в остроге, и то ухитрилась миллион нажить!* Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти. Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли...»

Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:

— У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!

Мужик возражает спокойно и твердо:

— А ты, хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня под подол лезешь? Погоди, погоди, брат, — вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросясь! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь!

(Жучков — это Гучков.)

Сергей Климов ни к селу, ни к городу прибавляет:

— Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно *разнообразие*...

Девки визжат на выгоне:

Люби белых, кудреватых,
При серебряных часах...

Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:

Мы ребята, ежики,
В голенищах ножики,
Любим выпить, закусить,
В пьяном виде пофорсить...

Думаю: «Нет, большевики-то поумнее будут господ Временного Правительства! Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику».

На деревне возле избы сидит солдат-дезертир, курит и напевает:

— Ночь темна, как две минуты...

Что за чушь? Что это значит — как две минуты?

— А как же? Я верно пою: как две минуты. Здесь делается ударение.

Сосед говорит:

— Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение!

— А мне один черт — под немца так под немца!

В саду возле шалаша целое собрание. Караульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в двадцать верст длиною. Обращаясь ко мне:

— *Вериятно, эрунда, барин?*

Его приятель с упоением рассказывает свое «революционное» прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом — и это его лучшее воспоминание, он об этом рассказывает постоянно, потому что в остроге было:

— Веселей всякой свадьбы и харчи отличные!

Он рассказывает:

— В тюрьме обнаковенно на верхнем этаже сидят политики, а во втором — помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют, мы жертвою пали...

— Одного из политиков царь приказал повесить и выписал из Синода самого грозного палача, но потом ему пришло помилование и к политикам приехал главный губернатор, третье лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал — и давай гулять с политиками: налопался, послал урядника за граммофоном — и пошел у них ход: губернатор так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок... Обещшал прислать всем по 20 коп. денег, по полфунта табаку турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрыхал...

15 мая.

Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышит тяжкой злобой к «коммунии» и к евреям. А самые злые юдофобы среди рабочих в Ропите (Русское парходное общество). И какие подлецы! Им поминутно затыкают-глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдаёт совесть, душу, Бога...

Шел через базар — вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не десятого столетия, худые волы, допотопные телеги — и среди всего этого афиши, призывы на бой за третий интернационал. Конечно, чепухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами порой небось покатываются от хохота.

Из «Одесского Коммуниста»:

Зарежем штыками мы алчную гидру,
Тогда заживем веселей!
Если не так, то всплывут они скоро,
Оживут во мгновение ока,
Как паразит, начнет эта свора
Жить на счет нашего сока...

Грабят аптеки: «национализированы и учитываются». Не дай Бог захворать!

И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю «Пир» Платона, поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами...

Вспомнил, почему-то, князя Кропоткина (знаменитого анархиста). Был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света — и вполне младенец, даже жутко.

Костюшко называли «защитником всех свобод». Это замечательно. Специалист, профессионал. Страшный тип.

16 мая.

Большевицкие дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи.

Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался — и больно, и грустно, и сладко (не по поводу Полежаева, конечно). Да, я последний чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов...

Прошел дождик. Высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярких желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что, верно, уже во веки не вернется... Вспомнил лесок Поганое, — глушь, березняк, трава и цветы по пояс, — и как бежал однажды над ним вот такой же дождик, и я дышал этой березовой и полевой, хлебной сладостью и всей, всей прелестью России...

Николая Филипповича выгнали из его имения (под Одессой). Недавно стали его гнать и с его одесской квартиры. Пошел в церковь, горячо молился, — был день его Ангела, — потом к большевикам, насчет квартиры — и там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой в своем родном саду, среди всех своих близких. Пройдет сто лет — и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да мне-то и не лежать со своими...

«Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве...» Какое было дело какому-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая I.

Усмирение мюридов, Кази-Муллы. Дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, борода редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. Торговал вод-

кой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну... Сколько бунтарей, вождей именно из таких!

17 мая.

Белыми будто бы взят Псков, Полоцк, Двинск, Витебск... Деникин будто бы взял Изюм, гонит большевиков нещадно... Что если правда?

Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести «центркомдезертир».

21 мая.

В Одессу прибыл Иоффе, — «чтобы заявить Антанте, что мы будем апеллировать к пролетариату всех стран... чтобы привоздить Антанту к позорному столбу...»

Насчет чего апеллировать?

Слышал об Иоффе:

— Это большой барин, большой любитель комфорта, вин, сигар, женщин. Богатый человек, — паровая мельница в Симферополе и автомобили Иоффе-Рабинович. Очень честолюбивый, — через каждые пять минут: «когда я был послом в Берлине...». Красавец, типичный знаменитый женский врач... Рассказчик втайне восхищался.

23 мая.

В «Одесском Набате» просьба к знающим — сообщить об участии пропавших товарищей: Вали Злого, Миши Мрачного, Фурманчика и Муравчика... Потом некролог какого-то Яшеньки:

— «И ты погиб, умер, прекрасный Яшенька... как пышный цветок, только что пустивший свои лепестки... как зимний луч солнца... возмущавшийся малейшей несправедливостью, восставший против угнетения, насилия, стал жертвой дикой орды, разрушающей все, что есть ценного в человечестве... Спи спокойно, Яшенька, мы отомстим за тебя!»

Какой орды? За что и кому мстить? Там же сказано, что Яшенька — жертва «всемирного бича, венеризма».

На Дерibasовской новые картинки «Агитпросвета» на стенах: матрос и красноармеец, казак и мужик крутят веревками отвратительную зеленую жабу с выпученными буркалами — буржуя; подпись: «ты давил нас толстой пузой»; огромный мужик взмахнул дубиной, и над ним взвила окровавленные, зубастые головы гидра; головы все в коронах; больше всех страшная, мертвая, скорбная, покорная, с синеватым лицом, в сбитой набок короне голова Николая II; из-под

короны течет полосами по щекам кровь... А коллегия при «Агитпросвете», — там служит уже много знакомых, говорящих, что она призвана облагородить искусства, — «заседает, конструируется, кооптирует новых членов», — Осиповича, профессора Варнеке, — берет пайки хлебом с плесенью, тухлыми селедками, гнилыми картошками...

24 мая.

Выходил, дождя нет, тепло, но без солнца, мягкая и пышная зелень деревьев, радостная, праздничная. На столбах огромные афиши:

«В зале Пролеткульта грандиозный абитур-бал. После спектакля призы: за маленькую ножку, за самые красивые глаза. Киоски в стиле модерн в пользу безработных спекулянтов, *губки и ножки целовать в закрытом киоске*, красный кабачок, *шалости электричества*, котильон, серпантин, два оркестра военной музыки, усиленная охрана, свет обеспечен, разезд в шесть часов утра по старому времени. Хозяйка вечера — супруга командующего третьей советской армией, Клавдия Яковлевна Худякова».

Списал слово в слово. Воображаю эти «маленькие ножки» и что будут проделывать «товарищи», когда будет «шалить» электричество.

Разбираю и частью рву бумаги, вырезки из старых газет.

Очень милые стишки по моему адресу в «Южном рабочем» (меньшевицкая газета, издававшаяся до прихода большевиков):

Испуган ты и с похвалой *сумбурной*
Согнулся вдруг холопски пред варягом...

Это по поводу моих стихов, напечатанных в «Одесском Листке» в декабре прошлого года, в день высадки в Одессе французов.

Какими националистами, патриотами становятся эти интернационалисты, когда это им надобно! И с каким высокомерием глумятся они над «испуганными интеллигентами», — точно решительно нет никаких причин пугаться, — или над «испуганными обывателями», точно у них есть какие-то великие преимущества перед «обывателями». Да и кто, собственно, эти обыватели, «благополучные мещане»? И о ком и о чем заботятся вообще революционеры, если они так презирают среднего человека и его благополучие?

Нападите врасплох на любой старый дом, где десятки лет жила многочисленная семья, переберите или возьмите в полон хозяев, домоправителей, слуг, захватите семейные архивы, начните их разбор и вообще розыски о жизни этой семьи, этого дома, — сколько откроется темного, греховного, несправедного, какую ужасную картину можно нарисовать, и особенно при известном пристрастии, при желании опозорить во что бы то ни стало, всякое лыко поставить в строку!

Так врасплох, совершенно врасплох был захвачен и российский старый дом. И что же открылось? Истинно диву надо даваться, какие пустяки открылись! А ведь захватили этот дом как раз при том строе, из которого сделали *истинно мировой жупел*. Что открыли? Изумительно: *ровно ничего!*

25 мая.

«Прибытие в Одессу товарища Балабановой, секретаря III интернационала».

Чьи-то похороны с музыкой и со знаменами: «За смерть одного революционера тысяча смертей буржуев!»

26 мая.

«Союз пекарей извещает о трагической смерти стойкого борца за царство социализма пекаря Матьяша...»

Некрологи, статьи:

«Ушел еще один.. Не стало Матьяша... Стойкий, сильный, светлый... У гроба — *знамена всех секций пекарей*... Гроб утопает в цветах... День и ночь у гроба почетный караул...»

Достоевский говорит:

«Дай всем этим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое, бесчеловечное, что все здание рухнет под проклятиями всего человечества прежде чем будет завершено...»

Теперь эти строки кажутся уже слабыми.

27 мая.

Духов день. Тяжелое путешествие в Сергиевское училище, почти всю дорогу под дождевой мглой, в разбитых промокающих ботинках. Слабы и от недоедания, — шли медленно, почти два часа. И, конечно, как я и ожидал, того, кого нам было надо видеть, — приехавшего из Москвы, — не застали дома. И такой же тяжкий путь назад. Мертвый вокзал с перебиты-

ми стеклами, рельсы уже рыжие от ржавчины, огромный грязный пустырь возле вокзала, где народ, визг, гогот, качели и карусели... И все время страх, что кто-нибудь остановит, даст по физиономии или облапит Веру. Шел, стиснув зубы, с твердым намерением, если это случится, схватить камень поувесистей и ахнуть по товарищескому черепу. Тащи потом куда хочешь!

Вернулись домой в три. Новости: «Уходят! Английский ультиматум — очистить город!»

Был Н. П. Кондаков. Говорил о той злобе, которой полон к нам народ и которую «сами же мы внедряли в него сто лет». Потом Овсяннико-Куликовский. Потом А. Б. Азарт слухов: «Реквизируют сундуки, чемоданы и корзины, — бегут... Сообщение с Киевом совсем прервано... Взят Проскуров, Жмеринка, Славянск...» Но кем взят? Этого никто не знает,

Выкурил чуть ли не сто папирос, голова горит, руки ледяные.

Ночью.

Да, образовано уже давным-давно некое всемирное бюро по устройению человеческого счастья, «новой прекрасной жизни». Оно работает вовсю, принимает заказы на все, буквально на все самые подлые и самые бесчеловечные низости. Вам нужны шпионы, предатели, растлители враждебной вам армии? Пожалуйте, — мы уже недурно доказали наши способности в этом деле. Вам угодно «провоцировать» что-нибудь? Сделайте милость, — более опытных мерзавцев по провокации вы нигде не найдете... И так далее, и так далее.

Какая чепуха! Был народ в 160 миллионов численностью, владевший шестой частью земного шара, и какой частью? — поистине сказочно богатой и *со сказочной быстротой процветавшей!* — и вот этому народу сто лет долбили, что единственное его спасение — это отнять у тысячи помещиков те десятины, которые и так не по дням, а по часам таяли в их руках!

28 мая.

Часто недосыпаю, рано проснулся и нынче. С самого утра стали мучать слухи. Их было столько, что все в голове спуталось. У многих создалось такое впечатление, что вот-вот освобождение. Перед вечером выпуск «Известий»: «Мы отдали Проскуров, Каменец, Славянск. Финны перешли границу, стреляют без причины по Кронштадту... Чичерин протесту-

ет...) Домбровский арестован, ночью разоружали его части, и была стрельба.

Домбровский — комендант Одессы. Бывший актер, содержал в Москве «Театр Миниатюр». У него были именины, пир шел горой. Было много гостей из чрезвычайки. Спьяну затеяли скандал, шла стрельба, драка.

29 мая.

Комендантом Одессы, вместо арестованного Домбровского, назначен студент Мизикевич. Затем: «В Румынии восстание... вся Турция охвачена революцией... *Революция в Индии ширится...*»

В полдень ходил стричься. Два мрачных товарища «приглашали» хозяйку взять билеты (по 75 р. за билет) на какой-то концерт с такой скотской грубостью, так зычно и повелительно, что даже я, уж кажется, ко всему привыкший, был поражен. Встретил Луи Ивановича (знакового моряка): «Завтра в 12 истекает срок ультиматума. Одесса будет взята французами». Глупо, но шел домой как пьяный.

31 мая.

«Доблестными советскими войсками взята Уфа, несколько тысяч пленных и двенадцать пулеметов... Энергично преследуется панически бегущий неприятель... Мы оставили Бердянк, Чертково, бьемся южнее Царицына». В Берлине нынче хоронят Розу. Поэтому в Одессе — день траура, запрещены все зрелища, рабочие работают только утром, в «Одесском коммунисте» статья: «Шапки долой!».

Десяток яиц стоит уже 35 р., масло 40, ибо мужиков, везущих продукты в город, грабят «бандиты». *Взяты на учет кладбища. «Хорониться граждане отныне могут бесплатно». Часы переведены еще на час вперед — сейчас по моим десять утра, а «по-советски» половина второго дня.*

Иоффе живет в вагоне на вокзале. Он здесь в качестве государственного ревизора. Многим одесским удивлен, возмущен, — «Одесса переусердствовала», — пожимает плечами, разводит руками, кое-что «смягчает»...

Статейка «Терновый венец»: «Поплыл по рабочим липкий и жестокий слух: «Матьяша убили!» Гневно сжимались мозолистые руки и уже хрипло доносились крики: «Око за око! Метить!»

Оказалось, однако, что Матьяш застрелился: «Не вынес кошмара обступившей его действительности... со всех сторон обступили его бандиты, воры, грабители, грязь, насилие...

Следственная комиссия установила, что он сознал трудность работы среди бандитов, воров и мошенников...» *Оказалось кроме того — «легкое опьянение».*

2 июня.

Сводка — заячьи следы. Одно проступает — успехи Деникина продолжают.

После завтрака вышли. Дождь. Зашли под ворота дома, сошлись со Шмидтом, Полевицкой, Варшавским, Полевицкая опять о том, чтобы я написал мистерию, где бы ей была «роль» Богоматери, «или вообще святой, что-нибудь вообще зовущее к христианству». Спрашиваю: «Зовущее кого? Этих зверей?» — «Да, а что же? Вот недавно сидит матрос в первом ряду, пудов двенадцать и плачет...» И крокодилы, говорю, плачут...

После обеда опять выходили. Как всегда, камень на душе страшный. Опять эти стекловидно-розовые, точно со дна морского, звезды в вечернем воздухе — в Красном переулке, против театра «имени Свердлова» и над входом в театр. И опять этот страшный плакат — голова Государя, мертвая, синяя, скорбная, в короне, сбитой набок мужицкой дубиной.

3 июня.

Год тому назад приехали в Одессу. Странно подумать — год! И сколько перемен и все к худшему. Вспоминаю теперь даже переезд из Москвы сюда как прекрасное время.

4 июня.

Колчак признан Антантой Верховным Правителем России. В «Известиях» похабная статья: «Ты скажи нам, гадина, сколько тебе дадено?»

Черт с ними. Перекрестился с радостными слезами.

7 июня.

Был в книжном магазине Ивасенки. Библиотека его «национализирована», книги продаются только тем, у кого есть «мандаты». И вот являются биндюжники, красноармейцы и забирают что попало: Шекспира, книгу о бетонных трубах, русское государственное право... Берут по установленной дешевой цене и надеются сбывать по дорогой.

На фронт никто не желает идти. Происходят облавы «уклоняющихся».

Целые дни подводы, нагруженные награбленным в магазинах и буржуазных домах, идут куда-то по улицам.

Говорят, что в Одессу присланы петербургские матросы, беспощаднейшие звери. И правда, матросов стало в городе больше и вида они нового, *раструбы их штанов* чудовищные. Вообще очень страшно по улицам ходить. Часовые все играют винтовками, — того гляди застрелит. Поминутно видишь — два хулигана стоят на панели и разбирают браунинг.

После обеда были и пушки на бульваре. Кучки, беседы, агитация — все на тему о зверствах белогвардейцев, а какой-нибудь солдат повествует о своей прежней службе; все одно: как начальники «все себе в карман клали» — дальше кармана у этих скотов фантазия не идет.

— А Перемышль генералы за *десять тысяч* продали, — говорит один: — я это дело хорошо знаю, сам там был.

Сумасшедшие слухи о Деникине, об его успехах. Решается судьба России.

9 июня.

В газетах все то же — *Деникин хочет взять в свои лапы очаг* — и все та же страшная тревога за немцев, за то, что им придется подписать «позорный» мир. Естественно было бы крикнуть: «Негодяи, а как же похабный мир в Бресте, подписанный за Россию Караханом?» Но в том-то и сатанинская сила их, что они сумели перешагнуть все пределы, все границы дозволенного, сделали всякое изумление, всякий возмущенный крик наивным, дурацким.

И все то же бешенство деятельности, все та же неугасимая энергия, ни на минуту не ослабевающая вот уже скоро два года. Да, конечно, это что-то нечеловеческое. Люди совсем недаром тысячи лет верят в дьявола. Дьявол, нечто дьявольское, несомненно, есть.

В Харькове «приняты чрезвычайные меры» — против чего? — и все эти меры сводятся к одному — к расстрелу «на месте». В Одессе расстреляно еще *15 человек* (опубликован список). Из Одессы отправлено «два поезда с подарками защитникам Петербурга», то есть с продовольствием (а Одесса сама дохнет с голоду). Нынче ночью арестовано много поляков — как заложников, из боязни, что «после заключения мира в Версале на Одессу двинутся поляки и немцы».

Газеты делают выдержки из декларации Деникина (обещания прощения красноармейцам) и глумятся над ней: «В этом документе сочеталось все: наглость царского выскочки, юмор висельника и садизм палача».

В первый раз в жизни увидел не на сцене, а на улице, среди бела дня, человека с наклеенными усами и бородой.

Так ударило по глазам, что остановился как пораженный молнией.

Одно из древнейших дикарских верований:

— Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти, состоит из блеска глаз съеденных нами людей...

Теперь это звучит не так уж архаично.

«Мечом своим будешь жить ты, Исав!»

Так живем и до сих пор. Разница только в том, что современный Исав *совершенный подлец* перед прежним.

И еще одна библейская строка:

— Честь унижится, а низость возрастет... В дом разврата превратятся общественные сборища... *И лицо поколения будет собачье...*

«Попытка французов восстановить священные права людей и завоевать свободу обнаружила полное человеческое бессилие... Что мы увидели? Грубые анархические инстинкты, которые, освобождаясь, ломают все социальные связи *к животному самоудовлетворению...* Но явится какой-нибудь могучий человек, который укротит анархию и твердо зажмет в своем кулаке бразды правления!»

Удивительней всего то, что эти слова, — столь оправдавшиеся на Наполеоне, — принадлежат Герцену.

А сам Наполеон сказал:

— Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предложением дурачить толпу была для нас всех свобода!

Ленотр о Кутоне:

— Каким способом попадал Кутон в Конвент? Кутон, как известно, был калека, а меж тем был одним из самых деятельных и неутомимых членов Конвента и, если *не лечился на водах*, не пропускал ни одного заседания. Как же, на чем являлся он в Конвент?

Сперва он жил на улице Сент-Онорэ. «Эта квартира, — писал он в октябре 1791 года, — мне очень удобна, так как она находится в двух шагах от Святилища (то есть Конвента), и я могу ходить туда на своих костылях пешком». Но вскоре ноги совсем отказались служить ему, да переменялось, кроме

того, и его местожительство: он жил то в Пасси, то возле Пон-Неф. В 1794 году он наконец основался опять на улице Сент-Онорэ, в доме 336 (ныне 398), в котором жил и Робеспьер. И долго предполагали, что из всех этих мест Кутон заставлял себя носить в Конвент. Но как, на чем? В плегушке? На спине солдата? Вопросы эти оставались без ответа целых сто лет, говорит Ленотр, — и делает отступление, чтобы нарисовать эту свирепую гадину в домашнем быту, пользуясь одним письменным рассказом, найденным среди революционных документов спустя двадцать лет после смерти Кутона. Это рассказ одного провинциала, приехавшего в Париж с целью оправдать перед Конвентом своих земляков, революционных судей, заподозренных, по доносу, «в снисходительности». Провинциалу посоветовали обратиться к самому Кутону, и одна дама, знакомая г-жи Кутон, устроила ему это свидание, «при одном воспоминании о котором он вздрагивал потом всю жизнь».

— Когда мы явились к Кутону, — рассказывает провинциал, — я, к своему удивлению, увидал господина с добрым лицом и довольно вежливого в обращении. Он занимал прекрасную квартиру, обстановка которой отличалась большой изысканностью. Он, в белом халате, сидел в кресле и кормил люцерном кролика, примостившегося на его руке, а его трехлетний мальчик, хорошенький, как амур, нежно гладил этого кролика. «Чем могу быть полезен? — спросил меня Кутон. — Человек, которого рекомендует моя супруга, имеет право на мое внимание». И вот я, подкупленный этой идиллией, пустился описывать тяжкое положение моих земляков, а затем, все более ободряемый его ласковым вниманием, сказал уже с полным простодушием: «Господин Кутон, вы, человек всемогущий в Комитете Общественного Спасения, ужели вы не знаете, что революционный трибунал ежедневно выносит смертные приговоры людям, совершенно ни в чем не повинным? Вот, например, нынче будут казнены шестьдесят три человека: за что?» И, Боже мой, что произошло тотчас же после моих слов! Лицо Кутона зверски исказилось, кролик полетел с его руки кувырком, ребенок с ревом кинулся к матери, а сам Кутон — к шнуру звонка, висевшего над его креслом. Еще минута — и я был бы схвачен теми шестью «агентами охраны», которые постоянно находились при квартире Кутона, но, по счастью, особа, приведшая меня, успела удержать руку Кутона, а меня вытолкать за дверь, и я в тот же день бежал из Парижа...

Вот каков, говорит Ленотр, был Кутон в свои добрые мину-

ты. А в Конвент он ездил, как открылось это только недавно, на самокате. В июле 1889 года в Карнавалэ явилась молодая женщина. Она заявила хранителю музея, что она правнучка Кутона и жертвует музею то самое кресло, на котором Кутон собственноручно катал себя в Конвент. И через неделю после этого кресло было доставлено в Карнавалэ, было распаковано — «и снова увидало парижское солнце, то же самое термидорское солнце, которое не грело его старого дерева сто пять лет». Оно обито бархатом лимонного цвета и движется при посредстве рукояток и цепи, соединенной с колесами.

Кутон был полутруп. «Он был ослаблен ваннами, питался одним телячьим бульоном, истощен был костоедом, изнурен постоянной тошнотой и икотой». Но его упорство, его энергия были неистощимы. Революционная драма шла в бешеном темпе. «Все ее актеры были столь непоседливы, что всегда представляешь их себе только в движении, вскакивающими на трибуны, мечущими молнии гнева, носящимися из конца в конец Франции — все в жажде раздуть бурю, должествующую истребить старый мир». И Кутон не отставал от них. Каждый день приказывал он поднимать себя, сажать в кресло, «чудовищной силой воли заставлял свои скрюченные руки ложиться на двигатель, напоминающий ручку кофейной мельницы, и летел, среди тесноты и многолюдства Сент-Онорэ, в Конвент, чтобы отправлять людей на эшафот. Должно быть, жуткое это было зрелище, вид этого человеческого обломка, который несся среди толпы на своей машине-трещотке, наклонив вперед туловище с завернутыми в одеяло мертвыми ногами, обливаясь потом и все время крича: «сторонись!» — а толпа шарахалась в разные стороны в страхе и изумлении от противоположности между жалким видом этого калеки и тем ужасом, который вызывало одно его имя!».

«Стихийность» революции:

В меньшевистской газете «Южный Рабочий», издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов рассказывал о том, как образовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов:

— Пришли Суханов-Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномоченные, и объявили себя во главе этого еще не существующего совета!

Гржебин во время войны затеял патриотический журнальчик «Отечество». Призвал нас на собеседование. Был между прочим Ф. Ф. Кокошкин. После собеседования мы ехали с ним на одном извозчике. Заговорили о народе. Я не сказал ничего ужасного, сказал только, что народу уже надоела война и что все газетные крики о том, что он рвется в бой, преступные враки. И вдруг он оборвал меня со своей обычной корректностью, но на этот раз с необычайной для него резкостью:

— Оставим этот разговор. Мне ваши взгляды на народ всегда казались — ну, извините, слишком исключительными, что ли...

Я посмотрел на него с удивлением и почти ужасом. Нет, подумал я, даром наше благородство нам не пройдет!

Благородство это полагалось по штату, и его наигрывали себе, за него срывали рукоплескания, им торговали. И вот рота мальчишек из всякой науськанной и не желавшей идти на фронт сволочи явилась к Думе — и мы, «доверием и державной волей народа облеченные», закричали на весь мир, что совершилась великая российская революция, что народ теперь голову сложит за нас и за всяческие свободы, а главное, уж теперь-то пойдет как следует сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему к этому в несколько дней разогнали по всей России всю и всяческую власть...

Весна семнадцатого года. Ресторан «Прага», музыка, людно, носятся полове. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, толстый в груди и в плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан, требует, чтобы играли «Ойру».

Его собутыльник, земгусар, еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впивается ему в губы.

Музыка играет заунывно развратно-томно, потом лихо:

— Эх, распошел,
Ты мой серый конь, пошел!

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подсакивает в такт на диване.

10 июня.

Журналисты из «Русс<кого> Слова» бегут на паруснике в Крым. Там будто бы хлеб восемь гривен фунт, власть меньшевиков и прочие блага.

- Встретил на улице С. И. Варшавского. Говорит, что в «Буце» вывешена ликующая телеграмма: «Немцы позорного мира не подпишут!»

Поляков в Одессе арестовано больше тысячи. При арестах их, говорят, нещадно били. Ничего, теперь все сойдет.

В Киеве «проведение в жизнь красного террора» продолжается: убито между прочим еще несколько профессоров, среди них знаменитый диагност Яновский.

Вчера было «экстренное» — всегда «экстренное!» — заседание Исполкома. Фельдман понес обычное: «Мировая революция грядет, товарищи!» Кто-то в ответ ему крикнул: «Довольно, надоело! Хлеба!» — «Ах, вот как! — завопил Фельдман. — Кто это крикнул!» Крикнувший смело вскочил: «Я крикнул!» — и был тотчас же арестован. Затем Фельдман предложил «употреблять буржуев вместо лошадей, для перевозки тяжестей». Это встретили бурными аплодисментами.

Говорят, что нами взят Белгород.

Какая гнусность! Весь город хлопает деревянными сандалиями, все улицы залиты водой, — «граждане» с утра до вечера таскают воду из порта, потому что уже давно бездействует водопровод. И у всех с утра до вечера только и разговору, как бы промыслить насчет еды. Наука, искусство, техника, всякая мало-мальски человеческая трудовая, что-либо творящая жизнь — все погибло. Сожрали тощие коровы фараоновых тучных и не только не потучнели, а сами околевают!

Теперь в деревне матери так пугают детей:

— Цыц! А то виддам в Одессу в коммунию!

Передают нагло-скромные слова, где-то на днях сказанные Троцким:

— Я был бы опечален, если бы мне сказали, что я плохой журналист. Но когда мне говорят, что я плохой полководец, я отвечаю: я учусь и буду хорошим.

Журналист он был ловкий: А. А. Яблоновский рассказывал, что однажды он унес, украл из редакции «Киевской Мысли» чью-то шубу. А воевать и побеждать он «учится» боками тех царских генералов, которые попались ему в плен. И что же, прослывет полководцем.

Красное офицерство: мальчишка лет двадцати, лицо все голое, бритое, щеки впалые, зрачки темные и расширенные: не губы, а какой-то мерзкий *сфинктор*; почти сплошь золотые зубы; на цыплячем теле — гимнастерка с офицерскими походными ремнями через плечи, на тонких, как у скелета, ногах — развратнейшие пузыри-галифе и щегольские, тысячные сапоги, на костреце — смехотворно громадный браунинг.

В университете все в руках семи мальчишек первого и второго курсов. Главный комиссар — студент киевского ветеринарного института Малич. Разговаривая с профессорами, стучит на них кулаком по столу, кладет ноги на стол. Комиссар высших женских курсов — первокурсник Кин, который не переносит возражений, тотчас орет: «Не каркайте!» Комиссар политехнического института постоянно с заряженным револьвером в руке.

Перед вечером встретил на улице знакомого еврея (Зелера, петербургского адвоката). Быстро:

— Здравствуйте. Дайте сюда ваше ухо.

Я дал.

— Двадцатого! Я вам раньше предупреждаю!

Пожал руку и быстро ушел.

Сказал так твердо, что на минуту сбил меня с толку.

Да и как не сбиться? В один голос говорят, что вчера состоялось тайное заседание, на котором было решено, что положение отчаянное, что надо уходить в подполье и оттуда всячески губить денкинцев, когда они придут, — втираясь в их среду, разлагая их, подкупая, спаивая, натравливая на всяческое безобразие, надевая на себя добровольческую форму и крича то «Боже царя храни», то «бей жидов».

Впрочем, весьма возможно, что опять, опять все эти слухи об отчаянном положении пускают сами же они. Они отлично знают, сколь привержены мы оптимизму.

Да, да, оптимизм-то и погубил нас. Это надо твердо помнить.

Впрочем, может быть, и правда готовятся бежать. Грабеж идет страшный. Наиболее верным «коммунистам» раздают без счета что попало: чай, кофе, табак, вино. Вино, однако, осталось, по слухам, мало, почти все выпили матросы (которым

особенно нравится, как говорят, коньяк Мартель). А ведь и до сих пор приходится доказывать, что эти каторжные гориллы умирают вовсе не за революцию, а за *Мартель*.

Сентябрь семнадцатого года, мрачный вечер, темные с желтоватыми щелями тучи на западе. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, небольшой, курносый, с окладистой рыжей бородой, человек медоточивый, сидит на лавке, в рубахе навыпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, встает и низко кланяется, встряхивает волосы, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.

— Как поживаешь, Алексей?

Вздыхает:

— Скушно.

— Что такое?

— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин, нехорошо! Скушно!

— Да почему же?

— Да так. Был вчера я в городе. Прежде, бывало, едешь, на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод! Товару не дали. Товару нету. Ни почему нету. Приказчик говорит, — «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло! Подметки 14 рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу, будут буржуазию резать, ах будут!

Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами диакона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:

— А вы его не можете ругать! Вам за это, за духовное лицо, язык на пяло надо вытянуть!

— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?

— А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?

— А тебя?

Уронив голову и подумав, мрачно:

— Он мне, собака, керосину в лавке кооперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уж взял. А если я еще хочу? «Нет, говорит, такого закону». Хорош ай нет? Его за это арестовать, собаку, надо! Теперь никакого закону нету.— Погоди, погоди,— обращается он к караульщику,— и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки. Как петуха зарезу — дай срок!

Октябрь того же года. Пошли плакаты, митинги, призывы:

— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным Собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список номер третий!

Мужики, слушавшие эти призывы в городе, говорят дома:

— Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишу перед Учредительным Собранием. А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда. В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну да постой: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!

Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:

— Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем *кандрак* составлять, будем *осуждать*, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будто у нас должон теперь спроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я от роду за Ельцом никогда не был. Мы вот свою дорогу под горой двадцать лет дерьмом завалить не можем: как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять жа и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за что ж за это кинжал в бок вставлять? Это Бог с ним и с жалованьем в этой думе!

— Да то-то и дело, говорю я, что жалованье-то хорошее.

— Ну? Хорошее?

— Конечно хорошее. Самый раз тебе туда.

Думает. Потом, вздохнув:

— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хороших.

— Ну вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин. Подумавай и оживляясь все более:

— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство вспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажать ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Орет, а у самого и имения-то одна курица. Ему дай хоть сто десятин, опять через два дня «моряк» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, — какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю!

Беседует со мной об Учредительном Собрании и самый страстный на всей нашей деревне революционер Пантюшка! Но и он говорит очень странные вещи:

— Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысяча номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он черт министр хоть Гвоздев этот-то самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню, и *опять мы с ним одного сукна с онучей*. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за стол может сесть по вашему дворянству, а я что? Я и то мужикам говорю: эй, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное Собрание, так уж понятно, товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и *пролезть он там может куда угодно...*

Вечером у В. А. Розенберга. И опять: я ему об успехах добровольцев, а он о том, что они в занятых ими городах «насилуют свободу слова». Кусаться можно кинуться.

Ночью.

Вспомнилось: пришла весть с австрийского фронта, что убили Володьку. Старуха в полушубке (мать) второй день лежит ничком на нарах, даже не плачет. Отец притворяется веселым, все ходит возле нее, без умолку и застенчиво говорит:

— Ну и чудна ты, старуха! Ну и чудна! А ты что ж думала, они смотреть будут на наших? Ведь он, неприятель-то, тоже обороняется! Без этого нельзя! Ты бы сообразила своей головой: разве можно без этого?

Жена Володьки, молодая бабенка, все выскакивает в сенцы, падает там головой на что попало и кричит на разные лады, по-собачьи воет. Он и к ней:

— Ну вот, ну вот! И эта тоже! Значит, ему не надо было обороняться? Значит, надо было Володьке в ножки кланяться?

И Яков: когда получил письмо, что его сына убили, сказал, засмеявшись и как-то странно жмурясь:

— Ничего, ничего, Царство Небесная! Не тужу, не жалею! Это Богу свеча, Алексеич! Богу свеча, Богу ладан!

Но истинно Бог и дьявол поминутно сменяются на Руси. Когда мы сидели в саду у шалаша, освещенного через сад теплым низким месяцем, и слушали, как из деревни доносилась крик, вой жены Володьки, мещанин сказал:

— Ишь, стерва, раздoleвается! Она не мужа жалеет, она его *штуки* жалеет...

...Я едва удержался, чтобы не дать ему со всего размаху палкой по башке. Но в шалаше, радуясь месяцу, нежно и звонко закричал петух, и мещанин сказал:

— Ах, Господи, до чего хорошо, сладко! За то и держу, ста целковых за него не возьму! Он меня всю ночь веселит, умиляет...

Дочь Пальчикова (спокойная, миловидная) спрашивала меня:

— Правда, говорят, барин, к нам сорок тысяч пленных австрийцев везут?

— Сорок не сорок, а правда, везут.

— И кормить их будем?

— А как же не кормить? Что ж с ними делать?

Подумала.

— Что? Да порезать да покласть...

Мужики, разгромившие осенью семнадцатого года одну помещичью усадьбу под Ельцом, ощипали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало.

Но что за беда! Вот Павел Юшкевич уверяет, учит меня, что «к революции нельзя подходить с уголовной меркой», что содрогаться от этих павлинов — «*обывательщина*». Даже Гегеля вспомнил: «Недаром говорил Гегель о разумности все-

го действительного: есть разум, есть смысл и в русской революции».

Да, да, «бьют и плакать не велят». Каково павлину, и не подозревавшему о существовании Гегеля? С какой меркой, кроме уголовной, могут «подходить к революции» те священники, помещики, офицеры, дети, старики, черепа которых дробит победоносный демос? Но какое же дело Павлу Юшкевичу до подобных «обывательских» вопросов!

Говорят, матросы, присланные к нам из Петербурга, совсем осатанели от пьянства, от кокаина, от своеволия. Пьяные, врываются к заключенным в чрезвычайке без приказов начальства и убивают кого попало. Недавно кинулись убивать какую-то женщину с ребенком... Она молила, чтобы ее пощадил ради ребенка, но матросы крикнули: «Не беспокойся, дадим и ему маслинку!» — и застрелили и его. Для потехи выгоняют заключенных во двор и заставляют бегать, а сами стреляют, нарочно делая промахи.

11 июня.

Проснувшись, как-то особенно ясно, трезво и с ужасом понял, что я просто погибаю от этой жизни и физически и душевно. И записываю я, в сущности, черт знает что, что попало, как сумасшедший... Да, впрочем, не все ли равно!

Едва дождался газет. Все очень хорошо:

— Мы оставили Богучар... Мы в 120 верстах западнее Царицына... *Палач* Колчак идет на соединение с Деникиным...

И вдруг:

— *Угнетатель рабочих* Гришин-Алмазов застрелился... Троцкий в поездной газете сообщает, что «наш миноносец захватил в Азовском море пароход, на котором известный черносотенец и *душегуб* Гришин-Алмазов вез Колчаку письмо Деникина. Гришин-Алмазов застрелился».

Ужасная весть. И вообще день большого волнения. Говорят, будто Деникин взял Феодосию, Алушту, Симферополь, Александровск.

Четыре часа.

Мир с немцами подписан. Деникин взял Харьков.

Поделился радостью с дворником Фомой. Но он пессимист:

— Нет, барин, навряд дело этим кончится. Теперь ему трудно кончиться.

— А как же и когда оно, по-твоему, кончится?

— Когда! Когда побелеет у ворона крыло. Теперь злодей укрепился. Вон красноармейцы говорят: «Вся беда от жидов, они все коммунисты, а большевики все русские». А я думаю, что они-то, красноармейцы-то эти, и есть злу корень. Все ярьги, все разбойники. Вы посчитайте-ка, сколько их теперь из всех нор вылезло. А как измываются над мирным жителем! Идет по улице и вдруг: «Товарищ, гражданин, который час?» А тот сдуру вынет часы и брякнет: «Два часа с половиной». — «Как, мать твою в душу, как два с половиной, когда теперь по-нашему, по-советски, пять? Значит, ты старого режима?» — Вырвет часы и об мостовую трах! Нет, он очень укрепился. А все прочие ослабели. Вы взгляните, как прежний господин или дама теперь по улице идет: одет в чем попало, воротничок смялся, щеки небритые, а дама без чулок, на босу ногу, ведро с водой через весь город тащит, — на все, мол, наплевать. Да я и про себя скажу: все чего-то ждешь, никакого дела делать не хочется. Даже и лето как будто еще не наступило.

Бог шельму метит. Еще в древности была всеобщая ненависть к рыжим, скуластым. Сократ видеть не мог бледных. А современная уголовная антропология установила: у огромного количества так называемых «прирожденных преступников» — бледные лица, большие скулы, грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие глаза.

Как не вспомнить после этого Ленина и тысячи прочих? (Впрочем, уголовная антропология отмечает среди прирожденных преступников и особенно преступниц и резко противоположный тип: кукольное, «ангельское» лицо, вроде того, что было, например, когда-то у Коллонтай.)

А сколько лиц бледных, скуластых, с разительно асимметрическими чертами среди этих красноармейцев и вообще среди русского простонародья, — сколько их, этих атавистических особей, круто замешенных на монгольском атавизме! Весь, Муром. Чудь белоглазая... И как раз именно из них, из этих самых русичей, издревле славных своей *антисоциальностью*, давших столько «удалых разбойничков», столько бродяг, бегунов, а потом хитровцев, босяков, как раз из них и вербовали мы красу, гордость и надежду русской *социальной* революции. Что ж удивиться результатам?

Тургенев упрекал Герцена: «Вы преклоняетесь перед тулупом, видите в нем великую благодать, новизну и оригинальность будущих форм». Новизна форм! В том-то и дело,

что всякий русский бунт (и особенно теперешний) прежде всего доказывает, до чего все *старо* на Руси и сколь она жаждет прежде всего *бесформенности*. Спокон веку были «разбойнички» муромские, брянские, саратовские, бегуны, шатуны, бунтари против всех и вся, голь кабацкая, пустосвяты, сеятели всяческих лжей, несбыточных надежд и свар. Русь классическая страна буяна. Был и святой человек, был и строитель, высокой, хотя и жестокой крепости. Но в какой долгой и непрестанной борьбе были они с буяном, разрушителем, со всякой крамолой, сварой, кровавой «неурядицей и нелепичей»!

Уголовная антропология выделяет преступников случайных: это случайно совершившие преступление, «люди, чуждые антисоциальных инстинктов». Но совершенно другое, говорит она, преступники «инстинктивные». Эти всегда как дети, как животные, и главнейший их признак, коренная черта — жажда разрушения, *антисоциальность*.

Вот преступница, девушка. В детстве упорна, капризна. С отрочества у нее резко начинает проявляться воля к разрушению: рвет книги, бьет посуду, жжет свои платья. Она много и жадно читает, и любимое ее чтение — страстные, запутанные романы, опасные приключения, бессердечные и дерзкие подвиги. Влюбляется в первого попавшегося, привержена дурным половым наклонностям. И всегда чрезвычайно логична в речах, ловко сваливает свои поступки на других, лжива так нагло, уверенно и чрезмерно, что парализует сомнения тех, кому лжет. Вот преступник, юноша. Гостил на даче у родных. Ломал деревья, рвал обои, бил стекла, осквернял эмблемы религии, всюду рисовал гадости. «Типично антисоциален...» И таких примеров тысячи.

В мирное время мы забываем, что мир кишит этими выродками, в мирное время они сидят по тюрьмам, по желтым домам. Но вот наступает время, когда «державный народ» восторжествовал. Двери тюрем и желтых домов раскрываются, архивы сыскных отделений жгутся — начинается вакханалия. Русская вакханалия превзошла все до нее бывшие — и весьма изумила и огорчила даже тех, кто много лет звал на Стенькин Утес, — послушать «то, что думал Степан». Странное изумление! Степан не мог думать о социальном, Степан был «прирожденный» — как раз из той злодейской породы, с которой, может быть, и в самом деле предстоит новая *долгослетняя* борьба.

Ле о семнадцатого года помню как начало какой-то тяжелой болезни, когда уже чувствуешь, что болен, что голова горит, мысли путаются, окружающее приобретает какую-то жуткую сущность, но когда еще держишься на ногах и чего-то еще дешь в горячечном напряжении всех последних телесных и душевных сил.

А в конце этого лета, развертывая однажды утром газету как всегда прыгающими руками, я вдруг ощутил, что бледнею, что у меня пустеет темя, как перед обмороком: огромными буквами ударил в глаза истерический крик: «всем, всем, всем!» — крик о том, что Корнилов — «мятежник, предатель революции и родины...».

А потом было третье ноября.

Каин России, с радостно-безумным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторжест овал полностью.

Москва целую неделю защищаемая горстью юнкеров, целую неделю горевшая и сотрясавшаяся от канонады, сдалась, смирилась.

Все стихло, все преграды, все заставы божеские и человеческие пали — победители свободно овладели ею, каждой ее улицей, каждым ее жилищем, и уже водружали свой стяг над ее оплотом и святыней, над Кремлем. И не было дня во всей моей жизни страшнее этого дня, — видит Бог, воистину так!

После недельного плена в четырех стенах, без воздуха, почти без сна и пищи, с забаррикадованными стенами и окнами, я, шатаясь, вышел из дому, куда, наотмашь швыряя двери, уже три раза врывались, в поисках врагов и оружия, ватаги «борцов за светлое будущее», совершенно шальных от победы, самогонки и архискотской ненависти, с пересохшими губами и дикими взглядами, с тем балаганным излишеством всяческого оружия на себе, каково освящено традициями всех «великих революций».

Вечерел темный, короткий, ледяной и мокрый день поздней осени, хрипло кричали воробы. Москва, жалкая, грязная, обесчещенная, расстрелянная и уже покорная, принимала будничныи вид.

Поехали извозчики, потекла по улицам торжествующая московская чернь. Какая-то паскудная старушонка с яростно-зелеными глазами и надутыми на шее жилами стояла и кричала на всю улицу:

— Товарищи, любезные! Бейте их, казните их, топите их!

Я постоял, поглядел — и побрел домой. А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, на-

конец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог.

А потом я плакал на Страстной неделе, уже не один, а вместе со многими и многими, собиравшимися в темные вечера, среди темной Москвы, с ее наглухо запертым Кремлем, по темным старым церквам, скудно озаренным красными огоньками свечей, и плакавшими под горькое страстное пение:

— Волною морскою... гонителя, мучителя под водою скрыша...

Сколько стояло тогда в этих церквах людей, прежде никогда не бывавших в них, сколько плакало никогда не плакавших!

А потом я плакал слезами и лютого горя, и какого-то болезненного восторга, оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув новую русскую границу, границу в Орше, вырвавшись из этого разливанного моря страшных, несчастных, потерявших всякий образ человеческий, буйно и с какой-то надрывной страстью орущих дикарей, которыми были затоплены буквально все станции, начиная от самой Москвы и до самой Орши, где все платформы и пути были буквально залиты свотой и испражнениями...

13 июня.

Да, мир подписан. Ужели и теперь не подумают о России? Вот уже истинно: «Ратуйте, кто в Бога верует!» Неистовым криком о помощи полны десятки миллионов русских душ. Ужели не вмешаются в эти наши «внутренние дела», не ворвутся, наконец, в наш несчастный дом, где бешеная горилла уже буквально захлебывается кровью?

15 июня.

Газеты особенно неистовы: «Германия захвачена за горло разбойничьей шайкой! К оружию! Еще минута — и вулкан вспыхнет, пурпурное знамя коммунизма зацветет, зареет над всем миром! Но момент серьезен... Пусть же гудит набат! *Не время калякать!*»

В киевском «Коммунисте» замечательная речь Бубнова «о неслыханном, паническом, постыднейшем бегстве красной армии от Деникина».

16 июля.

«Харьков пал под лавиной царского палача Деникина... Он двинул на Харьков орду золотопогонных и озверелых от

пьянства гуннов. Дикая орда эта, подобно саранче, двигается по измученной стране, уничтожая все, что завоевано кровью лучших борцов за светлое будущее. Прислужники и холопы мировой боры империалистов несут трудовому народу виселицы, палачей, жандармов, каторжный труд, беспросветное рабство».

Собственно, чем это отличается от *всей* нашей революционной «литературы?» Но черт с ними. Рад так, что мороз по голове...

А «ликвидация григорьевских банд» все еще «продолжается».

17 июня.

На Дерибасовской улице новый плакат: лубочный мужик с топором и рабочий с киркой яростно гвоздят по лысой голове отчаянно раскорячившегося карапуза-генерала, насквозь проткнутого штыком бегущего красноармейца; подпись: «Бей, ребята, да позазвонистей!» Это опять работа «Политуправления». И удверей этого самого заведения встретил выходящего из него С. Юшкевича, который *равнодушно* сказал мне, что Харьков взят большевиками обратно.

Шел домой как пьяный.

Ночью.

Несколько успокоился. Все уверяют, что это вздор, будто Харьков взят обратно. Мало того: говорят, что Деникин взял Екатеринослав и Полтаву, что большевики эвакуируют Курск, Воронеж, что Колчак прорвал их фронт на Царицынском направлении, что Севастополь в руках англичан (десант в 40 000 человек).

Вечером, на бульваре. Сперва сидел с женой и дочерью С. И. Варшавского. Дочь читала. Она скаут. На вопрос отвечает поспешно, коротко и резко, как часто барышни ее лет. Розовый серп молодого месяца в тонком закатном небе за Воронцовским дворцом, бледное, нежное, чуть зеленоватое небо, вид этой милой, жадно читающей девочки и опровержение большевицких слухов о Харькове — все болезненно мешалось.

Рассказывали: когда в прошлом году пришли в Одессу немцы, «товарищи» вскоре стали просить у них разрешения устроить бал до утра. Немец-комендант с презрением пожал плечами: «Удивительная страна Россия! Чего ей так весело?»

18 июня.

«Последняя отчаянная схватка! Все в ряды! Черные тучи все гуще, карканье черного воронья все громче!» — и так далее.

В Киеве доклад *Раковского* о международном положении. «Революция охватила весь мир... Хищники дерутся из-за добычи. Контрреволюцию в Венгрии мы потопим в крови!» И дальше: «Позор! В Харькове *четыре* деникинца произвели неопишемую панику среди наших *многочисленных эшелонов!*» И как венец всего: «*Падение Курска будет гибелью мировой революции!*»

Только что был на базаре. Бежит какой-то босяк, в руках экстренный выпуск газеты: «Мы взяли назад Белгород, Харьков и Лозовую!» — Буквально потемнело в глазах, едва не упал.

19 июня.

Вчера на базаре несколько минут чувствовал, что могу упасть. Такого со мной никогда не бывало. Потом тупость, ко всему отвращение, полная потеря вкуса к жизни. После обеда у Щепкиной-Куперник. Там Лурье, Кауфман. Телеграмме никто не верит, ее напечатали по приказу Исполкома, по настоянию Фельдмана. Я купил эту телеграмму, чтобы взвесить каждое слово. Каждое слово режет, как ножом, переворачивает душу: «Бюллетень Известий Од. Сов. раб., кр. и красноарм, депутатов. Красные войска *отобрали* обратно Харьков, Лозовую, Белгород. По прямому проводу 1 июля в 1 ч. 35 м. из Киева радостная весть: Харьков, Лозовая, Белгород очищены от белогвардейских *банд*, которые *в панике* бегут. Судьба Деникина решена! В Курске ликование пролетариата. Мобилизация проходит с небывалым подъемом. В Полтаве энтузиазм...» Итак, победа сразу на пространстве 500 верст. «Энтузиазм в Полтаве» должен показать, что она цела и сохранна. А слухи совсем другие: нашими взяты Камышин, Ромодан, Никополь.

Нынче вскочил все-таки в семь и купил газеты все до единой: «Циркулировавшие вчера слухи о взятии нами обратно Харькова, Лозовой и Белгорода пока не подтверждаются...» От радости глазам не поверил.

Перед обедом были Розенберги. Дико! Они совсем спокойны, — ну что ж, «слухи не подтверждаются», и прекрасно...

20 июня.

«На Западе бушуют волны революции... Деникин несет цепи голодного рабства... С бешеным натиском белогвардейских банд злобствует *безумный, бесчеловечный террор*... Беззащитный пролетариат отдан *озверелым бандам* на разграбление... *Надо* беспощадно *раздавить* мозолистой рукой контрреволюционные *гады* на фронте и в тылу... Нужен беспощадный террор против буржуазии и белогвардейской сволочи, изменников, заговорщиков, шпионов, трусов, шкурников... Надо отобрать у буржуев излишек денег, одежды, взять заложников!»

Все это, вместе с «мозолистой рукой», долженствующей «раздавить *гады*», уже не из газет, а из воззвания «Наркомвнудела Украинск. Социалист. Сов. Республики».

В городе стены домов сплошь в воззваниях. И в них, и в газетах остервенелая чепуха, свидетельствующая о настоящем ужасе этих тварей:

«Мы оставили Константиноград... Харьков занят *бродячей бандой*... *Занятие Харькова не дало Деникину ожидаемых результатов*... Мы оставили Корочу... Мы оставили Лиски... *Противник оттеснил нас западнее Царицына*... Мы гоним Колчака, который в панике... Румынск, правительство мечется в предсмертной агонии. В Германии разгар революции. В Дании революция принимает угрожающие размеры... Северная Россия питается овсом, мхом... У падающих и умирающих на улицах рабочих в желудках находят куски одеял, обрывки тряпья... На помощь! Бьет последний час! Мы не хищники, не империалисты, мы не придаем значения тому, что уступаем врагу территории...»

В «Известиях» стихи:

Товарищи, кольцо сомкнулось уже!
Кто верн нам, беритесь за оружие!
Дом горит, дом горит!
Братец, весь в огне дом,
Брось горшок с обедом!
До жранья ль, товарищи?
Гибнет кров родимый!
Эй, набат, гуди, мой!

А насчет «горшка с обедом» дело плохо. У нас, по крайней мере, от недоедания все время голова кружится. На базаре целые толпы торгующих старыми вещами, сидящих прямо на камнях, на навозе, и только кое-где кучки гнилых овощей и картошек. Урожай в нынешнем году вокруг Одессы прямо библейский. Но мужики ничего не хотят везти, свиньям

в корыто льют молоко, валят кабачки, а везти не хотят...

Сейчас опять идем в архиерейский сад, часто теперь туда ходим, единственное чистое, тихое место во всем городе. Вид оттуда необыкновенно печальный, — вполне мертвая страна. Давно ли порт ломился от богатства и многолюдности? Теперь он пуст, хоть шаром покати, все то жалкое, что есть еще кое-где у пристаней, все ржавое, облупленное, ободранное, а на Пересыпи торчат давно потухшие трубы заводов. И все-таки в саду чудесно, безлюдие, тишина. Часто заходим в церковь, и всякий раз восторгом до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание. И подумать только, что прежде люди той среды, к которой и я отчасти принадлежал, бывали в церкви только на похоронах! Умер член редакции, заведующий статистикой, товарищ по университету или по ссылке... И в церкви была все время одна мысль, одна мечта: выйти на паперть покурить. А покойник? Боже, до чего не было никакой связи между всей его прошлой жизнью и этими погребальными молитвами, этим венчиком на костяном лимонном лбу!

P. S. Тут обрываются мои одесские заметки. Листки, следующие за этими, я так хорошо закопал в одном месте в землю, что перед бегством из Одессы, в конце января 1920 года, никак не мог найти их.

ВОСПИТАНИЕ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми.

(Курсив всюду мой; делая выписки из стихов и прозы с новой орфографией, я даю их по старой.)

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: *«Встреча в горах с кретином»*. Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крети-нами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из

коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь истерическими силами,— ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории,— тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспевали» погибающие дворянские гнезда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком,— уж не говорю про помещика с фа-

милией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов *сплошь* вишневых: в помещичьих садах бывали только *части* садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, *как раз возле* господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше,— точно совсем из «Дяди Вани»,— истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим — студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, — он еще жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях —

*Дома косые двухэтажные
И тут же рига, скотный двор, —*

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и несет «в ядгаше золотую лису»: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.

Кстати, почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» — как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре — как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было и в России и во всех прочих странах актеров художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным Театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, — ведь даже и доньше на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя

Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеуслышание всей России, сказал Чехову: «Это — твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году, — «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такие слова ее: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции мнение, написав мне в 1936 году: «Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нем. Почитатель Чехова В. Молотов». Какие мудрые и благосклонные слова!

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, — в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием, не придавала этому ровно никакого значения, — как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцещипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: *«У Есенина талант пошлости и кощунства»*, в свое время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орал, раздирает гармонь:

Ненавижу дыхание Китежа!
Обещаю вам Инонию!
Богу выщиплю бороду!
Молюсь ему матерщиною!

Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивных свет —
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюму вам,
Что имя Ленина шумит, как ветер, по краю!

За что русская эмиграция все ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя последнее уж куда не ново, ибо какой «мальчонка», отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?

Я мать свою зарезал,
Отца сваво убил,
А младшую сестренку
Невинности лишил...

Простила и за то, что он — «самородок», хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:

Осточертели эти самые самородки
От сохи, от земли, от земледелия,
Довольно этой косоворотки и водки
И стихов с похмелюгой!
В сущности, не так уж много
Требуется, чтобы стать поэтами:
Запустить в Господа Бога
Тяжелыми предметами,
Расшвырять, сообразно со вкусами,
Письменные принадлежности,
Тряхнуть кудрями русыми
И зарыдать от нежности...

Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно: «Появился Есенин в Петербурге во время первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: «Где уж нам, деревенщине!» А за этим маскарадом — неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолубие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами,

Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: «Что это на вас за гетры такие?» Все это заставило Есенина перебраться в Москву, и там он быстро стал популярен, примкнув к «имажинистам». Потом начались его скандалы, дебоши, «Господи, отелись», приступы мании величия, Айседора Дункан, турне с ней по Европе и Америке, неистовые избиения ее, возвращение в Россию, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство — и самоубийство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себе, — о том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего приятеля Мариенгофа. Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты барахты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри — Белый: и волос уж седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Все на меня в лорнеты, — «ах, как замечательно, ах, как гениально!» — А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости... Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел, — не надо ли, мол, чего покрасить, — и давай кухарке стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: где уж нам в горницу, креслице барину перепачкаю, пол воценный наслежу... Барин предлагает садиться — Клюев опять ломается, мнетя: да нет, мы стоим...»

Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в «Новом русском слове» в Нью-Йорке. Березов писал о Есенине с умилением:

— Помнишь, Сережа, — спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал, — помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?

И Есенин отвечал:

— Все помню, братцы, вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкрикивая концы строк и, конечно, не спроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «разудалая Русь»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали,
Первый раз я запел про любовь,
Первый раз отрекаюсь скандалить...

Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который свое хулиганство уже давно сделал выгодной профессией, своим вечным бахвальством, как и многими прочими своими качествами?

Синий май. Заревая теплынь,
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь,
Спит черемуха в белой накидке...

Дело происходит в мае, в саду, — откуда же взялась полынь, запах которой, как известно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы «веть»?

Дальше, несмотря на спящую черемуху,—

Сад полышет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый»...

Желание луны понятно, — недаром Бальмонт утверждал, что даже «каждая ящерица ищет щемящих ощущений»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыни полыхающий пенным пожаром сад и такая неистовая луна? А кончается все это так:

Только я в эту тишь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Не могу ничего пожелать,
Все, как есть, без конца принимая...

Тут май оказался уже веселым и даже тальянкой; но и это не беда: восхищаются...

Он любил песню, рассказывал Березов: «Мы часто встре-

чались с ним в редакции журнала «Красная новь». Песни он мог слушать везде и всегда. Вот картинка: Есенин в черном котелке и модном демисезонном пальто «раглан», в лаковых полуботинках, с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкапа, слушает, а мы поем...» Рисовал Березов и другие «картинки» — как жил и как «творил» Есенин (игравший и другие роли, уже не хулиганские):

«Жил Есенин в Брюсовском переулке в большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Гале Бениславской, которая стала его женой. Приятные, светлые обои, изящные гравюры. На письменном столе порядок. На обеденном, посреди комнаты, темная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стен кушетка с красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из-под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку, о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам, стройные березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот: «Груша, сходите за цветами, купите самых красивых». Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения, он одевается по-праздничному, как для обедни, и ставит на письменный стол цветы. Все его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстречу нам Груша с цветами, а в это время Галя Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озерам и рощам за раба Божия Сергея и за его вдохновенное творчество...»

Я читал все это, чувствуя приступы тошноты. Нет, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто «крыл» ее, не говорил подлых слов «о мучительной тоске» за океаном, о слезах при виде березок...

О Есенине была в свое время еще статья Владимира Ходасевича в «Современных записках»: Ходасевич в этой статье говорил, что у Есенина, в числе прочих способов обольщать девиц, был и такой: он предлагал намеченной им девице

посмотреть расстрелы в Чека,— я, мол, для вас легко могу устроить это. «Власть Чека покровительствовала той банде, которой Есенин был окружен, говорил Ходасевич: она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу...»

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описывания действительности... Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были не новы — и по духу и по форме — как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, — его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несомненно, так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленку, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, — видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал поэта Жемчужникова, одного из авторов «Козьмы Пруткова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяцкий пролетариат. В это-то время и воцарился в литературе, в одном стане ее, Горький, ловко подхвативший их надежды на босяка, автор «Челкаша», «Старухи Изергиль», — в этом рассказе какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и светлое будущее», — такие борцы ведь всегда пламенные, — вырвал из своей груди свое пылающее сердце, дабы бежать куда-то впе-

ред, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакции. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции:

Пусть же гром ударит и в мое жилище,
Пусть я даже буду первый грома пищей! —

Минский, все-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом; это уже гораздо позднее многие из них запели, подобно Минскому:

Пролетарий всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть! —

подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом, славянофилом, патриотом во время первой мировой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

Горе, горе! Умер Ленин!
Вот лежит он хладен, тленен!

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:

О, плачьте,
О, плачьте
До радостных слез!
Высоко на мачте
Мелькает матрос!

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, — про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:

Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне!

Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант

неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы...

Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Козьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помещанного на придумывании необыкновенных рифм:

В годы Кука, давно славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный — и
Неповторный опыт был...

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоувоенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовные...

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам черный челн...

Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала: — Первое стихотворение очень пошло, второе — непонятно.

Бальмонт налился кровью:

— Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

— Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, — раздельно ответила Гиппиус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

— Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучают мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах

сдержатъ своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

— Но я ужасно рада, что вы не можете, — ответила Гиппиус. — Для меня было бы истинным несчастьем иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецей, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но немало и совсем другого — дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке; ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

— Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:

— Художественный театр готовился ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, захватить к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда наконец дозволился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди — всего один стул, возле стула стоит Метерлинок, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя небызвестно хозяину. Но Метерлинок молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинок молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычания. «Будьте же добры, — говорю я тогда достаточно резко, — соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего создания?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ни-

чего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона.

Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды:

— Когда наш корабль, — Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», — бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, — тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, — я увидел род вигвама, заглянул в него и увидел в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому, что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством...

«Я, владеющий многими языками мира...» Не один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книге какого-то Мясникова («Поэзия Брюсова»), изданной в 1945 году в Москве: «Брюсов свободно владел французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-английски, по-итальянски, по-немецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски, имел представление о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древне-еврейском, древне-египетском, арабском, древне-персидском и японском...» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных...» Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брэдлеем, и когда Брэдлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки... Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, — очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, — только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печаль-

ных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его — и не раз — лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России: «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, дошли как-то втроем — он, писатель Федоров и я — купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта, вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь» лениво смерил его тусклым взглядом, сгрел в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человек, — человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И еще: при всем этом был он довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостлив ко мне, — сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

— Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, — начал сонет так:

Я тигр, ты — лев!

Расчетлив он был и политически.

В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энци-

клопедия», и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт — один из вождей русского символизма... По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений «Песни мстителя» превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение «Предвозвещенное», восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, «пожелал стать певцом страстей и преступления», как сказал о нем Брюсов. В сонете «Уроды» прославил «кривые кактусы, побегу белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом», восторженно приветствовал, как «брата», Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он в 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая жизнь», — например, такие строки:

Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих,
Тот бесчестный, тот шулер, ведет он двойную игру!

Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

Грубый солдат! Ты еще не постиг,
Кому же ты служишь лакеем?
Ты сопричислился, — о, не на миг! —

К подлым, к бесчестным, к злодеям!
Я тебя видел в расцвете души,
Встречал тебя вольно красивым.
Низкий. Как пал ты! В трясине! в глуши!
Труп ты — во гробе червием!
Кровью ты залил свой жалкий мундир,
Душою ты в пропасти темной.
Проклят ты. Проклят тобою весь мир.
Нечисть! Убийца наемный!

Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:

Наш царь — убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь — висельник...
Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет!
Ты был ничтожный человек,
Теперь ты грязный зверь!
Царь губошлепствует...
О, мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя,
Нарыв уже набух и, пухлый, ждет ножа.
Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя,
Ухватим этого колючего ежа!
Царь наш весь мерзостный, с лисьим хвостом,
С пастью, приличною волку,
К миру людей призывает — притом
Грабит весь мир втихомолку,
Грабит, кощунствует, ежится, лжет,
Жалко скулит, как щенята!
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,
Ты должен быть убит!

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания, и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул... Горький бежал сперва в Америку, потом в Италию...

Мечтая о революции, Короленко, благородная душа, вспоминал чьи-то милые стихи:

Петухи поют на Святой Руси —
Скоро будет день на Святой Руси!

Андреев, изолгавшийся во всяческом пафосе, писал о ней Вересаеву:

«Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее началь-

ство. Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительное, радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но и новая земля!»

«И вот приходит еще один вестник к Иову и говорит ему: сыновья твои и дочери твои ели и пили вино в доме первородного брата твоего: и вот большой ветер пришел из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на них, и они умерли...»

«Нечто умопомрачительно радостное» наконец настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так: «Русская революция проделана была зоологически».

Это было сказано еще в 1922 году и сказано не совсем справедливо: в мире зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства, — зверства ради зверства, — какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций; зверь, гад действует всегда разумно, с практической целью: жрет другого зверя, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существовании, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубийстве, не упивается им, «как таковым», не издевается, не измывается над своей жертвой, как делает это человек, — особенно тогда, когда он знает свою безнаказанность, когда порой (как, например, во время революций) это даже считается «священным гневом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных строителей всеобщего счастья на земле и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов, — как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствования Ленина, Троцкого, Дзержинского, и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ее и были удиви-

тельно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Вольтинский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жадной успехов, скандалов...

Толстой немного позднее определил все это так:

«Удивительна дерзость и глупость нынешних новых писателей!»

Это время было временем уже резкого упадка в литературе нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры... Розанов в то время очень кстати (и с гордостью) заявил однажды: «Литература — мои штаны, что хочу, то в них и делаю...» Впоследствии Блок писал в своем дневнике:

— Литературная среда смердит...

— Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости...

— Мережковские — хлыстовство...

— Статья Вячеслава Иванова душная и тяжелая...

— Все ближайшие люди на границе безумия, больны, расшатаны... Устал... Болен... Вечером напился... Ремизов, Гершензон — все больны... У модернистов только завитки во круг пустоты...

— Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси...

— Талант пошлости и кощунства у Есенина.

— Белый не мужает, восторжен, ничего о жизни, все не из жизни...

— У Алексея Толстого все испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница...

— Вернисажи, «Бродячие собаки»...

Позднее писал Блок и о революции, — например, в мае 1917 года:

— Старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской жизни, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, чем это принято думать по

революционному... Не мог сразу сделаться революционным народ, для которого крушение старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революция предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки...

И в июле того же года писал о том же:

— Германские деньги и агитация огромны... Ночь, на улице галдеж, хохот...

Через некоторое время он, как известно, впал в некий род помешательства на большевизме, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революции раньше. И я привел его суждения о ней не с политической целью, а затем, чтобы сказать, что та «революция», которая началась в девяностых годах в русской литературе, была тоже некоторым «неожиданным чудом», и что в этой литературной революции тоже было с самого ее начала то хулиганство, то отсутствие меры, те трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексею Толстому, были и впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в свое время и сам Блок грешен на счет этих «завитков», да еще каких! Андрей Белый, употребляя для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаниях «Тайным Рыцарем Жены, Облеченной в Солнце». А сам Блок, еще раньше Белого, в 1904 году, поднес Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

Законодателю русского стиха,
Кормщику в темном плаще,
Путеводной Зеленой Звезде,—

меж тем, как этот «Кормщик», «Зеленая звезда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облеченной в Солнце», был сыном мелкого московского купца, торговавшего пробками, жил на Цветном бульваре в отеческом доме, и дом этот был настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с воротами, всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цепи во дворе. Познакомься с Брюсовым, когда он был еще студентом, я увидел молодого человека, черноглазого, с довольно толстой и тугой гостиннодворческой и скуласто-азиатской физиономией. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства),— да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!» — воскликнул он. Но

вместе с тем для всего нового уже были у него, этого «дерзателя, разрушителя», жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, указания, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительна.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звезда...» Тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны: «Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»... Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавия, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

— Это для косых!

В моих воспоминаниях о Чехове сказано кое-что о том, как вообще относился он и к «декадентам» и к Горькому, к Андрееву.

...Вот еще одно свидетельство в том же роде.

Года три тому назад, — в 1947 году, — в Москве издана книга под заглавием «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». В этой книге напечатаны между прочим воспоминания А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институте и летом 1902 года производил разведки на каменный уголь в уральском имении Саввы Морозова, и вот Савва Морозов приехал однажды в это имение вместе с Чеховым. Тут, говорит Тихонов, я провел несколько дней в обществе Чехова и однажды имел с ним разговор о Горьком, об Андрееве. Я слышал, что Чехов любит и ценит Горького, и со своей стороны не поспешил на похвалу автору «Буревестника», просто задыхался от восторженных междометий и восклицательных знаков.

— Извините... Я не понимаю... — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. — Я не понимаю, почему вы и вообще вся молодежь без ума от Горького? Вот вам всем нравится его «Буревестник», «Песнь о соколе»... Но ведь это не литература, а только набор громких слов...

От изумления я обжегся глотком чая.

— Море смеялось, — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторге! Как замечательно! А ведь это — дешевка, лубок. Вот вы прочитали «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это

так — море — и вдруг смеется? Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... Никто не рыдает и не смеется...

Длинными пальцами он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на «о»...

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыграться на Художественном Театре.

— Ничего, театр как театр, — опять погасил мои восторги Чехов. — По крайней мере актеры роли знают. А Москвин даже талантливый... Вообще наши актеры еще очень некультурны...

Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым течением в литературе.

— Никаких декадентов нет и не было, — безжалостно доконал меня Чехов. — Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные», а такие же, как у всех, — волосатые.

Я упомянул об Андрееве: Чехов искоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

— Ну, какой же Леонид Андреев — писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, из тех, которые ужасно любят красиво говорить...



Мне Чехов говорил о «декадентах» несколько иначе, чем Тихонову, — не только как о жуликах.

— Какие они декаденты! — говорил он, — они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать...

Правда — почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонатами, равно как и у прочих, — у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева

или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря, патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, — «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный «мистический анархист» Чулков, исстуженный Вольтерский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский; у Горького была болезненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сию книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, — нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробной едкой иронии над чем-то: Иегудиил Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков... Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости, просто поразительных по количеству актерских поз и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напряженными, поднятыми изо всех сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позе площадного агитатора; он был совершенно неистощимый говорун с несметными по количеству и разнообразию гримасами, то опять-таки страшно мрачными, то идиотски радостными, с закатыванием под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола; он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства, то нарочито без всякой меры грубого, то романтически восторженного, без нелепой неумеренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планете!») и всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаниях: «Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с перовыми черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувству-

ешь, что попал в желудок из камня и железа; улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дороги — огромные черви; локомотивы — жирные утки...» Он был чудовищный графоман: в огромном томе какого-то Балухатова, изданном вскоре после смерти Горького в Москве под заглавием: «Литературная работа Горького», сказано: «Мы еще не имеем точного представления о полном объеме всей писательской деятельности Горького: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведений его...» А недавно я прочел в московском «Огоньке» следующее: «Величайший в мире пролетарский писатель Горький намеревался подарить нам еще много, много замечательных творений; и нет сомнения, что он сделал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; около *восьми тысяч* ценнейших рукописей и материалов Горького бережно хранится в архиве писателя при Институте мировой литературы Академии наук СССР... Таков был Горький. А сколько было еще ненормальных! Цветаева с ее непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в советскую Россию; буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство; морфинист и садистический эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев... Про обезьяньи неистовства Белого и говорить нечего, про несчастного Блока — тоже: дед по отцу умер в психиатрической больнице, отец «со странностями на грани душевной болезни», мать «неоднократно лечилась в больнице для душевно больных»; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страдания от вина и женщин, затем «тяжелая психостения, а незадолго до смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов...». Умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость — редкая: «гимназия отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он готовится в актеры, в первые университетские годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр, алых зорь, золотистых долин, цветистых лугов»; затем он подражатель В. Соловьева, друг и соратник Белого, «возглавлявшего мистический кружок аргонавтов»; в 1905 году «идет в толпе с красным знаменем, однако вскоре совершенно охладевает к революции...». В первую великую войну он устраивается на фронте

чем-то вроде земгусара, приезжая в Петербург, говорит Гиппиус то о том, как на войне «весело», то совсем другое — как там скучно, гадко, иногда уверяет ее, что «всех жидов надо повесить»...

(Последние строки взяты мною из «Синей книги» Гиппиус, из ее петербургских дневников, а все прочее относительно Блока — из биографических и автобиографических сведений о нем.)

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце двадцатых годов, «при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского», журнал «Русский Современник», преследовавший, как сказано было в его программе, «только культурные цели». И вот, в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материалы», среди же них нечто особенно драгоценное, а именно:

«Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».

И впрямь — среди этих «замыслов» есть кое-что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать не более, не менее, как «Пьесу из жизни Иисуса». И вот что было в проспекте этой «пьесы»:

— Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

— Входит Иисус: не мужчина и не женщина.

— Фома (неверный!) — контролирует.

— Пришлось уверовать: заставили и надули.

— Вложил персты и распространителем стал.

— А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов — и Учредилку...

Поверят ли почитатели «великого поэта» в эти чудовищные низости? А меж тем я выписываю буквально. Но дальше:

— Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на месте.

— Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.

— Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.

— Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

— Нагорная проповедь: митинг.

— Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули...

А вот заключение конспекта этой «Пьесы»:

— Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил...

«Он» написан, конечно, с маленькой буквы...

В этой нелепости («а распространять заставили икающих попов — и Учредилку»), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна эта строка, — про апостола Петра — «дурак Симон с отвисшей губой») есть, разумеется, нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времен, началось еще с самыми первыми дуновениями «ветра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургию Мне», то есть себе самому, молился дьяволу: «Отец мой, Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действие», для которого Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, — «действие», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело не мало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным баринном, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а ля мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабыми губами... Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, — уже при большевиках, — будто бы так: с Евангелием в одной руке и с «Декамероном» Боккаччио в другой.

При большевиках всякое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне написали из Москвы еще лет тридцать тому назад:

«Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающиеся рожи, «народ-богоносец» Достоевского любитесь на картинки в журнальчике «Безбожник»: там изображено, как глупые бабы «причащаются», — едят кишки Христа, —

изображен Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающий что-то Демьяна Бедного...»

Вероятно, это был «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», бывшего много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев советской Москвы.

Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что «его творчество не равноценно»: «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы — например, в рассказе «Сашка-Христос». Есть кроме того вещи, на которых нет отпечатка ни революции, ни революционного быта, как, например, в рассказе «Иисусов грех»... К сожалению, говорила дальше газета, — хотя я не совсем понимал, о чем тут сожалеть? — «к сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом рассказ, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующие его лица — Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, данного ей Богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала...» Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо «революционный» отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, с своей стороны, вспоминал тогда еще один рассказ Бабеля, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ее, заслуживала уже плахи, тем более, что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов. А вот в числе ненормальных вспоминается еще некий Хлебников.

Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменял его на какого-то Велимира, я иногда встречал еще до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных

и житейских известий из Москвы, я получил однажды письмо и о нем. Вот что было в этом письме:

Когда Хлебников умер, о нем в Москве писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминания. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников, «благодаря своей житейской беспечности», крайне не нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: «Хлебников был неприступен». Но вот однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону. — «Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придет, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянской и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу: Хлебников!» — На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное — «мистическое число 317». Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был, однако, удачлив — его приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошелиться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова и тотчас повел его за город, в степь, а в степи стал говорить, что ему «удалось снести со всеми 317-ю Председателями», что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрел в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: — «Негодяй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен был умереть! Я ведь уже снесся по

всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» — С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашел себе нового мецената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти, и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня».

Очень лубочная игра в пом шанного. А затем помешанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполне разумными и выгодными:

Нет житья от господ!
Одолели, одолели!
Нас заели!
Знатных старух,
Стариков со звездой
Нагишом бы погнать,
Все господское стадо,
Что украинский скот,
Толстых, седых,
Молодых и худых,
Нагишом бы все снять
И саповное стадо
И саповную знать
Голяком бы погнать,
Чтобы бич бы свистал,
В звездах гром громыхал!
Где пощада? Где пощада?
В одной паре с быком
Стариков со звездой
Повести голяком
И погнать босиком,
Пастухи чтобы шли
Со взведенным курком.
Одолели! Одолели!
Околели! Околели!

И дальше — от лица прачки:

Я бы на живодерню
На одной веревке
Всех господ привела
Да потом по горлу
Провела, провела,
Я белье мое всполюсну, всполюсну!
А потом господ

Полосну, полосну!
Крови лужица!
В глазах кружится!

У Блока, в «Двенадцати», тоже есть такое:

Уж я времячко
Проведу, проведу...
Уж я темечко
Почешу, почешу...
Уж я ножичком
Полосну, полосну!

Очень похоже на Хлебникова? Но ведь все революции, все их «лозунги» однообразны до пошлости: один из главных — режь попов, режь господ! Так писал, например, еще Рылеев:

Первый нож — на бояр, на вельмож,
Второй нож — на попов, на святош!

И вот что надо отметить: какой «высокий стиль» был в речах политиков, в революционных призывах поэтов во время первой революции, затем перед началом второй! Был, например, в Москве поэт Сергей Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал название «Гриф», стихи же писал в таком роде:

Встань! Карай врагов страны,
Как острый серп срезает колос!
Вперед! Туда, где шум и крик,
Где плещут красные знамена!
И когда горячей крови
Ширь полей вспоит волна,
Всколосись в зеленой нови,
Возрожденная страна!

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбежны. И еще пример: революционные стихи Максимилиана Волошина:

Народу русскому: я — грозный Ангел Мщенья!
Я в раны черные, в распаханную новь
Кидаю семена! Прошли века терпенья,
И голос мой — набат! Хоругвь моя как кровь!

Зато, когда революция осуществляется, «высокий стиль» сменяется самым низким, — взять хоть то, что я выписал из

«Песней мстителя». С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсем по-хамски:

Сорвали мы корону
Со старого Кремля!
За заборами низкорослыми
Гребем мы огненными веслами!

Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

Взяли мы в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрал!
Исуса — на крест, а Варраву
Под руки — и по Тверскому!

Я был в Петербурге в последний раз, — в последний раз в жизни! — в начале апреля 17-го года, в дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главе с нашими тогдашними министрами Временного правительства, знаменитыми думскими депутатами, и говорились финнам истерически-подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел тогда в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же, весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми возобладал Маяковский. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов; Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил меня Маяковский.

Я ответил, что нет: «Слишком много чести было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там вскочил на стул и

так похабно заорал что-то, что Милюков ошел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И Милюков развел руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных:

— Много! Много! Много!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одисей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем. Маяковский и прочие тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но не даром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего: он уже чуял, что полифемское будущее принадлежит несомненно им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибунам еще великолепнее, чем сделал он один на пиру в честь Финляндии...

«Много»! Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-й год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу *Нюю*! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а все-таки очень съедобных тварей. И вестник мира, благоденствия, голубь с оливковой ветвью в клюве, не обманул его,— не то что нынешние голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на

первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишенном всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

Весной того же семнадцатого года я видел князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в полифемском царстве Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократии, в молодости был одним из наиболее приближенных к императору Александру Второму, затем бежал в Англию, где и прожил до русской февральской революции, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлен при этом знакомстве: человек, столь знаменитый на всю Европу, — знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революционера», знаменитый еще и как географ, путешественник и исследователь восточной Сибири и полярных областей, — оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками белых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре, в обращении. Живые, ясные глаза, добрый, доверчивый взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь — и это трогательное младенчество...

Он окружен был тогда всеобщим почетом и всяческими заботами о нем, он, революционер, — хотя и весьма мирный, — возвратившийся на родину после стольких лет разлуки с ней, был тогда гордостью февральской революции, наконец-то «освободившей Россию от царизма», его поселили в чьем-то, уже не помню в чьем именно, барском особняке на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы. В конце этого года шли собрания на этой квартире Кропоткина «для обсуждения вопроса о создании Лиги Федералистов». Конец того года — что уже было тогда в России? А вот русские интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россия.

Но что «Лига»? Дальше было вот что:

В марте 1918 большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно пере-

брался на какую-то другую квартиру — и стал добиваться свидания с Лениным: в преинаивнейшей надежде заставить его раскаться в том чудовищном терроре, который уже шел тогда в России, и наконец добился свидания. Он почему-то оказался «в добрых отношениях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремле это свидание. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношениях» с этим редким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, все-таки был. И мало того: пытался повернуть деяния Ленина «на путь гуманности». А потерпев неудачу, «разочаровался» в Ленине и говорил о своем свидании с ним, разводя руками:

— Я понял, что убеждать этого человека в чем бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушение на него, допустил убить две с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления...

А затем, когда большевики согнали князя анархиста и с другой квартиры, «оказалось», что надо переселяться из Москвы в уездный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условиях, какие и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно миллион терзаний: муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба... Старый, маленький, несчастный князь мечтал раздобыть себе валенки. Но так и не раздобыл, — только напрасно истратил несколько месяцев! — на получение ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свете лучины, дописывая свое посмертное произведение «Об этике»...

Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Чуть не вся жизнь, жизнь человека, бывшего когда-то в особой близости к Александру Второму, была ухлопана на революционные мечты, на грезы об анархическом рае, — это среди нас-то, существ, еще не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! — и кончилась смертью в холоде, в голоде, при дымной лучине, при наконец-то осуществившейся революции, *над рукописью о человеческой этике.*

РАХМАНИНОВ

При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги, и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россия». Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигде не было ни души, — сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячее и радостнее уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова... Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку:

Я в гроте ждал тебя в урочный час.
Но день померк; главой качая сонной,
Заснули тополи, умолкли гальционы;
Напрасно! Месяц встал, сребрился и угас;
Редела ночь; любовница Кефала,
Облокотясь на рдяные врата
Младого дня, из коб своих роняла
Златые зерна перлов и опала
На синие долины и леса...

РЕПИН

Из художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным... Нестеров хотел написать меня за мою худобу святым, в том роде, как он их писал; я был польщен, но уклонился, — увидеть себя в образе святого не всякий согласится. Репин тоже удостоил меня — он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндии, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, — писал он мне, — слышу милую весть, что приехал Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мне его краски! — а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать: приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу». Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь — быть написанным Репиным! И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме — все окна настежь; Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит: «Вот тут я и буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать, как Господь Бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедленно спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом...

ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ

Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве — и в том числе я.

Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский P. E. N. Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества.хлопоты насчет визы и расходы по поездке клуб взял на себя — и вот я в Лондоне.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающий, как геенна огненная, камин, а с другой — полярный холод!

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко, и милые хозяйева вдруг распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спасаться в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услышал за собой какие-то радостные восклицания: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел в комнату среди почтительно расступившейся публики и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Так как оказалось, что он пришел только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо.

— Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку — посмотреть, какой вы, пожать вашу руку...

Это был плотный, очень крепкий и приземистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длинном черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстука, — настоящий старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, не писателя со всемирной славой.

ТОЛСТОЙ

Мечтать о счастье видеть его я начал очень рано.

Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтений его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», — один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец (в молодости участвовавший, как и Толстой, в обороне Севастополя) говорил:

— Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал...

И я смотрел на него во все глаза: живого Толстого видел!

В ранней молодости я был совершенно влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? «Что вам угодно, молодой человек?» — спросят меня в Ясной Поляне. И что я отвечу тогда?

Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно приказал оседлать своего верхового «киргиза» и поскакал в Ефремов, — уездный город Тульской губернии, — в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не более ста верст. Но, доскакав до Ефремова, испугался, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове — и всю ночь мучился от смены решений — ехать, не ехать, — скитался ночью по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой.

Позднее, страстно мечтая о чистой, здоровой, «доброй» жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, главное же, опять-таки от влюбленности в Толстого, как художника, я стал толстовцем, — конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько

законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушание».

Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. Тут я узнал, каково было большинство учеников Толстого, — полтавские были типичны, за некоторыми исключениями, это был совершенно несносный народ.

Я видел «самого» Черткова. Это был высокий, крупный, породистый человек с небольшой, очень гордой головой, с холодным и надменным лицом, с ястребиным, совсем небольшим и прекрасно сформированным носом и с ястребиными глазами. Софья Андреевна была очень талантлива художественно, — то ли от природы, то ли от того, что прожила три четверти жизни с Толстым. Часто она говорила с необыкновенной меткостью. Однажды сказала про какого-то революционера, посетившего Ясную Поляну: «Пришел, сел и сидит. Упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз». А Черткова она называла «идолом». Я видел его всего раз или два и не решаюсь судить точно, что он был за человек. Но впечатление от него у меня осталось такое, что лучше и не скажешь: «идол». Очень идет к этому определению и следующее воспоминание Александры Львовны:

— Какой задорный вид бывал у отца, когда он выходил из кабинета после удачной работы! Поступь легкая, бодрая, лицо веселое, глаза смеются. Иногда вдруг повернется на одном каблучке или легко и быстро перекинет ногу через спинку стула. Я думаю, всякий уважающий себя толстовец пришел бы в ужас от такого поведения учителя. Да такая резвость и не прощалась отцу. Я помню такой случай. На «председательском» месте, как оно у нас называлось, сидела мама. По правую сторону отец, рядом с ним Чертков. Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, остряли, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца:

— Что вы наделали? — проговорил он. — Что вы надела-

ли, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?

Отец смутился. Всем стало неловко...

Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский, человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каролина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями, словом, всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. К толстовцам принадлежал и полтавский доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского из «Анны Карениной». И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопский говорит, например, так:

— Да, да, вижу, как вы живете: жжете, да конфетами закусываете, да идолам своим по церквям, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «Ваш билет». Я его спрашиваю: «А что это значит, какой, собственно, билет?» Отвечает: «Но билет, по которому вы едете?» А я ему опять свое: «Позвольте, я не по билету, а по рельсам еду». — «Значит, говорит, у вас билета нету?» — «Конечно, говорю, нету». — «В таком случае мы вас на следующей станции высадим». — «Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать». На следующей станции действительно являются: «Пожалуйста выходить». — «Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо». — «Тогда мы вас выведем». — «Выведете? Но я не пойду». — «Тогда вытащим, вынесем». — «Что ж, выносите, это ваше дело». И вот, меня действительно тащат: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать!

Таков был Клопский. Прочие были в другом роде, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под

Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек, болезненной и редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший и себе и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем журналиста Генеромо, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидеть его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся «братия» смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.

Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:

— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими, я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем...

Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их

пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — Новый год, понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это суший вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого... И так оно и случилось.

Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу», — и убежал. Вернулся же домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники...

Как рассказать все последующее?

Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулочек. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выде-

ляется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.

— Как прикажете доложить?

— Бунин.

— Как-с?

— Бунин.

— Слушаю-с.

И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:

— Пожалуйте обождать наверх, в залу...

А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, — меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом, — быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть...

— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни... Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе...

Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно

сделав вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня.

Что он еще говорил?

Все расспрашивал:

— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда... Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком...

Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только мягкую серую материю его блузы да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти... Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми сплошь темными глазами дама:

— Леон, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут...

И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:

— Ну, до свидания, до свидания, дай вам Бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве... Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет... Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими...

И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице...

Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все-таки не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», — московского толстовского издательства, — завел полтавское отделение его. Да, как это ни странно, я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками, а над входом висела вывеска: «Книжный магазин Бунина». Я служил тогда в полтавской

земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я, один, в тиши, читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что, если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского просвещения. Покупателей, однако, не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюры «Посредника» управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, — например, один сторож, которому я дал брошюру о вреде курения, сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, на сигарки, — я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником «на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения», каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, — я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.

Бросив торговлю (в которой я так запутал счета, несмотря на их малые размеры, что порою подумывал повеситься от стыда, от беспомощности), я переехал на жительство в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «доброй жизни».

Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил удивительно легко и быстро) и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный «братией», делавшей ему порою такие вопросы:

— Лев Николаевич, но что же я должен был бы делать,

неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр?

Он в таких случаях только смущенно улыбался:

— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра...

Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видел. Дочерей видел. Однажды вечером застал в «Посреднике» и его, и их, всех трех: Таню, старшую, Машу, среднюю, и Сашу, младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висючей лампой, зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол, и слегка хмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников «Посредника», из которых резко выделялись двое: один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым, сумасшедшим взглядом за очками, другой высокий, стройный, страстно-мрачный красавец с черно-синими волосами и совершенно безумным, экстатическим выражением смуглого худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими молодыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали глядеть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться: живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатаются со смеху. Я недоумевал: в чем дело, что смешного нашли они во мне? И стал краснеть, делать вид, что не замечаю их, как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул:

— Перестаньте смеяться!

Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:

— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости...

Он сдвинул брови:

— Какие общества?

— Общества трезвости...

— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его...

А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.

— Войдите, — ответил старческий альтиный голос.

И я вошел и увидел низкую, небольшую комнату, тонущую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:

— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!

Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем:

— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!

Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник». Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному Девичью полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго и резко:

— Смерти нету, смерти нету!

Через несколько лет после этого я видел его еще раз. Както в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня:

— Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевайте, пожалуйста, шапку... Ну, как, что, где вы и что с вами?

Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:

— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания...

ЧЕХОВ

Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Видались мы тогда мельком, и я не упомянул бы об этом, если бы мне не запомнилось несколько очень характерных фраз его.

— Вы много пишете? — спросил он меня однажды.

Я ответил, что мало.

— Напрасно,— почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном.

— Нужно, знаете, работать... Не покладая рук... всю жизнь.

И, помолчав, без видимой связи прибавил:

— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем...

После таких мимолетных встреч и случайных разговоров, в которых были затронуты любимые темы Чехова — о том, что надо работать «не покладая рук» и быть в работе до аскетизма правдивым и простым,— мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил Чехова на набережной.

— Почему не заходите ко мне? — сказал он.— Непременно приходите завтра.

— Когда? — спросил я.

— Утром, часу в восьмом.

И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:

— Мы встаем рано. А вы?

— Я тоже,— сказал я.

— Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе?

— Изредка пью.

— Пейте каждый день. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон. А то плохо работается.

Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.

— Любите вы море? — сказал я.

— Да,— ответил он.— Только уж очень оно пустынно.

— Это-то и хорошо,— сказал я.

— Не знаю,— ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стек-

ла пенсне и, очевидно, думая о чем-то своем.— По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом... Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку...

И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:

— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.

Может быть, это покажется кому-нибудь манерностью? Но — Чехов и манерность! Поставить рядом эти два слова могут только те, которые не имеют никакого понятия о Чехове. «Скажу прямо, — говорит один из хорошо знавших Чехова, — я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню». Да, он любил только искреннее, органическое, — если только оно не было грубо и косно, — и положительно не выносил фразеров, книжников и фари-сеев, особенно тех из них, которые настолько вошли в свои роли, что роли стали их вторыми натурами. В своих работах он почти никогда не говорил о себе, о своих вкусах, о своих взглядах, что и повело, кстати сказать, к тому, что его долго считали человеком беспринципным, необщественным. В жизни он также никогда не носился со своим «я», очень редко говорил о своих симпатиях и антипатиях: «я люблю то-то...», «я не выношу того-то...», это не чеховские фразы. Но симпатии и антипатии его были чрезвычайно устойчивы и определены, и среди его симпатий одно из первых мест занимала именно естественность. «Море было большое...» Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с его отвращением ко всему вычурному, напряженному, казалось это «чудесным». А в его словах об офицере и музыке сказалась другая его особенность: сдержанность. Неожиданный переход от моря к офицеру, несомненно, вызван был его затаенной грустью о молодости, о здоровье. Море пустынно... А он любил жизнь, радость, и за последние годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась в его разговоре. Но именно только *сказывалась*.

Слова за последнее время стали очень дешевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порой — просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о Чехове. Пишут, например, что Чехов поехал на Сахалин затем, чтобы поддержать репутацию «серьезного» человека, и

в дороге так простудился, что нажил чахотку... Пишут, что смерть Чехова была ускорена постановкой «Вишневого сада»; накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что его пьеса не понравится, что всю ночь бредил... Все это сущий вздор. На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин, и еще потому, что в путешествии он хотел встряхнуться после смерти брата Николая, талантливого художника. И чахотку он нажил не в Сибири, — а уже в 1884 году у него было кровохарканье в декабре после «Скопинского дела» — хотя несомненно, что ездить ему не следовало: взять хотя бы этот страшно тяжелый двухмесячный путь на перекладных, ранней весной, в дождь и в холод, почти без сна и положительно на пише св. Антония, из-за дикости сибирских трактов! А что до волнений о «Вишневом саде»... Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов! Ибо кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он? Кто умел так, как он, скрывать ту острую боль, которую причиняет человеческому уму человеческая глупость? Известен только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неуспехом, — вечер постановки «Чайки» в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло... Да и кто мог знать, волнуется он или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех нечутких и неумных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?

Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, «вялым увальнем с лунообразны лицом». Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. И лицо у него было не «лунообразное», а просто — большое, очень умное и очень спокойное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова «увальнем», — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве «Антоша» был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича! В юности, — в те счастливые дни,

когда ему доставляло наслаждение проектировать такие произведения, как «Искусственное разведение ежей, — руководство для сельских хозяев», — это спокойствие как бы потонуло в пышном расцвете прирожденной Чехову жизнерадостности, — все, кто знали его в эту пору, говорят о неотразимом очаровании его веселости, красоты его открытого, простого лица и его лучистых глаз. Но годы шли, дух и мысль становились глубже и прозорливее — и Чехов снова овладел собою. Это было время, когда он, смело отдав дань молодости, первым непосредственным проявлениям своей богатой натуры, уже приступил к суровому в своей художественной неподкупности изображению действительности. И мои первые встречи с ним относятся именно к этому времени.

В Москве, в девяносто пятом году, я увидел человека средних лет, в пенсне, одетого просто и приятно, довольно высокого, очень стройного и очень легкого в движениях. Встретил он меня приветливо, но так просто, что я, — тогда еще юноша, не привыкший к такому тону при первых встречах, — принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице; во всем его облике по-прежнему сквозило присущее ему изящество, — однако это было изящество уже не молодого, а много пережившего и еще более облагороженного пережитым человеком. И голос его звучал уже мягче... Но в общем он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, и все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо... На другое утро, после встречи на набережной, я поехал к нему на дачу. Ясно помню это веселое солнечное утро, которое мы провели с Чеховым в его садике. Он был очень оживлен, много шутил и, между прочим, прочитал мне единственное, как он говорил, стихотворение, написанное им, «Зайцы и китайцы, басня для детей». И с тех пор я начал бывать у него все чаще и чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим, конечно, изменилось и отношение ко мне Чехова. Оно стало оживленнее, сердечнее... Но сдержанность осталась; и проявлялась она не только в обращении со мной, но и с людьми, самыми близкими ему, и означала она, как я убедился потом, не равнодушные, а нечто гораздо большее...

Белая каменная дача в Аутке, под южным солнцем и синим небом; ее маленький садик, который с такой заботли-

востью разводил Чехов, всегда любивший цветы, деревья и животных; его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана да огромное полукруглое окно, открывавшее вид на уютную в садах долину реки Учан-Су и синий треугольник моря; те часы, дни, иногда даже месяцы, которые я проводил в этой даче, и то сознание близости к человеку, который пленял меня не только своим умом и талантом, но даже своим суровым голосом и своей детской улыбкой, — останутся навсегда одним из самых лучших воспоминаний моей жизни. Был и он настроен ко мне дружески, иногда почти нежно. Но та сдержанность, о которой я упомянул, не покидала его даже в самые задушевные минуты наших разговоров. И она была во всем.

Он любил смех, но смеялся своим милым, заразительным смехом только тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь смешное: сам он говорил самые смешные вещи без малейшей улыбки. Он очень любил шутки, нелепые прозвища, мистификации; в последние годы, как только ему хоть ненадолго становилось лучше, он был неистощим на них; но каким тонким комизмом вызывал он неудержимый смех! Бросит два-три слова, лукаво блеснет глазом поверх пенсне... А его письма! Сколько милых шуток было в них всегда, при их совершенно спокойной форме! «Милый Иван Алексеевич, стало быть, позвольте на Страстной ждать Вас. Непременно обязательно приезжайте, у нас будет очень много закусок, к тому же в Ялте такая теплынь теперь, столько цветов! Приезжайте, сделайте милость! Жениться я раздумал, не желаю, но все же, если Вам покажется скучно, то я, так и быть уж, пожалуй, женюсь...» (25 марта 1901 г.) «Дорогой Иван Алексеевич, завтра я уезжаю в Ялту, куда и прошу написать мне поздравление с законным браком... Желаю Вам всего хорошего-с, будьте здоровы-с. Ваш А. Чехов, аутский мещанин» (30 июня 1901 г.).

Но сдержанность Чехова сказывалась и во многом другом, более важном, свидетельствуя о редкой силе его натуры. Кто, например, слышал от него жалобы? А причин для жалоб было много. Он начал работать в большой семье, терпевшей в ту пору его молодости нужду, и работал мало того что за гроши, но еще и в обстановке, способной угасить самое пылкое вдохновение: в маленькой квартирке, среди говора и шума, часто на краешке стола, вокруг которого сидела не только вся семья, но еще несколько человек гостей-студентов. Он долго нуждался и потом... Но никто и никогда не слышал от него сетований на судьбу, и это вытекало не из скрытности его ха-

рактера и не из ограниченности его потребностей: будучи на редкость благородно-скромным в своем образе жизни, он в то же время прямо-таки ненавидел серую, скудную жизнь... Он пятнадцать лет был болен изнурительной болезнью, которая неуклонно вела его к смерти; но знал ли это читатель, — русский читатель, который слышал столько горьких писательских воплей? Больные любят свое привилегированное положение: часто самые сильные из них почти с наслаждением терзают окружающих злыми, горькими, непрерывными разговорами о своей болезни; но поистине было изумительно то мужество, с которым болел и умер Чехов! Даже в дни его самых тяжелых страданий часто никто не подозревал о них.

— Тебе нездоровится, Антоша? — спросит его мать или сестра, видя, что он сидит в кресле с закрытыми глазами.

— Мне? — спокойно ответит он, открывая глаза, такие ясные и кроткие без пенсне. — Нет, ничего. Голова болит немного.

Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером или Толстым — было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.

— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!

Но его разговоры о литературе были совсем непохожи на те обычные профессиональные разговоры, которые так неприятны своей кружковой узостью, мелочностью своих чисто практических и чаще всего — личных интересов. Будучи прежде всего литератором, Чехов, однако, настолько резко отличался от большинства пишущих, что к нему даже не шло слово «литератор», как не идет оно, например, к Толстому. И поэтому разговоры о литературе Чехов заводил только тогда, когда знал, что его собеседник любит в литературе прежде всего искусство, бескорыстное и свободное.

— Никому не следует читать своих вещей до напечатания, — говорил он нередко. — А главное, никогда не следует слушать чужих советов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. После тех высоких требований, которые поставил своим мастерством Мопассан, трудно работать, но работать все же надо, особенно нам, русским, и в работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существо-

ванием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал.

Все, что совершалось в литературном мире, было очень близко его сердцу, и много волнений пережил он среди той глупости, лжи, манерности и фокусничества, которые столь пышно цветут теперь в литературе. Но никогда я не замечал в его волнениях мелочной раздражительности, и никогда не примешивал он к ним личных чувств. Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия, и поэтому, если бы у меня была хоть тень сомнения относительно писательского самолюбия Чехова, я совсем не затронул бы вопроса о самолюбиях. Но он действительно радовался от всего сердца всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, наивысшей бранью в его устах. К своим же успехам и неудачам он относился так, как мог относиться только он один.

Он работал почти двадцать пять лет, и сколько плоских и грубых упреков выслушал он за это время! Один из самых величайших и деликатнейших русских поэтов, он никогда не говорил языком проповедника. А можно ли при этом рассчитывать на понимание и благосклонность критики в России? Ведь требовали же от Левитана, чтобы он «оживил» пейзаж... подрисовал коровку, гусей или женскую фигуру! И, конечно, не сладко было Чехову иметь таких критиков, и много горечи они влили в его душу, и без того отравленную русской жизнью. И горечь эта сказывалась, но опять-таки только *сказывалась*.

— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!

— Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахиною!

И чаще всего на разговоры о его славе и о том, что о нем пишут, он отвечал именно так — двумя-тремя словами или шуткой.

— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.

А он только покосится поверх пенсне и, вытянув лицо, ответит своим грудным басом:

— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «а то вот еще есть писатель Чехов: нытик...» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», ка-

кая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»... И слово-то противное: «пессимист»... Нет, критики еще хуже, чем актеры. А ведь, знаете, актеры на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества.

И порою прибавит:

— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик про-рочил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.

Злым Чехова я никогда не видал; раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. Но и холодным я его не видал. Холоден он бывал, по его словам, только за работой, к которой он приступал всегда уже после того, как мысль и образы его будущего произведения становились ему совершенно ясны, и которую он исполнял почти всегда без перерывов, неукоснительно доводя до конца.

— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, — сказал он однажды.

Но, конечно, это была совсем особая холодность. Ибо много ли среди русских писателей найдется таких, у которых душевная чуткость и сила восприимчивости были бы сложнее, больше чеховских?

ШАЛЯПИН

В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», — пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходиться с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

— Да за чем же дело стало?

— За тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторге:

— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

— Спасибо, — сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

Есть знаменитая фотографическая карточка, — знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, — та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телепов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

— Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся.

— Почему же это свадьба, да еще собачья? — ответил он своим грубо-наигранным басом. — Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

— А как же это назвать иначе? — сказал я. — Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...

Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех, Шаляпин закричал:

— Bravo, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер и крышка ему.

— Да, — подхватил Горький, — писал, писал — и околел.

— Как, например, я, — сумрачно сказал Андреев. — Околею в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.



Все считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями:

Жил-был король когда-то,
При нем блоха жила...

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, — по всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешении!

— А как же мне было не стать на колени? — говорил он. — Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и

решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого к ленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косою скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!

В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Вышло так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

— Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

— Вот, брат, какое дело: и петть нельзя, и не петть нельзя, — ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петть я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них.

В июне тридцать седьмого года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех

своих выступлениях,— это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси,— войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):

— Ну что, как я пел?

— Конечно, превосходно,— ответил я. И пошутил: — Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.

— Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай,— ответил он со смутной улыбкой.— Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы — это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

— Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень рассеянно.

Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:

— Бесплатно только птички поют.

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины,— навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая севернорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

— Нет, он поет слишком громко.

Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

— Слава подобна морской воде, — чем больше пьешь, тем больше жаждешь, — шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удачу, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

— Вот посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нешадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного»... Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не Бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:

— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит!

И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему Бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шалапин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шалапина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой иступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились,

прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал таким волжским тенорком:

Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.

Не забывай, — сказал я, — что живу я на пятом этаже и не так мал.

Ничего, милый, — ответил он, — как-нибудь донесу!

И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца — потребовал в номер бутылку «столетнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: трагил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, — и чаще всего самыми крепкими, жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

— Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

Ты умный, Ваня, — ответил он сладким говорком, только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

— Надоел ты мне со своей Русью! — сказал я.

— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

— За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.

— Чем же я от них отличаюсь?

— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература», и часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».

— Пьяные, Ваня, склонны лстить.

— И то правда,— сказал я, смеясь.— А ты все-таки замолчи и запахнись.

— Ну, ин будь по-твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рывкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радужного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел — то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» — и все так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

— Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедленно приезжай. Будем петь всю ночь.

Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

— Помнишь, как я пел у тебя на Капри?

Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

— Неплохо пел! Дай бог так-то всякому!

ГОРЬКИЙ

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, — странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, — начало это относится в 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти переменились, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

— L'écrivain Maxime Gorki est décédé... Alexis Péchkoff connu en littérature sous le nom Gorki, était né en 1868 à Nijni-Novgorod d'une famille de cosaques...*

Еще одна легенда о нем. Боясь, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, издающие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе», — песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз уж и лег там», а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «боясь, поднялся со дна моря народного...» Но никто не знает

* Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горький, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казацкой семье... (франц.)

довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой паровой конторы; мать — дочь богатого купца красильщика...» Дальнейшее — никому в точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный Горьковский образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом «Искра», Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего я поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил письмоводителем к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России...»

В 92-м году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: «Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой» и последующими созданиями горьковского пера: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился Горький и сатирами — например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», — был известен, как фельетонист, писал

фельетоны (в «Самарской Газете»), подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем: в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаша, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Вино-

градную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том, и в другом случае, — с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружили и некоторые другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными

ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мне это слово, — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я не мало видал таких походов в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, врасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказало у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся — и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливец все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей

из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабанив большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты неправ, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем — с ним это случилось очень быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, — на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, — сама Ермолова и уже старая в ту пору! — подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

— Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки»

тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие — больше всего из-за марки «Знания» — тоже не плохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по триста, кто по четыреста, а кто и по пятьсот рублей с листа, он — тысячу рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил; со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на все хватает: изо дня в день на-людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Академии свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведро с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

ЕГО ВЫСОЧЕСТВО

Разбирая свои бумаги, нашел пакет с пометкой: «Петр Александров».

В пакете — пачка писем ко мне «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов («Петр Александров. Сон. Париж. 1921 год») и еще вырезка из парижской социалистической газеты «Дни» — статья М. А. Алданова, посвященная его кончине: он провел остаток своей жизни в эмиграции и умер на пятьдесят шестом году от рождения, в скоротечной чахотке.

Это был удивительный человек.

Алданов назвал его человеком «совершенно удивительной доброты и душевного благородства». Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нем текла царская кровь, он, избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя, — Петр Александров, — в жизни носил имя куда более громкое: принц Петр Александрович Ольденбургский. Он был из рода, считающегося одним из самых древних в Европе, — последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, — был правнук императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III (Ольге Александровне).

Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад, в Париже. Я зашел по какому-то делу в Земгор. Там, в приемной, было множество народу, и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штатском. Я прошел мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывший генерал...» Я мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по-военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен и в одежде, очень простой и дешевой: легкое

непромокаемое пальто неопределенного цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца... Меня удивил его рост, его худоба, — какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное, — его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице, небольшие подстриженные усы тоже красно-желтого цвета и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вернее, следами бровей). Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим: ко мне подошел один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:

— Его высочество просит позволения представиться вам.

Я подумал, что он шутит: где же это слыхано, чтобы высочества и величества просили позволения представиться!

— Какое высочество?

— Принц Петр Александрович Ольденбургский. Разве вы не видели? Вон он, стоит у двери.

— Но как же это — «просит позволения представиться»?

— Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный...

А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта в духе толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он приехал ко мне и привез ту самую книжечку, насчет которой и ходил в Земгор, печатая ее на свои средства в типографии Земгора: три маленьких рассказа под общим заглавием «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, говорит: «Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских... Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью... А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желание вступить в Народно-Социалистическую партию! Разные были в России великие князья. Были и такие, что в 1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице. Принц Ольденбургский не нацеплял на себя этой ленточки. Тесная дружба, закрепленная в детстве, в день 1-го марта 1881 года, — день убийства императора Александра II, — связывала его с Николаем II — и едва ли кто другой так бескорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже «перубедить» царя и, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с

Толстым. Это одно уже дает представление об образе мысли и о душевном облике Ольденбургского. В нем не было ничего от «красного принца», от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно приобрести в его положении...»

Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике. Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу, Его заветам братской любви между людьми, — «единственного спасения мира во всех его страданиях», — писал горячо, лирически, но совсем неумело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:

— Прости, ради Бога, что все докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны, знаю, что пишу я как ребенок... Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, все больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и все-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное...

Достаточно удивительно для принца царской крови и его «Одиночество». В нем есть такие строки:

— «Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, желтого жнивья, черных взметов; тихо летят нити серебряной паутины, темнеют еще не успевшие облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две борзые собаки, белый кобель и красная сука, идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ровным зеленым. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего все мое существо блаженного оцепенения...»

— «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. «Ату его, ату его!» — что есть силы кричу я, скача за собаками. Белый кобель достает его, сшибает на зеленыя...»

— «Еду проселком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно... Зачем не слышу я Ее звонкого смеха, не вижу Ее больших

добрых глаз, Ее ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»

— «Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепи... Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около закоптелой кузницы: — Семен, а Семен,— несколько раз повторяю я, не слезая с лошади. Из сарая выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается.

— Здравствуй, Семен. Не зайдешь ли сегодня ко мне вечером посидеть, побеседовать? — робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. — Что ж, зайду, спасибо, — отвечает он просто, теребя второченного русака...»

— «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево — флигелек, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочий. Я слезаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы... Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю...»

Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая головой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь со своей обычной детской простодетчностью и застенчивостью:

— Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нем, прости за интимность, все правда, — то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда-то... то есть тогда, когда мы разошлись с Олей... с Ольгой Александровной...

Перечитывая эти строки, опять задаю себе все тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинно святой простотой называвший при посторонних Николая II — Колей? (Да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые революционеры, он, слушая их оживленную беседу, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какие вы все милые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Все, все было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!») Ответить на этот вопрос, — что за че-

ловец был он, — я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальны»...

Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них:

— ...Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде... По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-де-Люз... Давно ничего не писал; даже не могу кончить начатого еще летом рассказа; когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике... Очень соскучился по парижским знакомым... П реношусь мысленно в вашу парижскую квартиру: как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне... (1921 г.)

— ...Спасибо Тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно... Приезжайте в наши края, тут и теплей и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза оставался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-де-Люз. Платил двадцать франков за все, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и приятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них как дома... (1921 г.)

— ...Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует... Настроение у меня не радостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины... (1922 г.)

— ...Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за все, что Ты для меня сделал... Начал писать задуманную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко... Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Париже... (1922 г.)

В сущности, я знал его мало: встречал не часто, — мы все жили в разных местах, — до эмиграции даже не видал никогда, сведений о его прежней жизни, в России, имею немного: до

войны он, в чине генерал-майора, командовал стрелками императорской фамилии... в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне, в Воронежской губернии, где мужики — тоже довольно странная история — предлагали ему кандидатуру в Учредительное собрание... потом, с наступлением террора, бежал во Францию и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из России и неотлучно находившемуся при нем почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)... Неизвестен мне полностью и его характер, — Бог ведает, может быть, были в нем кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные: эту действительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо днем с огнем искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что дает человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость...

Сперва он жил под Парижем, — и тут мы встречались чаще всего, — потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумлению, вторично женился: встречаю его как-то в нашем консульстве (это было еще до признания Францией большевиков, тогда, когда посольство на улице Гренелль еще оставалось в нашем эмигрантском распоряжении), и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас моей невесте... Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы...» Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе (возле Ниццы), мы с женой вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу:

— Боже, как я рад! Вот не чаял!

— А ты зачем и почему здесь?

Он махнул рукой и заплакал:

— Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне, у меня внезапно открылась чахотка, послади сюда лечиться, спасаться югом...

Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории. Но не помогла и санатория: к

весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался — в бедности, в полном одиночестве...

Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил письмом позволения приехать. «Умоляю Тебя, как только это будет Тебе возможно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу...» И вскоре, как-то вечером, приехал — едва живой, задыхающийся, весь облитый дождем. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспоминать о нем: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (все из-за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти...

— Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значение мое удостоверение?

— Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений.

Гроб его стоит теперь в подземелье русской церкви в Каннах, ожидая России, успокоения в родной земле.

КУПРИН

Это было давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидел в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:

— Я — Куприн, и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был офицером на русско-австрийской границе, а затем чем только не был! Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актером, мелким журналистом... Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тубетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большеликий,

только шурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «Геть сию же минуту к чертовой матери!» — что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой и наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному — и к Пушкину, к Толстому, — тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прекрасной, божественной Фру-Фру», — и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, — Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услышал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедленно пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его не застали, — «он, верно, купается», — сказали нам. Мы сбегали к морю и увидели неловко вылезающего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. — «Куприн?» — «Да, а вы?» — Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Талантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, — в нем тогда веселости и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нем, — кроме того, что касалось его семьи, его детства, — он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева... Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким... Жил и охотился в Полесье, — никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом за гроши писал

всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать... Слава богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть...»

В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. «Да меня же никуда не примут», — жалостливо скулил он в ответ. «Но ведь вы уже печатались!» — «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». — «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей «Мира божьего», — ручаюсь, что там примут». — «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» — «Вы знаете, например, солдат, — напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню...» — «Но я же не знаю деревни!» — «Пусть-ки, я знаю, давайте придумывать вместе...» Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир божий», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесские новости», — сам он почему-то «ужасно боялся», — и за который мне удалось тут же схватить для него двадцать пять рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе «штиблеты», потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан «Аркадию» угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии:

— Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом едешь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое

удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому все трын-трава...

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов... В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности — охоту, например, к издевательству над людьми: «Взять какого-нибудь болвана, — часто говорил он с упоением, — взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми бесстыдными похвалами, вообще всячески «развертеть» ее, — да что же может быть слаще этого?»

Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира божьего», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех. В эту пору он написал свои лучшие вещи: «Конокрады», «Болото», «Трус», «Река жизни», «Гамбринус»... Когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика...

Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, — самыми близкими соседями, в одном и том же доме, — и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но

он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет пятнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки,— такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок... Все это и было причиной того, что за последние два года я не видал его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне Бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.

Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде на возвратном пути из Италии и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием:

«Александр Иванович Куприн возвратился в СССР...»

Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, — его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие — Горький, Андреев, Шаляпин — жили в непрестанном упоении своими славами, в непрерывном чувствовании их не только на людях, на всяких публичных собраниях, но и в гостях, друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов, — сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемыми «ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор...». А Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому, Андрееву, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Слава и

деньги дали ему, казалось, одно — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся.

— Я не честолюбив, я самолюбив, — как-то сказал я ему по какому-то поводу.

— А я? — быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурился, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдаль. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказами, — вот и вся моя писательская история...

Он это часто повторял — «я стал писателем случайно». Это, конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах». Но вот что правда — это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказами». Он мне говорил, что эти «рассказы» он сбывал «за сущие гроши, но очень легко», а писал «на бегу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать — уже не для киевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильней — большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит:

— Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги...

Но надолго ли накинулся он на книги (если только правда, что «накинулся»)? Во всяком случае, слова «и до сей поры» — весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле — как бы это сказать? — интеллигентности, что ли, — уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко,

крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.

Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной «стихийности», «непосредственности» его произведений, о той «первичности переживаний, которыми они пленяют». Читаешь о нем и сейчас то же самое: «Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небрежливость, слишком большое доверие к «нутру», в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах... то, что он «не кончил консерватории», как говорили символисты о бытовиках... в своем творчестве Куприн, по самой природе своей, не-книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами... Ни в нем, ни в его героях не было двойственности...» *Все это требует больших оговорок.* Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» — тут ему и впрямь всякое море было по колено, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и еще долго будет притчей во языцех. А каким был как писатель? Нет, «консерваторию» он проходил (это уже другое дело, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, *далеко не все шло ему на пользу тут.*

Это еще мелочи,— то, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «железный закон борьбы за существование», «его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее бурными, но суровыми нуждами», «стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором...» Это еще полбеда,— беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими *шаблонами*, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста,— в пять минут сделаю, и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее солнце косыми лучами освещало вершины деревьев»; надо писать рассказ для «Русского богатства»? И за этим дело не постоит,— вот вам «Молох»:

«Заводский гудок протяжно ревел, возвещая начало ра-

бочего дня. Густой, хриплый звук, казалось, выходил из-под земли и низко расстилался по ее поверхности...»

Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью — вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все *как надо* и дальше, есть все, что требуется *по образцам данного времени*, и все, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нежная, почти женственная натура» болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту «стройную, грациозную» Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода...

Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни» предсмертное письмо застрелившегося в номерах «Сербия» студента: «Не я один погиб от моральной заразы... Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидел на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:

— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческий труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинувшись железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоховье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса... («Молох»)

— Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами... В углу, перед обра-

зом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии...

— Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку...

— В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу...

— К чему эта жизнь? — говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар... («Болото»)

— Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание... Он пронесся по лесу низко, над самой землей, и стих... («Лесная глушь»)

— Он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчиков над дышле; и по-прежнему расстилались и налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные круги и мотались завязанные в узел хвосты...

— Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович... («Жидовка»)

Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые, обязательно «свешивающиеся с печки» детские головки, этот вечный огрызок сахару, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховского студента из «Болота», тургеневский «странный звук, внезапно пронесшийся по лесу», толстовскую дремоту в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардалионович, — и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:

— Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши... что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где

есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки...

— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою хоть самую малюсенькую пользу, — говорил учитель фельдшеру. — Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные, я радуюсь его славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

В рассказе «Нарцисс» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бэтси, — да, это уж неизбежно: Бэтси! — и грозовый вечер, — «в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза», — и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с «надвигающейся грозой»... В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки», пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть гения!»

Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта начинается рассказом «На разъезде». Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы», и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев, и на жену смотрел, как на благоприобретенную собственность...» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди»...

Потом я перечитал то, что больше всего забыл: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные рассказы: «Ночная смена», «Поход», «Дознание», «Свадьба».. Первые три рассказа опять оказались слабы: и по неубедительности фабул, и по исполнению, — написаны под Мопассана и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так умело... «У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой... То и дело легкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием... Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, — на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми...» И в этом рассказе, как и в предыдущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах дело пошло уже иначе, я все чаще стал внутренне восклицать: отлично! Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», рассказ, не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: «Ох, сколько тут Толстого и Чехова», — рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, — «Конокрады», «Болото» и так далее, — я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом... Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком...

Вот еще статья о нем — строки человека, долго и близко его знавшего, известного критика Пильского:

— Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и бесхитростность, теплая доброта ко всему окружающему... Временами его серосиние глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта... Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости, его

восхищали времена «железных времен, орлов и великанов»...

В этом дурном роде будут еще немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне «первобытного, звериного», сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам... В последнем есть, конечно, много правды, и я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным-писателем и Куприным-человеком, — таким, каким его характеризуют почти все, — будто никак не проявлялся человек в писателе: конечно, все-таки проявлялся, и чем дальше, тем все больше. «Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, как говорит другой критик, «купринское благословение всему миру», это тоже было. Однако надо помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна.

1938

СЕМЕНОВЫ И БУНИНЫ

«Государство не может быть инако, яко к пользе и славе, ежели будут такие в нем люди, которые знают течение сил небесных и времени, мореплавание, географию всего света...» (Регламент Императорской Российской Академии наук 1747 года).

К «таким» людям принадлежал и принадлежит Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, прославивший род Семеновых.

Я многое семейное узнал о нем от В. П. Семенова-Тянь-Шанского, его сына, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной (Семеновы родственники Буниным). От него же стало мне известно о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем зарубежье существующий только в одном экземпляре). В. П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией и к октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатого листа, на чем и остановилось: большевики, захватив власть, как известно, тотчас же ввели свое собственное правописание, приказали по типографиям уничтожить все знаки, изгнанные ими из алфавита, и поэтому В. П., лично наблюдавший за печатанием мемуаров, должен был или бросить дальнейший набор второго тома или же кончать его по новому правописанию, то есть, выпустить в свет книгу довольно странную по внешнему виду. Стараясь избегнуть этой странности, В. П. нашел одну типографию, тайно не исполнившую большевицкого заказа, преступные знаки еще не уничтожившую. Однако заведующий типографией, боясь попасть в Чеку, соглашался допечатать книгу по старой орфографии только при том условии, что В. П. достанет от большевиков письменное разрешение на это. В. П. попытался это сделать и, конечно, получил отказ. Ему ответили: «Нет, уж извольте печатать теперь ваши мемуары по нашему правописанию: пусть всякому будет видно с двенадцатого листа их, что как раз тут пришла наша победа. Кроме того, ведь вам теперь даже и наше разрешение не помогло бы: знаки прежнего режима во всех типографиях уничтожены. Если же, паче чаяния, вы нашли типографию, их еще сохранившую, прошу вас немедленно назвать ее, чтобы мы могли упечь ее заведующего куда следует».

Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листе,

и что с ней случилось, не знает, кажется, и сам В. П. (вскоре после того покинувший Россию). Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томе описывается экспедиция отца в Среднюю Азию. В нем много ценного научного материала, но есть страницы, интересные и для широкой публики, — например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, которого он знал в ранней молодости, — как есть таковые же и в третьем и в четвертом томах, ярко рисующие настроения разных слоев русского общества в конце пятидесятых годов, затем эпоху великих реформ Александра II и его сподвижников...»

О Достоевском говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрашевского и о самом Петрашевском.

— Мы собирались у Петрашевского регулярно, по пятницам, — рассказывает П. П. — Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать для нас приятные вечера — сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особенно библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенные иностранные книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедовал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военноучебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения...» — и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своем он отличался тоже крайней оригинальностью: носил все то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами... Один раз он пришел в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его не-

сколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное внимание соседей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина»; но он дерзко ответил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», — и так смутил квартального, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора...

— Вообще наш кружок, — говорит мемуарист далее, — не принимал Петрашевского всерьез; но вечера его все же процветали, и на них появлялись все новые и новые лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокие цензурные притеснения, бывали литературные чтения, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребления помещиков крепостным правом...

Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевский вошел в славу своим романом «Бедные люди», рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурова.

— Вообще я знал его довольно долго и близко, — говорит он. — И вот что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но необразованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае, можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ, деревню, где жил в

годы своего детства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки. Немало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежные требования, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего-навсего десять рублей — и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведении; а для Достоевского все это составляло несчастье, он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысячи рублей...

В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем, буинском, роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и в частности об Анне Петровне Буниной. Совсем недавно была и ее годовщина — столетие со времени ее смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, сведения о ней можно найти еще в одной давней статье, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы, да и то потому, может быть, что портрет ее еще доньше висит в стенах Академии Наук. Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина «занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России», а Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную бриллиантами, «для ношения в торжественных случаях»,

Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию, Российская Академия Наук издала собрание ее сочинений. Слава ее кончилась с ее смертью, и все-таки даже сам Белинский лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.

Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусова, в Рязанской губернии. Там и родилась она — в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трем ее братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе; младшие служили во флоте, причем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был определен шведским королем в Упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю А. П. выпала впоследствии большая честь — она стала членом Российской Академии наук. А меж тем первоначальное ее образование было более чем скудно, ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образования она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того как ее старший брат стал возить ее в Москву и ввел в круг своих друзей из литературного и вообще просвещенного общества. Тут она встретилась и сблизилась, между прочим, с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В последующее время на ее развитие имели большое влияние Н. П. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке». Она зачитывалась «Московским журналом», выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название «Беседы любителей русского слова». Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нем было двадцать четыре действительных и тридцать два почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем «Беседы» был Шишков, и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель ее была — «противодействие тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизнь подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления», — и весьма курьезно было то, что и сам Карамзин был ее членом.

Дальнейшую судьбу А. П. очень изменила смерть ее отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей шестьсот руб. годового дохода. Она была теперь свободна и

самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ее, Семенов, отправился в Петербург, А. П. упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ее был «весьма фразирован» этим, уговаривал ее отказаться от своего намерения — она все же от него не отказалась. В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам совсем необычно. Но ее ничуть не смутило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, «взяв к себе для услуг некую степенную женщину».

Добившись своего, она деятельно и с изумительной энергией принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив ее ум, вместе с тем и разорили ее материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение ее становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотворение ее, «С приморского берега», появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд нового и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое и вышло в свет под заглавием «Неопытная Муза». Издание это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной бриллиантами», а затем ежегодной пенсией в четыреста рублей в год. С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений, «Сельские вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затем она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданием, в двух томах. Это издание тоже имело большой успех. А двенадцатый год принес ей «высшие лавры»: тут она выступила с патриотическими гимнами, «снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей». Но это были уже по-

268

следние ее радости: вскоре после того у нее открылся рак в груди, который всю остальную жизнь ее превратил в непрерывную цепь страданий и наконец свел ее в могилу.

Было сделано все, чтобы спасти ее или хотя облегчить ее участь. И Двор и общество, почитавшее ее не только за ее поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены светила медицины, лично заботился о том, чтобы лечение ее было обставлено как можно лучше; для нее, за счет Двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались лекарства «из главной аптеки»; бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англию, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки ее принял на себя опять сам государь, «проводил ее Петербург с большим триумфом». Но и Англия не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как уехала. Прожила она после того еще двенадцать лет, но почти уже не писала, — только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трех книгах, снова награжденное от Двора, на этот раз пожизненной пенсией в две тысячи рублей. Жила она эти последние годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на Кавказских водах, всюду ища облегчения от своих страданий. «Рак в груди довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нее позе — на коленях». Так, на коленях, и писала она:

Любить меня иль нет, жалеть иль не жалеть
Теперь, о ближние! вы можете по воле...

Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрерывным чтением книг Священного писания. Скончалась 4 декабря 1829 года, в селе Денисовке, Рязанской губернии, у своего племянника Д. М. Бунина. Тело ее погребено в ее родном селе Урусове. На могиле ее, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный П. П. Семеновым-Тянь-Шанским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А. П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете:

«Дорогому Петеньке Семенову в чаянии его достославной возмужалости».

ЭРТЕЛЬ

Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, — за исключением, конечно, Чехова, — в некоторых отношениях даже больше.

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал:

«Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?

В этой же самой квартире он вскоре и умер — от разрыва сердца.

Через год после того вышли в свет семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем. К роману «Гарденины» было приложено предисловие Толстого. К письмам — его автобиография и статья Гершензона: «Мировоззрение Эртеля».

Толстой писал о «Гардениных», что, «начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз». Он писал:

«Главное достоинство, кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, — неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительный по верности,

красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик-дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком...»

Это знание народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля.

— Я родился, — говорит он, — 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма мало образованный, но любил читать, — преимущественно исторические книги, — и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философии; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности, и даже мечтательного романтизма...

— Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатные буквы. Затем мой крестный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварного театра в Париже, почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне, как к игрушке, рядила меня, кормила лакомствами. Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место — и я был обращен в «первобытное состояние». Тогда мы почти год

бедствовали на квартире у одного знакомого мужика, пока отец не снял в аренду хутор...

— Я пользовался совершенной свободой делать что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать когда и что захочу... Когда отец взялся «приучать меня к хозяйству», мне было тринадцать лет. Я в то время знал четыре правила арифметики, «Историю Наполеона», «Щоцея Бессмертного», «Путешествие Пифагора», «Стеньку Разина» Костомарова, второй том «Музея иностранной литературы», «Песни Кольцова», «Сочинения Пушкина», старинный конский лечебник, Священную историю с картинками, комедию Чадаева «Дон Педро Прокодуриате». Затем я самоучкой выучился читать по-церковному и несколько раз перечитал «Киевский Патерик» и несколько книг Четьи-Минеи... Лет шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина «О происхождении человека» и книжками «Русского слова», в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева...

— Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался запанибрата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил... Я был свой человек в застойной, в конюшнях, в деревне «на улице», на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ... Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом месте; и вскоре после того я занял должность конторщика в одном соседнем имении... Железную дорогу я увидел в первый раз, когда мне стало шестнадцать лет; Москву и Петербург — двадцати трех...

Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, «рвущегося к свету, к прогрессу»: новое знакомство с новым чудаком-купцом, который «посреди грязи и пошлости торгового люда» был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтению; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого «дикаря» и с которой вскоре завязался «книжный роман», кончившийся свадьбой; затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовой приданой жены именье и крушение этой попытки, — «я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своем маленьком», — и наконец переезд в Петербург (благодаря случай-

ному знакомству с писателем Засодимским, как-то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее «передовых» представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что у молодого писателя вскоре обнаружилось задатки чахотки, и с таким увлечением «передовыми» идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого «дикаря», быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златовратским. «Даже и в пору увлечения Засодимским, — говорит Эртель, — меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его — этому помогало мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованиями о его нужде, печалях, с увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства...»

Этот-то «здравый смысл» (если уж употреблять столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой, как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что «нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенции восьмидесятых годов». Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала (даже и внешне) чрезвычайно непохожа на такую: после Твери Эртель только временами жила в столицах или за границей, — он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва арендуя лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями (одно время даже сразу несколькими, разбросанными в целых девяти губерниях, то есть «целым царством», как писал он мне однажды).

Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явлением «замечательным», что мировоззрение его

«представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей». Сила мышления Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит «практическому разуму». Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явлений и действий. И вот этим-то и определялся характер его мировоззрения.

Все это мировоззрение есть ответ на двойственный вопрос: что позволяет сделать жизнь и чего она требует? Вопрос об изначальной силе, движущей мир, и о конечной цели этого движения Эртель оставлял без рассмотрения.

Он, однако, не был рационалистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью.

Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящие исключительно от воли «Великого Неизвестного, которого мы называем Богом», то есть на такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящие от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима.

Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществление ее, любил говорить: «В меру, друг, в меру!» — то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. Безусловное понимание добра и зла и условное действие в осуществлении первого и в борьбе с последним — вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедовал «умеренность и аккуратность»? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, «вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии». Он сам нередко жаловался: «Все не удается восстановить в своей жизни равновесия... То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрыгает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда...» И дальше (говоря о своем участии в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете): «Еще раз узнал, что могу, до самозабве-

ния, до полнейшего упадка сил, увлекаться так называемой общественной деятельностью...»

Он сурово осуждал русскую интеллигенцию, и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только «нервическим раздражением» или «лирическим отношением к вещам», бессилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а только форма проявления, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем — понимание исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, «который костью стал в горле господ Михайловских», без чего невозможна религиозная культура личности, а второе — глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил: «Всякие «Забытые слова» оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами... Несчастье нашего поколения заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, к философии, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль... Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен «дух», вера, истина, Бог... Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра... О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он отнюдь не менее горек, если истекает от «Феденьки», а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы «Феденьки» на месте Победоносцевых! Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которую вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом...»

«Мне думается, — писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, — я думаю, что раздать имение нищим — не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме имения, обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю...»

Вообще безусловное понимание истины и условное осу-

ществление ее — один из заветных тезисов Эргеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертва, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины. «Любить одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему...»

Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано — всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что «смысл всех земных страданий открывается там». В отрочестве он пережил пору страстного религиозного чувства. Затем эти чувства сменились «сомнениями, попытками утвердить, на месте все растущего неверия, веру в добро, в революционные и народнические учения, в учение Толстого... Но неизменно все перемещалось в моей натуре». Он во многом и навсегда остался «другом всяческих свобод» и вообще интеллигентом своего времени. И все-таки жизнь являлась ему «все в новом и новом освещении». Добро? Но оказалось, что слово это «звучало слишком пусто» и что нужно было «хорошенько подумать над ним». Народничество? Но оказалось, что «народнические грезы суть грезы, и больше ничего... Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам — это другое дело... Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления «царства Божия», предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт... Социализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? Там, где посадили простую, жалкую ветелку и ее выдернут просто «так себе» и где для сокращения пути на пять саженей проедут на телеге по великолепной ржи, — не барской, а крестьянской, — там может быть Разинщина*, Пугачевщина, все, что хочешь, но не социализм. А потом — что такое социализм? Жизнь, друг мой, нельзя ввести в оглобли! Революция? Но к революции в смысле на-

* В подлиннике опечатка: «Разовщина».

силія я чувствую органическое отвращение... В каждом революционном разрушении есть грубое разрушение не материального только, а святынь жизни... Да и что такое материальное? Истребление «Вишневых садов» озверелой толпой возмутительно, как убийство... Ведь еще Герцен сказал, что иные вещи несравненно более жалко терять, нежели иных людей... Толстой? Но всех загнать в Фиваиду — значит оскотить и обесцветить жизнь... Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое сопротивление злу, самоотречение до уничтожения личности... Сводить всю свою жизнь до роли «самаритянской» я не хочу... Не было бы тени — не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы! Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами...» Но идут годы — и что же говорит этот народолюбец? «Нет, никогда еще я так не понимал некрасовского выражения «любя ненавидеть», как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта... народ русский — глубоко несчастный народ, но и глубоко скверный, грубый и, главное, лживый, лживый дикарь... Считают, что при Александре Втором всячески погублено несколько тысяч революционеров, но ведь если бы дали волю «подлинному народу», он расправился бы с этими тысячами на манер Ивана Грозного... Безверие? Но человек без религии существо жалкое и несчастное... Золотые купола и благовест — форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе...» И вот — последние признания, незадолго до смерти:

«Страшные тайны Бога недоступны моему рассудочному пониманию...»

«Верую, что смысл жизненных страданий и смерти открывается там...»

«Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования...»

ВОЛОШИН

Максимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого и начала нынешнего века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции.

После его смерти появилось немало статей о нем, но сказали они, в общем, мало нового, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущего русского катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье А. Н. Бенуа, в «Последних новостях»:

«Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я «не совсем верил» ему, когда по выступлениям красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе... Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его «зевсоподобие», сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее... Он с удивительной простотой душевной не то «медузировал», не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических lamentаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей.

И сошло это, вероятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез...»

Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.

Помню его первые стихи,— судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его «влечения к словам»:

— Мысли с рыданиями ветра сплетаются,
Поезд гремит, перегнать их старается,
Так вот в ушах и долбит и стучит это:
Титата, тотата, татата, титата...

— Из страны, где солнца свет
Льется с неба, жгуч и ярк,
Я привез себе в подарок
Пару звонких кастаньет...

— Склоняясь ниц, овечьи ночи спяню,
Доверчиво ищу губами я
Сосцы твои, натертые полынью,
О мать-земля!

Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником «Весов», «Золотого руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторогого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо

олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно забывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику — и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином...

Помню встречу с ним в конце 1905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами, — при большом, кстати сказать, содействии Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время первого большевицкого восстания, Горький крепко сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не выходя из нее ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с ног до головы студентов-грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны крайних правых, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, — приятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова, еще летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии и произносившего монархические речи, затем Минского с его гимном: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и немало прочих. Волошин в «Борьбе» не печатался, но именно где-то тут, — не то у Горького, не то у Скирмунта, — услышал я от него тогда тоже совсем новые для него песни:

Народу русскому: я скорбный *Ангел Миценья!*
Я в раны черные, в распахнутую новь
Кидаю семена. Прошли века тернеья,
И голос мой — набат! Хоругвь моя, как кровь!

Помню еще встречу с его матерью, — это было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стриженными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о нем: что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя в Крыму, он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, (что) очень,

конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах... К этой поре относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведен в «Книге о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, — строки местами тоже довольно смешные:

«Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.

Я родился в Киеве 16 мая 1877 года, в *день Святого Духа*.

События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатление — Таганрог и Севастополь; сознательное бытие — окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерские железной дороги; отрочество — леса под Звенигородом; пятнадцати лет — Коктебель в Крыму, — самое ценное и важное на всю жизнь; двадцати трех — Среднеазиатская пустыня — пробуждение самопознания; затем Греция и все побережья и острова Средиземного моря — в них обретенная родина духа; последняя ступень — Париж — сознание ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лиль Адан, — Индия и Франция.

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назыву...

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырех...»

В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотворение из времен французской революции, где тоже немало ударно-эстрадных слов:

Это гибкое, страстное тело
Растоптала ногами толпа мне...

Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какого-то антропософского храма...

Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, — выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где

почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевицкой. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед и в писании стихов, и в чтении их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуту, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крепостных времен? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидел, что наружность его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего — не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в темной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно — так уже истерта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую.

Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

— Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики: Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!»

— Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. «Бог с ней, с политикой, давайте читать

друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта — сравнение его профиля с профилем лося.

Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

— Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем, — Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегаёт за разрешением на открытие этой школы, в пять минут написал для нее замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает».

— Одесские художники, тоже всячески стараюсь спасти, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: «Надо возвратиться к средневековым цехам!»

— Заседание (в Художественном кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организации профессионального союза». Оченьлюдно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегаёт, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, — ее шнур прицеплен к крючку накидки, — быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!».

— Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять минут вперед, после девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением и все говорит, говорит и все на самые высокие и трагические темы.

Между прочим, из его речей о масонах ясно, что он масон, — да и как бы он мог при его любопытстве и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое общество?

— Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того, «в жизни самое главное — искусство и оно вне политики». Волошин тоже загорается рвением украшать город, фантазирует, как надо это сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут непрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине *сокрыт страждущий Серафим*, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокаленные и просветленные лики...

— Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». — «В украшении чего? Собственной виселицы?» — Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования...

— Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать: «Не могут не напечатать, обещали, я был уже в редакции!» Но напечатали только одно: «Волошин устранен из первомайской художественной комиссии». Пришел к нам и горько жаловался: «Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»

— Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело утрясается и, как это часто бывает, через хорошенькую женщину. «У нее реквизировал себе помещение председатель Чека Северный, Геккер познакомила меня с ней, а она — с Северным». Восхищался и им: «У Северного кристальная душа, он многих спасает!» — «Приблизительно

одного из ста убиваемых?» — «Все же это очень чистый человек...» И, не удовольствовавшись этим, имел жестокую наивность рассказать мне еще то, что Северный простить себе не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко...

— Помогают Волошину пробраться в Крым еще и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немеца, который, по словам Волошина, тоже поэт, «особенно хорошо пишет рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную большевицкую миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немеца состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевицкого обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Все же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше — и притом с самыми серьезными, почти зверскими лицами — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивленная, не понимающая, в чем дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпатории:

«Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе,

день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевицкие знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до «командарма», который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнем: первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле, и делал его «Кагул», со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненного в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевицкие.

Кстати: первое издание «Демонов глухонемых» распространялось в Харькове большевицким «Центрагом», а теперь ростовский (добровольческий) «Осваг» взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле-месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для «Южного слова» два прошлогодних, лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольших статьи: «Пути России» и «Самогон крови». Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Се-

рафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с «Аввакумом».

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати, о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи — по три за строку. Это минимум, поэтому, если «Южное слово» за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле «Личины», стих.: «Матрос», «Красногвардеец», «Спекулянт» и т. д.), и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Это письмо было для меня последней вестью о нем.

Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был, но, повторяю, вел себя все же очень странно.

Вот девятнадцатый год: этот год был одним из самых ужасных в смысле большевицких злодеяний. Тюрьмы Чека были по всей России переполнены, — хватали кого попало, во всех подозревая контрреволюционеров, каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей на темные улицы, стаскивали с них обувь, платья, кольца, кресты, делили меж собою. Гнали разутых, раздетых по ледяной земле, под зимним ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарем... Минуту работал пулемет, потом валили, часто недобитых, в яму, кое-как заваливали землей... Кем надо было быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал:

Носят ведрами спелые гроздья,
Валят ягоды в глубокий ров...
Ах, не гроздья носят, юношей гонят
К черному точилу, давят вино!

Чего стоит одно это томное «ах!» Но он заливался еще слаще:

Вейте, вейте, снежные стихи,
Замечайте древние гроба!

То есть: канун вам да ладан, милые юноши, гонимые «к черному точилу»! По человечеству жаль вас, конечно, но что ж поделаешь, ведь убийцы чекисты суть «снежные, древние стихи»:

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихи,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильне мало,—
Господи, вот плоть моя!

Страшней всего то, что это было не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда «черное точило», — или, не столь кудряво говоря, Чека на Екатерининской площади, — весьма усердно «прокаляла толщу бытия», он часто читал мне стихи насчет то «снежной», то «обугленной» России, а тотчас после того свои переводы из Анри де Ренье, потом опять пускался в оживленное антропософическое красноречие. И тогда я тотчас говорил ему:

— Максимилиан Александрович, оставьте все это для кого-нибудь другого. Давайте лучше закусим: у меня есть сало и спирт.

И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он, несчастный, голодный, сало, совсем забывши о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае надобности.

«ТРЕТИЙ ТОЛСТОЙ»

«Третий Толстой» — так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождение по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых — граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нем редкой личной безнравственности (ничуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции, безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделенной к тому же большим художественным даром. Написал он в этой «советской» России, где только чекисты друг с другом советуются, особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным «советским» писателем, но еще и тем, что был он все-таки граф да еще Толстой. Недаром «сам» Молотов сказал на каком-то «Чрезвычайном восьмом съезде Советов»:

«Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской!»

Последние слова Молотов сказал тоже недаром: ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого «великим писателем земли русской».

В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец

своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки все прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь,— признак натуры упорной, настойчивой,— постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь «салоне» сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крикая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.

Был ли он действительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно,— например, так:

«А. Н. Толстой родился в 1883 году, в бывшей Самарской губернии, и детство провел в небольшом имении второго мужа его матери, Алексея Бострома, который был образованным человеком и материалистом...»

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году, в бывшей Самарской губернии...» Но где именно? В имении графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, где прошло его детство. Кроме того, полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой, так, точно он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россию. Сам он за все годы нашего с ним приятельства и при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношению ко мне, тоже никогда, ни единым звуком не обмолвился о графе Нико-

лае Толстом... За всем тем касаюсь я его родословной только по той причине, что, до своего возвращения в Россию, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им и в литературе и в жизни. Страсть ко всяческому житейским благам и к приобретению их настолько велика была у него, что, возвратившись в Россию, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас же принялся не только за писание гнусных сценариев, но и за сочинения пасквилей на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал «в долг» в эмиграции, и за нелепейшие измышления о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русские «белогвардейцы».

Совершенно правильны, вероятно, сведения о том, когда он родился и где прошло его детство. Но что было дальше? По свидетельству его советских биографий, снабженных его собственными автобиографическими показаниями, было вот что:

«В 1905 году, во время первой русской революции, Толстой писал революционные стихи. В следующем году, когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет...»

Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революционные стихи — и вдруг выпустил всего через год после того и как раз тогда, «когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нечто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов», которую потом будто бы стал скупать и жечь!

Однако, даже и такие биографические сведения ничто перед тем, что следует дальше:

«Первая мировая война поставила перед Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок...»

Поистине только в Москве можно лгать так глупо! Толстой — и «масса» вопросов, да еще «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов! А тут явились еще и новые, а кроме того, и «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать еще что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру; но иных что-то не помню.

«В великую Октябрьскую революцию Толстой растерялся... Уехал в Одессу, зиму прожил там. Весной 1919 г. уехал

в Париж. О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобиографии так: «Это был самый тяжелый период в моей жизни...» В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошел в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже... Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских расстрелов и расправ... Он писал на родине еще и сатирические картины нравов капиталистической Америки, о которых гениально писал и великий советский поэт Маяковский...»

Где все это напечатано? И на потеху кому? Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый мир», где сотрудничают значительнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: «Совершенное одичание белогвардейцев... Кошмары белогвардейских расправ и расстрелов...» Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого расстреливали? И почему французское правительство *смотрело* сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно, был все-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уже сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россию, где теперь никакие сапраны не превращают ее в тюремный лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не расстреливают, а Париж все еще существует, не вымер, несмотря на свое «предсмертное» веселье во времена пребывания в нем Толстого, и дошел в наши дни даже до гомерического разврата в весельи и роскоши: так по крайней мере утверждает некто Юрий Жуков, парижский корреспондент Москвы, напечатанный в другом московском ежемесячнике, в журнале «Октябрь», статью под заглавием «На западе после войны»: этот Жуков сообщает, что по большим парижским бульварам то и дело проходят францисканские монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, и с утра до вечера «фланируют завитые и напомаженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах». Этот Жуков и про меня зачем-то солгал: будто я «маленький, сухонький, со скрипучим голосом и с лицом рафинированного эстета». Когда-то в России говорили: «Врет как сивый мерин». Далекие наивные времена! Теперь, после тридцатилетнего, неустанного, ежедневного упражне-

ния «Советов» во лжи, даже самый жалкий советский Жуков сто очков дает вперед любому сивому мерину! Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время «первой русской революции» и первой мировой войны «массу» всяческих душевных и умственных терзаний, и о том, как он «растерялся» и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актерски, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть не рыдал Горький.

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «Мы, дети страшных лет России, забыть не можем ничего!» — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустьков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, — как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слышал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революции», да скоро бросил — то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-«богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до «декадентской» его книжки то я читал и,

насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, всегда приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман «Хождение по мукам», начатый печатаньем в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию, к большевицким требованиям, что все «белые» герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заядлыми «красными». Известно, кроме того, что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославления Сталина, затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуны, затем пасквильная повесть о парижских «акулах капитализма» из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием «Черное золото»... Что такое его «Сатирические картины нравов капиталистической Америки», я не знаю. Никогда не бывши в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горький, Маяковский... Горький съездил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусием назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, будто бы бывшего всегда ненавистным ему, Горькому. Горький дал такую картину этого будто бы «дьявольского города»:

«Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа. Улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дороги — огромные черви; локомотивы — жирные утки...»

После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы остано-

дивались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: «моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:

— Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он небрежно пробормотал в ответ:

— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и *сразу* сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружил с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, кричал над своей шубой, признавался мне:

— Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысынах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

— Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна с этаким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы... Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковский носит женскую жел-

тую кофту, Андреев и Шаляпин — поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», — а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!»

Так до самого захвата большевиками власти в октябре семнадцатого года были мы с ним в мирных приятельских отношениях, но потом два раза поссорились. Жить стало уже очень трудно, начинался голод, питаться мало-мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их — подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобие коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковский, Брюсов и прочие) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные, произнося все заборные слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся, и мы поругались. А затем появилось в печати произведение Блока «Двенадцать». Блок, как стало известно впоследствии, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до «февральской революции» так:

«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу. И в разреженном воздухе горький запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз...»

И еще так, столь же дьявольски поэтично:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал: — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут даже и для Блока все-таки определились вскоре цвет и запах нового «шквала», хотя и раньше не требовалось для этого особо зоркого зрения и обоняния. Тут царский период русской

истории кончился (при доброй помощи солдат петербургского гарнизона, не желавших идти на фронт), власть перешла к Временному Правительству, все царские министры были арестованы, посажены в Петропавловскую крепость, и Временное Правительство почему-то пригласило Блока в «Чрезвычайную Комиссию» по расследованию деятельности этих министров, и Блок, получая 600 рублей в месяц жалованья, — сумму в то время еще значительную, — стал ездить на допросы, порой допрашивал и сам и непристойно издевался в своем дневнике, как это стало известно впоследствии, над теми, кого допрашивал. А затем произошла «Великая октябрьская революция», большевики посадили в ту же крепость уже министров Временного Правительства, двух из них (Шингарева и Кокошкина) даже убили, без всяких допросов, и Блок перешел к большевикам, стал личным секретарем Луначарского, после чего написал брошюру «Интеллигенция и революция», стал требовать: «Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочинил «Двенадцать», написал в своем дневнике для потомства очень жалкую выдумку: будто он сочинял «Двенадцать» как бы в трансе, «все время слыша какие-то шумы — шумы падения старого мира». Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургем и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:

— Господа, вы знаете, что происходит в России на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, которые творит русский народ с начала февраля прошлого года, с февральской революции, которую все еще называют совершенно бесстыдно «бескровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чем не повинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слез вдов и сирот заливает русскую землю. Убивают все, кому не лень: солдаты, все еще бегущие с фронта ошалелой ордой, мужики в деревнях, рабочие и всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, еще в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, все еще продолжают убийства, бегут домой захватывать и делить землю не только

помещиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают все, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станций, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет... Из нашей деревни пишут мне, например, такое: мужики, разгромивши одну помещичью усадьбу, оципали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. В апреле прошлого года я был в имени моей двоюродной сестры в Орловской губернии, и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу, хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажег скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стал еще бешеной орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушел от нее. А вот на днях прибежал из Симферополя всем вам известный Н., — я назвал точно его фамилию, — и говорит, что в Симферополе рабочие и дезертиры ходят буквально по колена в крови, живьем сожгли в паровой топке какого-то старенького отставного военного. Не странно ли вам, что в такие дни Блок кричит на нас: «Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочиняет «Двенадцать», а в своей брошюре «Интеллигенция и революция» уверяет нас, что русский народ был совершенно прав, когда в прошлом октябре стрелял по соборам в Кремле, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толстопузый поп целые столетия водкой торговал, икая!» Что до «Двенадцати», то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, все сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опозлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому не понятных, литературно выдуманых символических, мистических стихов, он написал наконец нечто уже слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый, плоский трюк: он берет зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода

от голода, где нельзя выйти даже днем на улицу из боязни быть ограбленным и раздетым догола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, буйной солдатней, но ведь в конце концов все ее деяния святы разгульным разрушением прежней России и что впереди нее идет Сам Христос, что это Его апостолы:

Товарищ, винтовку держи, не трать!
Пальнем-ка пулей в Святую Русь,
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

Почему Святая Русь оказалась у Блока только избяной да еще и толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды поставившие не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением «грабить награбленное». И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным Собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржеем», над обывателем, над священником:

От здания к зданию
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному Собранию!»
А вон и долгополый —
Что нынче невеселый,
Товарищ поп?
Вон барыня в каракуле —
Поскользнулась
И — бац — растянулась!

«Двенадцать» есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И все это прежде всего чертовски скучно бесконечной болтливостью и однообразием все одного и того же разнообразия, надоедает несметными ай, ай, эх, ах, ах, ой, ой, тратата, трахтатах... Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное:

Буржуй на перекрестке
В воротник упрягал нос...
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос,

И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост...
Свобода, свобода;
Эх, эх, без креста!
Тратата!
А Ванька с Катькой в кабаке,
У ей керенки есть в чулке!
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,
Мою попробуй поцелуй!
Катька с Ванькой занята —
Чем, чем занята?
Снег крутит, лихач кричит,
Ванька с Катькою летит —
Электрический фонарик
На оглобелях...
Ах, ах, пади!

Это ли не народный язык! «*Электрический*»! Попробуйте-ка произнести! И совершенно смехотворная нежность к оглоблям, — «оглобельки», — очевидно, тоже народная. А дальше нечто еще более народное:

Ах, ты Катя, моя Катя,
Толстоморденькая!
Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла?

История с этой Катькой кончается убийством ее и истерическим раскаянием убийцы, какого-то Петрухи, товарища какого-то Андрюхи:

Опять навстречу несется вскачь,
Летит, вопит, орет дихач...
Стой, стой! Андрюха, помогай,
Петруха, сзади забегай!
Трахтахтахтах!
Что, Катька, рада? — Ни гугу!
Лежи ты, падаль, на снегу!
Эх, эх,
Позабавиться не грех!
Ты лети, буржуй воробышком,
Выпью кровушку
За зазнобушку,
Чернобровушку!
И опять идут двенадцать,
За плечами ружьеца,
Лишь у бедного убийцы
Не видать совсем лица!

Бедный убийца, один из двенадцати Христовых апостолов, которые идут совершенно неизвестно куда и зачем и

из числа которых мы знаем только Андрюху и Петруху, уже ревет, рыдает, раскаивается, — ведь уж так всегда полагается, давно известно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться:

Ох, товарищи родные,
Эту девку я любил,
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил!

«Ты лети, буржуй, воробышком», — опять буржуй и уж совсем ни к селу, ни к городу, буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, — а дальше кровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черные, хмельные — от этого то заборного, то сусального русского стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:

Из-за удали бедовой
В огневых ее очах,
Из-за родинки пунцовой
Возле правого плеча,
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча...
Ах!

В этой архирусской трагедии не совсем ладно одно: сочетание толстой морды Катьки с «бедовой удалью ее огневых очей». По-моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем кстати и «пунцовая родинка», — ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха!

А «под занавес» Блок дурачит публику уж совсем галиматфеей, сказал я в заключение. Увлечшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понес что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пес — опять пес! — и патологическое кощунство: какой-то сладкий Иисусик, пляшущий (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убийц:

Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос!

Как не вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, которого Мефистофель привел в «Кухню Ведьм»:

Кого тут ведьма за нос водит?
Как будто хором чушь городит
Сто сорок тысяч дураков!

Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, — большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюционер и т. д.

Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавием «Скифы», написанное («созданное», как неизменно выражаются его поклонники) тотчас после «Двенадцати». Сколько было противных любовных воплей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографического «узорного плата до бровей»! Но вот наконец весь русский народ точно в угоду косоглазому Ленину объявлен азиатом «с раскосыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам, Блок говорит от имени России не менее заносчиво, чем говорил от ее имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги») и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера:

Мильены — нас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы
С раскосыми и жадными очами!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перла,
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Да, так любить, как любит наша кровь,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Которая и жжет и губит!
Мы любим плоть — и вкус ее и цвет,
И душный, смертный плоти запах...
Винновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
Привыкли мы, хватая под уздцы
Играющих коней ретивых,
Ломать коням тяжелые крестцы
И усмирять рабынь строптивых...

В этих комических угрозах, в этой литературщине, которой я привожу лишь часть, есть кое-что совсем непонят-

ное, что значит, например, «копя и плава наши перла»? Все остальное что ни слово, то золото: тьмы азиатов, раскосые и жадные очи, вкус и смертный запах плоти, тяжелые, нежные лапы, хрустящие людские скелеты и даже ломаемые конские крестцы, хотя ломать их за игривость коней есть дело не только злое и глупое, но и совершенно невозможное физически, так что уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» — грубая подделка под Пушкина («Клеветникам России»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это ведь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря: нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время «создания» «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за все существование России, развалилась вся русская армия, защищавшая ее от немцев, и поистине «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, — «Попробуйте сразиться с нами!» — удирали с фронта во все лопатки, а всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест-Литовске знаменитый «похабный мир»...

Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно: за год до февральской революции я оказал большую услугу некоему приват-доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекции, ярому социал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольные революционные брошюрки, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станции Орша, за которой находились области оккупированные), и он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем зачем-то туда. Так мы и уехали из Москвы, — навсегда, как оказалось, — и какое это было все-таки ужасное путешествие! Поезд шел с вооруженной охраной, — на случай нападения на него последних удиравших с фронта «скифов» — по ночам проходил в темноте и весь затемненный станции, и что только было на вокзалах этих станций, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть «музыкой революции»!

В тот год власть большевиков простиралась еще на большую часть России, все остальное было или свободно или занято немцами, австрийцами и с их согласия и при их поддержке управлялось самострельно. В тот год уже шло

великое бегство из Великороссии людей всех чинов и званий, всякого пола и возраста — всякий, кто мог, бежал в еще свободную и неголодающую Россию. И вот оказался через некоторое время и Толстой в числе бежавших. В августе приехала в Одессу его вторая жена, поэтесса Наташа Крандиевская, с двумя детьми, потом появился и он сам. Тут он встретился со мной как ни в чем не бывало и кричал уже с полной искренностью и с такой запальчивостью, какой я еще не знал в нем:

— Вы не поверите,— кричал он,— до чего я счастлив, что удрал наконец от этих негодяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлично понимали, что орал я на вас на этом собрании по поводу идиотских «Двенадцати» и потом все время подличал только потому, что уже давно решил удрать и при том как можно удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой будем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскотинел русский народ, он не может не понимать, что творится! Я слышал по дороге сюда, на остановках в разных городах и в поездах, такие речи хороших, бородатых мужиков насчет не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберемся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне,— вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам,— Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной,— но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцию, потом в Болгарию, в Сербию и, наконец, во Францию чуть не через год после того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под большевиками, освобождены были Добровольцами Деникина,— его главная армия чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы,— но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут же навеки простились с Россией.

Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница-албанец, не знавший Черного моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русский моряк, заменивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бессмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской Академии), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», — сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помещение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море.

Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются.

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал «Грядущая Россия» (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашен редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо...»

В первом письме были еще такие строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажимать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов в 18—20. Написано — одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно — сценарий... Франция — удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом... Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия — всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе, — тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионе-

ры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех пририцах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников — Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей — Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу — в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но этого мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в несколькоких словах, каждым были приняты с отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстыми. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

— Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

— В какой суматохе?

— Ну я уж не знаю в какой; главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь — истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек, считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А, будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: приехав в Париж, встретил там старого

московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.

— Я не дурак, — говорил он мне, смеясь, — тотчас закупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны...

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение и выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

— Понимаете, какая дурацкая история вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодий, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да, к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:

«У нас нынче буйабез от Прьюнье и такое Пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком — выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:

— Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков, — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки,

вся в инее, — иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, — и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

— Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть «тительные» денежки — рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает — надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и передельваю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши...»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующие письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, — Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане, марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существ-

венное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на аванюре,— революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают; как никто. Большеви́зма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября,— все черное. Живем мы в пансионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем — Наташа с детьми в Фрейбург, я — в Мюнхен... Здесь всюду идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города девять месяцев: жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать — четырнадцать тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Зарботки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно,— меня поддерживают книги, но ты одной бы почасовой платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда,— не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около тридцати издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Очень значительна в этом письме строка: «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» Значит, он тогда еще и не думал о

возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне.

В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года, в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, — зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, — издали увидел меня и прислал мне с гарсоном ключок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой». Я встал и пошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закричал своим столь знакомым мне смешком и забормотал: «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» — спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

— Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, — меня ждали те, с кем я пришел в кафе, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече, и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского...

МАЯКОВСКИЙ

Кончая свои писательские воспоминания, думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь, — тут не в счет, конечно, только один Горький, пропаганда которого с его мировой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актерства, с гомерической лживостью и беспримерной неумолимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине «в планетарном масштабе». И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идиотской чрезмерностью оплатила Маяковскому за все его восхваления ее, за всяческую помощь ей в деле развращения советских людей, в снижении их нравов и вкусов. Маяковский превознесен в Москве не только как великий поэт. В связи с недавней двадцатилетней годовщиной его самоубийства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковского *воплоцилось* в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другие *долгие* дела. Десять пароходов «Владимир Маяковский» плавают по морям и рекам. «Владимир Маяковский» было начерчено на броне трех танков. Один из них дошел до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик «Владимир Маяковский» разил врага с воздуха. Подводная лодка «Владимир Маяковский» топила корабли в Балтике. Имя поэта носят: площадь в центре Москвы, станция метро, переулок, библиотека, музей, район в Грузии, село в Армении, поселок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три городских парка, школы, колхозы...» (А вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей советской России есть всего-навсего единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта».) Маяковскому пошло на пользу даже его самоубийство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намеком на что-то даже очень возвышенное:

Твой выстрел был подобен Этне
в предгорье трусов и трусих!

Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь ее действию, — обвалу, извержению... Но поелику Пастернак считается в советской России да многими и в эмиграции тоже гениальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам, и вот еще один пример тому из его стихов:

Поэзия, я буду клясться
тобой и кончу, прохрипев:
ты не осанка сладкогласца,
ты лето с местом в третьем классе,
ты пригород, а не припев.

Маяковский прославился в некоторой степени еще до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальные выходки в ту пору были очень плоски, очень дешевы, все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой грубости и дерзости. Вот его знаменитая желтая кофта и дикарски раскрашенная морда, но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаниям одного из его тогдашних приятелей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешаться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силен на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рева, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью:

— Желающие получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке, — он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушел в баню»...

Если бы подобная картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом захолустном русском городишке любой прохожий мещанин, взглянув на нее, только покачал бы головой и пошел дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак набитый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука все-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь

ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получить по морде, его немедленно выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну, а русская столичная интеллигенция все-таки забавлялась Маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом.

В день объявления первой русской войны с немцами Маяковский влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревет над толпой патриотическими виршами. Затем, через некоторое время, на нем цилиндр, черное пальто, черные перчатки, в руках трость черного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается та эпоха, о которой Горький незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в стране, освещенной гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина!» Воцарившись, Ленин, «величайший гений всех времен и народов», как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинках, проституции в виде «дополнения» к «святому искусству» вашему?»

«Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения...» Какой словесный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим художником слова». Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после этого:

«Так называемая «свобода творчества» есть барский анахронизм. Писатели должны непременно войти в партийные организации».

И вот Маяковский становится уже неизменным слугою РКП (Российской Коммунистической Партии), начинает буяннить в том же роде, как буянил, будучи футуристом: оратор, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затем — меня: твердо сказал на каком-то публичном собрании (по свидетельству Е. Д. Кусковой в ее статьях «До и после», напечатанных в прошлом году в «Новом Русском Слове» по поводу моих «Автобиографических заметок»):

«Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие.

Долой «Буниновщину» и да здравствуют передовые рабочие круги!»

Что именно требовалось, как «оружие», этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партией, которой он заменил все прочие «партийные организации»? Требовалась «фабрикация людей с материалистическим мышлением, с материалистическими чувствами», а для этой фабрикации требовалось все наиболее заветное ему, Ленину, и всем его соратникам и наследникам: стереть с лица земли и оплевать все прошлое, все, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, — ненависть к религии была у Ленина совершенно патологическая, — и самую зверскую классовую ненависть, перешагнуть все пределы в беспримерно похабном самохвальстве и прославлении РКП, неустанно воспевать «вождей», их палачей, их опричников, — словом, как раз все то, для чего трудно было найти более подходящего певца, «поэта», чем Маяковский с его злобной, бесстыдной, каторжно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить все то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и ее главарями, свою преданность им и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени все то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости. Он называл звезды «плевочками», он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своем путешествии по Кавказу, сообщил, что сперва *поплевал* в Терек, потом *поплевал* в Арагву; он любил слова еще более гадкие, чем плевочки, — писал, например, Есенину, что его, Есенина, имя «публикой *осоплено*», над Америкой, в которой он побывал впоследствии, издевался в том же роде:

Мамаша
грудь
ребенку дала.
Ребенок,
с каплями на носу,
сосет
как будто
не грудь, а доллар —
занят серьезным бизнесом.

Он любил слово «блевотина», — писал (похоже, что о самом себе):

Бумаги
гладь
облеживает
пером
концом губы поэт,
как блядь рублевая.

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидевшему золото, — Горький уже много лет тому назад свирепо назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, — он, Маяковский, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

Пока
доллар
всех поэм родовей,
лапя,
хапая,
выступает,
порфиру надев, Бродвей:
капитал —
его препохабие!

Горький посетил Америку в 1906 году, Маяковский через двадцать лет после него — и это было просто ужасно для американцев: я недавно прочел об этом в московской «Литературной газете», в почтенном органе Союза советских писателей, там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит «удивительная, подлинно великая книга» прозы и стихов Маяковского об Америке, что книга эта «плод пребывания Маяковского в Нью-Йорке» и что после приезда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться: в их страну приехал великий поэт революции!».

С такой же силой, с какой он устроил и разоблачил Америку, он воспевал РКП:

Мы
не с мордой, опущенной вниз,
мы — в новом, грядущем быту,
помноженном на электричество
и коммунизм...

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел:
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

Что совершалось под этим небом в пору писаний этих виршей? Об этом можно было прочесть даже и в советских газетах:

«3-го июня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5-го июня — 187. Граждане! Записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоедства бывший член Государственной думы Крылов, врач по профессии: он был вызван в деревню к больному, но по дороге убит и съеден».

В ту же пору так называемый «Всероссийский Староста» Калинин посетил юг России и тоже вполне откровенно засвидетельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другие хоронят, стремясь использовать в пищу мягкие части умерших».

Но что до того было Маяковским, Демьянам и многим, многим прочим из их числа, жравшим «на полный рот», носившим шелковое белье, жившим в самых знаменитых «Подмосковных», в московских особняках прежних московских миллионеров! Какое дело было Владимиру Маяковскому до всего того, что вообще совершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть? Разве не сказано, что «свинье неба во веки не видать»? Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колено в крови «революционный народ», затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его сподвижники. И вот Владимир Маяковский превзошел в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

Юноше, обдумывающему житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу, не задумываясь:
делай ее
с товарища Дзержинского!

Он, призывая русских юношей идти в палачи, напоминал им слова Дзержинского о самом себе, совершенно бредовые в устах изверга, истребившего тысячи и тысячи жизней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот отдает свою жизнь за других»

А наряду с подобными призывами не забывал Маяковский славословить и самих творцов РКП, — лично их:

Партия и Ленин
кто более
матери истории ценен?

Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб
и с выделкой стали
о работе стихов
от Политбюро
чтобы делал доклады Сталин.

И вот слава его, как великого поэта, все растет и растет, поэтические творения его издаются «громкими тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строку даже в одно слово гонорары самые что ни на есть высокие, он то и дело вояжирует в «гносные» капиталистические страны, побывал в Америке, несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нем довольно долгое пребывание, заказывал белье и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболее капиталистические, но «поплевал» и в Париже, — заявил с томной брезгливостью пресыщенного пшюта:

Я не люблю
парижскую любовь —
любую самочку
шелками разукрасьте,
потягиваясь, задремлю,
сказав «тубо»
собакам озверевшей страсти.

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всех Горький: пригласил его к себе на дачу в Мустаямки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-Позвоночник», и когда Маяковский кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

— Здорово, сильно... Большой поэт!

А всего несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда еще в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковского из русской и всемирной литературы отброшены последними годами в далекое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новосельи» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма известным своими работами по изучению «Слова о Полку Игореве», — он, русский по происхождению, когда-то учившийся в одной гимназии с Маяковским в Москве, был спер-

ва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и наконец получил кафедру в Харвардском университете, лучшем в Америке.

Не знаю, кто «тужился» развенчать Маяковского, — кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно беспокоится: относительно всемирной литературы он, конечно, слегка зарпортовался, рядом со «Словом о Полку Игореве» творения Маяковского навряд будут в ней, но в будущей, свободной истории русской литературы Маяковский будет, без сомнения, помянут достойно.

ГЕГЕЛЬ, ФРАК, МЕТЕЛЬ

Революционные времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят, — плачущий считается преступником, «врагом народа», в лучшем случае — пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата ее большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русский «революционный народ» уже весной 1917 года и особенно в уездных городах и в деревнях, — я в ту пору приехал в имение моей двоюродной сестры в Орловской губернии — рассказал, между прочим, что в одном господском имении под Ельцом, мужики, грабившие это имение, ощипали догола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда попало с отчаянными воплями, и получил за этот рассказ жестокий нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее Слово», Павла Юшкевича, напечатанного в ней в назидание мне такие строки:

«К революции, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мерилom и пониманием уголовного хроникера, оплакивать ваших павлинов — мещанство, обывательщина. Гегель недаром учил о разумности всего действительно-го!»

Я ответил ему в одесской добровольческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума, и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю, и что мне все-таки жаль елецких павлинов: ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утешиться...

Все это я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ею, мы стали наконец (в начале февраля 1920 года) эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма ощипанными павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежние, мирные года. Теперь, словно нарочно, попал в него тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, все было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красоте его весенних дней, веселым, шумным, приветливым; теперь он казался нищим,

был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега, мокрый, резкий ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупацией союзников, их презрительной властью над ними, грустны и ласковы только с нами, русскими беженцами, еще более бесправными, чем они, а несчастными уже до последнего предела, во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те константинопольские дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мне от всего пережитого в России за три последних года. Но материальное положение наше не внушало радости: и мне, и Н. П. Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополе, надо было искать прочного прибежища и средств к существованию в какой-нибудь славянской стране, — в Софии, в Белграде, в Праге, — где эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и первого поезда, — они были тогда еще очень редки после всех тех разрушений, что произвела четырехлетняя война и в Европе, и на Балканах, — мы уехали из Константинополя в Софию. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положении наших дел и на фронте и в тылу одесской области, должен был поэтому посетить и Белград, — это давало мне к тому же надежду как-нибудь устроиться там, — но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софии. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Черном море, было тоже чудом.

Болгария была оккупирована тогда французами, и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софии многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселили там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных, заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось — для меня — вот чем. За несколько дней до нашего отъезда из Софии я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и там просидел почти до рассвета, — ни хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств:

— Арестую, если вздумаете уходить!

Так и вернулся я домой, — только на рассвете и не совсем трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и толь-

ко часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рысса, человека очень обидчивого, и что лекция эта должна была начаться в девять утра, — в Софии публичные лекции доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в ее, как раз напротив моего; минут через десять вернулся в свой — и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось все наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла, — на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, — так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть, который час, — я благоразумно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по темной и пустынной Софии, — и, посмотрев, бросил чемодан незапертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако, судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, — почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, кто-то, уж не помню, кто именно, принес нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше чем за минуту перед его появлением на эстраде под ней взорвалась какая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вероятно, сидел бы и я, — было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичок», как все его звали, желтоволосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной — его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как назвал ее болгарский сыщик, посланный арестовать и ее, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, — так был перепол-

нен в ту пору Белград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербь помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие еще были у некоторых из нас, на девятьсот динар каждый, меняя, однако, только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой, заседавший в нашем посольстве. И вот я пошел к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение, — разменять не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал:

— Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

— Так точно, — ответил я.

— А из какой именно вы академии?

Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог:

— Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне.

Он покраснел и резко отчеканил:

— Все же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волнения, что мог получить еще девятьсот на жену, и вышел из посольства, совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо постоял на тротуаре и уже хотел брести в свой вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

— Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной, касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той двоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имени которой, в селе Васильевском, я подолгу живал многие годы — вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые

неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем, в своем роде довольно замечательных:

— Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

— Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

— Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в ломотях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.

— Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь: вхожу, а он, весь трясясь, выгребает ее пальцами из баночки и жрет.

— На днях один из жильцов нашего дома пошел к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, — тот стоял в дверях. «Скажите, пожалуйста, который час?» Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушел. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть касаясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку... Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажатая записка: «Царствию Ленина не будет конца».

— Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталья Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы». Приехала Машка, — помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь васьильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную веревками, на которой сидел ее мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в Художественный театр — смотреть «Синюю птицу»...

— Сдин наш знакомый, очень известный ученый, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена

его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населенном мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

— Во дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, живет какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! — сказал он. — Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбезное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тепел, весь в застежках. Ему сносу не будет!»

— Стали появляться в Москве и другие наши земляки. На днях явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться со своим барином», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с желтым и опухшим от голода лицом. Все плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, просил устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебущка куплю!» Под вечер ушел с этим мешком на вокзал, на прощанье поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными, мокрыми губами и усами.

— Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, о писателях-эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвцы!»

— Писатель Малашкин, шестипалый, мещанин из Ефремовского уезда. Говорит: «Я новый роман кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихийно, темпераментно!»

— Писатель Романов — мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клош», черные лайковые перчатки, застегнутые на все пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Само мнение адское, замыслы грандиозные: «Пишу трилогию

«Русь», листов на сто будет!» К Европе относится брезгливо: «Не поеду, скучно там...» Писатель Леонов, гостивший у Горького за границей, тоже скучал, все говорил: «Гармонь бы мне...»

— Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, «квартирует» в избе Красовых, метет и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто ж ее теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремовым Тульской губернии, в мужицкой полуразрушенной избе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин. Когда-то у него было небольшое имение, которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведения и о нем:

— Ты, вероятно, не знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живет в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несет в метель снегом... Живет тем, что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и босяка. Васька заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке, — фрак и цилиндр достались ему при грабеже имения ваших родственников Трухачевских, — и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами...

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтические строки относительно какой-то мистической метели:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

Древний образ в черной раке,
Перед ней подлец во фраке,
В лентах, в звездах, в орденах...

Когда «шквал» пришел, фрак достался Ваське Жохову, изображенному моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звезд, орденов Васька тогда еще не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил я и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и за портреты васек жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды за чем-то, — верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, — в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич, умер в Москве: нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещен был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Марья Алексеевна умерла при большевиках от нищеты и чехотки в Ростове-на-Дону...

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:

— Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населен, как и всюду, мужицкими семьями, жизнь в нем теперь вполне дикарская, первобытная, грязь не хуже, чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох...

А затем пришло уже такое сообщение:

— Васильевское и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берез на валах, ни твоего любимого старого клена...

«Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, — как она умеет одеваться, как страстно увлекается «изяществом» Вронского, как нагло и мило обманывает мужа, — Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, ибо

обоим она служит своим телом, «изящным, культурным» телом... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны... А ведь граф Толстой даровитый писатель...»

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В шестидесятых годах, да и в семидесятых, не один болван, ненавидевший «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привел? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках? Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в семидесятых годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный — превосходный, я верю ему, как тому, что в небесах есть солнце».

НОБЕЛЕВСКИЕ ДНИ

Девятого ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени...

Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление — пойду в синема.

Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видимое в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:

— Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба...

В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме.

Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:

— Телефон из Стокгольма...

И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь.

Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью... Какой-то перелом в моей жизни...

Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, — отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов... Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами...

— Как давно вы из России?

— Эмигрант с начала двадцатого года.

— Думаете ли вы теперь туда возвратиться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?

— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской академии?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

— Думаю, что за совокупность всех моих произведений.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Вööк, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже, может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.

— Вы уже бывали в скандинавских странах?

— Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же оставлял на будущее время...

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным...

В ночь с третьего на четвертое декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купе первого класса — сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим! Далеко за полночь, мы уже в Германии. Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним. И, вырываясь из-под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоские равнины, траурно-пестрые от снега, какие-то оснеженные деревья...

Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору — окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховые шапки, шубы — как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердце!

Вечером наш поезд ставят на пароход «Густав V» и медленно направляют к берегам Швеции. Снова интервью, снова вспышки магния... В Швеции мой вагон буквально осаждается толпой фотографов и журналистов... И только поздней ночью остаюсь я наконец опять один. За окнами чернота и

белизна — сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это, вместе с жарким теплом купе, совсем как ночи когда-то на Николаевской дороге...

Раздача премий лауреатам ежегодно происходит всегда десятого декабря и начинается ровно в пять часов вечера.

В этот день стук в дверь моей спальни раздается рано, с вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскрываю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче: день самый главный. На часах всего восемь, северное утро едва брезжит, еще горят фонари на набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всеми своими башнями, церквями и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закате и на рассвете. Но я должен начать день нынче рано: десятое декабря — дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить вейки и на его могилу, и на могилу недавно умершего племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемонии, которая ждет меня нынче вечером, возбуждает...

Официальное приглашение на торжество рассылается лауреатам за несколько дней до него. Оно составлено (на французском языке) в полном соответствии с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы:

«Господа лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для получения Нобелевских премий 10 декабря 1933 г., не позднее 4 ч. 50 м. дня. Его Величество, в сопровождении Королевского Дома и всего Двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премию, ровно в 5 ч., после чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество».

Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня — из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фракной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в мире?

В половине пятого мы едем.

Город в этот вечер особенно блещет огнями, — и в честь лауреатов, и в ознаменование близости Рождества и Нового года. К громадному «Музыкальному Дому», где всегда происходит торжество раздачи премий, течет столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шофер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем: нас спасает только то, что полиция, при виде кортежа лауреатов, которые всегда едут в таких случаях друг за другом, задерживает все прочие автомобили.

Мы, лауреаты, входим в «Музыкальный Дом», со всей прочей толпой, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадном зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов.

Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен народом: сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и бриллиантах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, Шведская Академия, члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды с эстрады возвещают фанфарами появление Монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющим отсюда-то сверху, и Монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду.

Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду последним. Меня выводит Пер Гальстрем, непременный секретарь Академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством зала и тем, что, при появлении с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и сам Монарх со всем своим Двором и Домом.

Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами. Правую сторону ее занимают кресла академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжествен-

но-неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага: обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывести для меня флаг советский заставила организаторов торжества ограничиться ради меня одним, — шведским. Благородная мысль!

Открывает торжество председатель Нобелевского Фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля, — в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с Нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига.

Григ один из наиболее любимых мною композиторов, я с особым наслаждением услышал его звуки перед докладом обо мне Пера Гальстрема.

Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мне по-французски:

— Иван Алексеевич Бунин, благоволиите сойти в Зал и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской Академией.

В наступившем вслед за тем глубоком молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к Королю, вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что Он мне скажет и что я Ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склонясь перед Ним, я ответил по-французски:

— Государь, я прошу Ваше Величество соблаговолиить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности.

Слова мои потонули в рукоплесканиях.

Король чувствует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же десятого декабря, почти тотчас по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевский Комитет.

На банкете председательствует кронпринц.

Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены Академии, весь Королевский Дом и двор, дипломатический корпус, художественный мир Стокгольма и прочие приглашенные.

К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.

Мое место рядом с принцессой Ингрид, — ныне она датская королева, — напротив брата короля, принца Евгения (кстати сказать, известного шведского художника).

Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.

Затем наступает черед говорить лауреатам.

Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.

Радиоприемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе.

Вот точный текст той речи, которую произнес я по-французски:

— Ваше Высочество, Милостивые Государыни, Милостивые Государи.

Девятого ноября, в далекой дали в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской Академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачить этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, — совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только

о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской Академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.

И еще несколько слов — для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш Королевский Дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского Королевского Дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его Величество Король, Король-Рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской Академии, выразить Ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства.

СТАТЬИ

СТРАШНЫЕ КОНТРАСТЫ

Можно ли придумать более страшные контрасты: Тургенев и современная русская литература, годовщина тургеневского рождения — и годовщина так называемого большевизма, сделавшего родину Тургенева позором всего человечества! Можно ли говорить о Тургеневе при наличии таких контрастов!

В русской литературе уже давно началось и прочно водворилось нечто подобное тому, что ныне происходит в русской жизни. Литература Пушкина, Толстого, Тургенева за последние десятилетия так низко пала,— до того, что в ней считаются событием даже нарочито хамские, кощунствующие именем Христа и Его Двенадцати Сподвижников вирши Блока! — настолько потеряла ум, вкус, такт, совесть и даже простую грамотность, так растлила и втоптала в грязь «великий, правдивый язык», завещанный Тургеневым, что для меня достаточно было бы и одного этого, чтобы встретить тургеневский юбилей только стыдом и молчанием. Но говорить о Тургеневе в это ни с чем не сравнимое время, когда Бог привел мне видеть подтверждение моих дум о русском народе в такой ужасной мере, говорить о великом и прекрасном русском поэте и вспоминать наряду с этим 28 октября прошлого года, когда русский народ, с радостным остервенением бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги наемных разбойников, жег и громил из пушек свою собственную Москву, свой собственный Кремль, говорить, еще чувствуя на глазах горечь тех слез, которыми я плакал в Орше, оставив за собой развалины России, праздновать тургеневскую годовщину в дни, когда там, на этих развалинах, тоже празднуют,— сразу две годовщины! — праздновать совместно с Троцким, Лениным, Петерсом и Горьким, который, может быть, в эту минуту, ломая роль «фанатика», произносит среди человеческих и лошадиных трупов пламенные речи о пользе просвещения и щедро оделяет томиками «социализированного» Тургенева — победоносный русский демос, тот самый демос, который уже осквернил могилу Толстого, сжег дом Пушкина, в прах разнес родовое тургеневское

гнездо, а теперь спокойно дерет окровавленными лапами эти самые томики на сигарки, — нет, говорить и праздновать в эти окаянные дни уже совсем выше моей силы.

«ИЗ «ВЕЛИКОГО ДУРМАНА»

...Случилось то, чему нет имени на человеческом языке, но что должно было случиться, повторилось уже не раз бывалое, только в небывалых еще размерах.

Первого мая текущего года, в Москве, в так называемой «советской» России, достигшей к этому времени < >*

первый номер «Коммунистического интернационала». На обложке красуется, конечно, обычный лубок, самым площадным образом наляпанный земной шар, весь опутанный железными цепями, и фигура яростно размахнувшегося на эти цепи молотом рабочего, конечно, голого, конечно, только в кожаном переднике, конечно, с геркулесовскими мускулами, — а в тексте можно прочесть потрясающее по своему бесстыдству заявление Горького «пролетариату всего мира», что Россия «творит ныне великое, планетарное дело», а вторых, такие душу раздирающие своей грубостью строки:

— «Цари и попы, старые владыки Кремля, никогда, надо полагать, не предчувствовали, что в его седых стенах соберутся представители самой революционной части современного человечества. И, однако, это случилось, крот истории недурно рыл под Кремлевской стеной».

Строки эти принадлежат одному из главнейших представителей «рабоче-крестьянской власти», царствующей в Кремле, — о, Бог мой, эта власть — какая это стократная нелепость, какой архииздевательский хохот над одурманенной, черту душу продавшей Россией! — строки принадлежат Троцкому и звучат, как видите, очень уверенно. Однако, только в одном прав Троцкий: подлый зверь, слепой, но хитрый и когтистый крот в самом деле не дурно рылся под Кремль, благо почва под ним еще рыхлая, — в остальном Троцкий ошибается. Старые владыки Кремля, его законные хозяева, его кровные отцы и дети, строители и держатели русской земли, в гробах перевернулись бы, если бы слышали Троцкого и знали, чью сделали над русской землей его

* Пропуск строки в подлиннике (А. Б.).

сообщники; несказанна была бы их боль при виде того, что совершается в стенах и за стенами Кремля, где по развеселому восклицанию одного нынешнего московского поэта,

Из опрокинутой лоханки,—
Как вода в бане,
Кровь, кровь хлещет,

невыразимый ужас охватил бы этих царей и «попов» при виде того гигантского кровавого балагана, в который превращена Россия, но думаю все-таки, что предчувствовать всяческие новые беды и позорища, которые еще много раз могут поразить их несчастную родину, они не только могли, но и должны были. Они знали и помнили о страшных и многократно повторявшихся на Руси днях всяческих смут, усобиц, «свар», «нелениц», когда, по слову летописца,— как будто о наших днях говорящего,— когда «земля сеялась и росла усобицами», когда «редко звучал голос земледельца, но часто каркали вороны, деля меж собой трупы, ибо сказал брат брату: это мое, а это мое же, а поганые со всех сторон приходили на них с победами, и стонал тугою Киев, а Чернигов напастями...». Цари и «попы» многие могли предчувствовать, зная и помня летописи русской земли, зная переменчивое сердце и шаткий разум своего народа, его и слезливость и «свирепство», его необозримые степи, непроходимые леса, непролазные болота, его исторические судьбы, его соседей, «жадных, лукавых, немилосливых», и его «младость» перед ними, его всяческую глушь и дичь и его роковую особенность: кругами совершать свое движение вперед,— знали, словом, все то, от напасти чего все-таки спасали его «цари и попы», подвижники и святители московские, радонежские, саровские, соловецкие,— все то, что заставило Грозного воскликнуть: «аз есмь зверь, но над зверьми и царствую!» — все то, что еще слишком мало изменилось до наших дней, да и не могло измениться по щучьему веленью при всех этих степях, лесах, топях и за такой короткий срок, который насчитывается настоящей русской государственности.

«Цари и попы!» Вот мы так действительно не предчувствовали долженствующего случиться. А случился, опять случился именно тот Пушкинский бунт, «жестокий и бесмысленный», о котором только теперь вспомнили, повторилось уже бывалое, хотя многие и до сих пор еще не понимают этого, сбитые с толку новым и вульгарно-нелепым словом «большевизм», мыслят совершившееся как что-то

еще невиданное, в прошлом имеющее только подобие, чувствуют его как нечто такое, что связано с изменяющейся будто бы мировой психикой, с движениями того самого европейского пролетариата, который несет будто бы в мир новую прекрасную религию величайшей гуманности и в то же самое время требует «невмешательства» в непрерывное и гнуснейшее злодеяние, которое творится среди бела дня в двадцатом веке, в христианской Европе.

История повторяется, но нигде, кажется, не повторяется она так, как у нас, и не Бог весть сколько оснований давала ее азбука для розовых надежд. Но мы эту азбуку сознательно и бессознательно запомнили.

Один орловский мужик сказал мне два года тому назад удивительные слова:

— Мы, батюшка, не можем себе волю дать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хорош, добер, пока мне воли не дашь. А то я первым разбойником, первым грабителем, первым вором, первым пьяницей окажусь...

Что это, как не первая страница нашей истории? «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет... растащите нас, а то мы перегрызем друг другу горло... усмирите нас — мы слишком жестоки при всем нашем прекраснодушии и малодушии... введите нас в оглобли сохи и принудите нас пролагать борозды, ибо иначе наша богатейшая в мире земля зарастет чертополохом, ибо мы зоологической трудоспособности... словом, придите и владейте нами, в нас все зыбкость, все черезполосица... мы и жадны — и нерадивы, способны и на прекрасное, на высокое — и на самое подлое, низменное, обладаем и дьявольской недоверчивостью — и можем быть опутаны нелепейшей, грубейшей ложью, заведены в какую угодно трясины с невероятной легкостью...» Вот наше начало, а дальше что? А дальше Васька Буслаев, горько на старости кающийся, что уж слишком было много смолоду «бито и граблено»:... А дальше «великие российские революции»: удельные вековые смуты, московские вековые смуты, лже-вожди, лже-цари из последних ярыг и бродяг, перед которыми при истушпленных криках радости и колокольных звонах окарачь ползли и над растерзанными трупами которых так истушпленно и гадко измывались потом... Дальше несметные украинские побоища и зверства, кровавый хам Разин, которого буквально боготворили целые поколения русской интеллигенции, страстно жаждавшей его второго пришествия, той заветной поры,

«как проснется народ...». Дальше, говорю, все то же: шатание умов и сердец из стороны в сторону, саморазорение, самоистребление, разбои, пожарища, разливанное море разбитых кабаков, в зельи которых ошалевшие люди буквально тонули порой, «захлебываясь до смерти», а наутро — тяжелое похмелье и приступы лютой чувствительности, слезы покаяния перед святынями, вчера поруганными, «поклоны» перед Красным Крыльцом отрубленными головами лже-царей и лже-атаманов, — помни, помни это, «самая революционная часть человечества», засевшая в Кремль!

Вот невольно, только что пережив и еще не изжив все то, что творилось вчера и творится еще и нынче на Украине, в колыбели славянской души, невольно вспоминаешь Хмельницкого и его сподвижников: что это было? А вот прочтите по складам: «Холопы собирались в шайки, до тла разрушали гнезда и богатых, и бедных, уничтожали целые селения, грабили, жгли, резали, надругались над убитыми и посаженными на кол, сдирали с живых кожу, распиливали их пополам, жарили на углях, обливали кипятком, самое же ужасное остервенение выказывали к иудеям: на свитках торы плясали и пили водку, вырывали у младенцев внутренности и, показывая кишки родителям, с хохотом спрашивали: «Жид, это трефное?» — Вот что было. Мы же сваливали все погромы только на царя, да на его «сатрапов и приспешников». А сам Хмельницкий? «Он то постился и молился, то без просьбу нил, то рыдал на коленях перед образом, то пел думы собственного сочинения, то был очень слезлив, покорен, то вдруг делался дик и надменен...» А сколько раз менял он свои «ориентации», сколько раз нарушал клятвы и целование креста, с кем только не соединялся!

Вот Емелька и Стенька, мятежи которых, слава Богу, даже уже начали ставить в параллель с тем, что совершается, все еще не осмеливаясь, однако, делать из этого должных выводов. Снова разверните и прочтите читанное в свое время, может быть, невнимательно: «Стенькин мятеж охватил всю Россию... поднялось все язычество», — да, да, пусть не бахвалятся Троцкие и Горькие своей «красной» Башкирией, это «планетарное дело» уже было, было и до «третьего интернационала!» — «поднялись зыряне, мордва, чувашаи, черемисы, башкиры, которые резались и бунтовали, сами не зная, за что бунтуют они. По всему московскому государству, вплоть до Белого моря, шли «прелестные письма Стеньки, в которых он заявил, что идет истреб-

лять бояр, дворян и приказных, всякое чиновачалие и власть, учинить полное равенство...». Все взятые Стенькой города обращались в «казачество», все имущество этих городов «дуванилось» между казаками Стеньки, а сам Стенька каждый день был пьян и обрекал на смерть всякого, кто имел несчастье не угодить «народу»: «тех резали, тех топили, иным рубили руки и ноги, пуская потом ползти и истекать кровью, неистовствовали над девственницами, ели, подражая Стеньке, мясо в постные дни и силою принуждали к тому всех прочих...» А сам Стенька «был человек своенравный и непостоянный, то мрачный и суровый, то бешеный, некогда ходивший пешком на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, а потом отвергший посты, таинства, осквернявший церкви, убивавший собственноручно священников... Жестокий и кровожадный, он возненавидел законы, общество, религию,— все, что стесняет личное побуждение... сострадание, честь, великодушие были не знакомы ему, мстью и завистью было проникнуто все существо его...». А все «воинство» Стеньки состояло из беглых, воров, лентяев,— всей той гольтыбы, которая называла себя казачеством, хотя природные казаки Дона не терпели их, называли их «казаками воровскими». И всей этой сволочи и черни, которую уловлял Стенька в свои сети посулами, он обещал во всем полнейшую волю и полное с собой равенство, а на деле забрал ее всю в полную кабалу, в полное рабство: малейшее ослушание наказывал смертью истязательной, всех величал братьями, а все падали ниц перед ним...». Бог мой, какое разительное сходство с теперешним разбоем, чинимым во имя будто бы «третьего интернационала», хотя, конечно, Стенькина власть была все-таки в тысячу раз естественнее нынешней «рабоче-крестьянской власти», самой противоестественной и самой нелепой «нелепицы» русской истории, хотя, конечно, «правительство» Стеньки,— все эти Васька Ус, Федька Шелудяк, Алешка Каторжный,— было все-таки во сто раз лучше нынешнего «рабоче-крестьянского правительства», засевающего в Кремль и в отель «Метрополь»!

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

У знакомых — только что полученное из Москвы письмо. Между прочим в нем сообщается: среди прочих плакатов, в несметном количестве продолжающих наводнять Совдепию,

появился недавно еще один, — новое произведение Московских правителей и придворных художников их, поистине символическое: изображен огромный костяк, — смерть, — а у ног этого костяка — огромная вошь, которой он пожимает своей дланью одну из клешней. Подпись под этой жуткой гнусностью гласит:

— Граждане! Блюдайте чистоту!

«И в это-то время, прибавлено в письме, когда мы, уже давным давно забывшие, что такое баня, спящие в тех же грязных лохмотьях, в которых сидим и весь день, все разím псиной и когда кусок мыла стоит у нас пять тысяч рублей».

* * *

Погиб целый народ — калмыки. В прошлом году при Деникине работала комиссия по расследованию большевистских злодеяний, состоявшая из видных общественных и судебных деятелей и собравшая богатейший и достовернейший материал, который частично привезен на днях в Париж.

Я видел прибывшего вместе с этим материалом приятеля, ближайшего сотрудника этой комиссии, известного земского деятеля и писателя. Он между прочим говорит:

— Нам документы давал главным образом, конечно, лишь юг России. Но и этого было слишком достаточно, чтобы просто в тупик стать перед той картиной, которая развертывалась перед нами за нашей работой. Взять хотя бы один уголок этой огромной и страшной картины — тот отдел наших документов, который касается религиозных кощунств, религиозных гонений и мученичества верующих и священнослужителей. Я убежден, что еще мало кто отдает себе ясный отчет, что сделано большевиками, вот хотя бы в этой области. С трудом верится, а меж тем это факт, что Россия двадцатого века христианской эры далеко оставила за собой Рим с его гонениями на первохристиан и прежде всего по числу жертв, не говоря уже о характере этих гонений, неопишуемых по мерзости и зверству. А что до калмыков, о которых я давеча упомянул, то, выражаясь фигурально, на моих глазах произошла почти полная гибель этого несчастного племени. Как известно, калмыки — буддисты, жили они, кочуя, скотоводством. Когда пришла наша «великая и бескровная революция» и вся Россия потонула в повальном грабеже, одни только калмыки остались совершенно непричастны ему. Являются к ним агитаторы с самым настойчивым призывом «грабить награблен-

ное» — калмыки только головами трясут: «*Бог этого не велит!*» Их объявляют контрреволюционерами, хватают, заточают — они не сдаются. Публикуются свирепейшие декреты — «за распространение среди калмыцкого народа лозунгов, противодействующих проведению в жизнь революционной борьбы, семьи виновных будут истребляемы поголовно, начиная с семилетнего возраста!» — калмыки не сдаются и тут. «Революционное крестьянство захватывает земли, отведенные некогда царским правительством для кочевий калмыков, для их пастбищ», — калмыки принуждены двигаться куда глаза глядят для спасения скота от голодной смерти, идут все к югу и к югу. Но по дороге они все время попадают в полосы военных действий, в «сферы влияния» большевиков — и снова лишаются и собственных жизней и скота — рогатый скот и отары их захватываются и пожираются красноармейцами, косяки лошадей отнимаются для нужд красной армии, гонятся куда попало — к Волге, к Великороссии и, конечно, гибнут,дохнут в пути от голода и беспризорности. Так, изнемогая от всяческих лишений и разорения, скучиваясь и подвергаясь разным эпидемиям, калмыки доходят до берегов Черного моря и там останавливаются огромными станами, стоят, ждут, что придут какие-то корабли за ними, — и мрут, мрут от голода, среди остатковдохнувшего скота... Говорят, их погибло только на черноморских берегах не менее пятидесяти тысяч! А ведь надо помнить, что их и всего-то было тысяч двести пятьдесят. Тысячами, целыми вагонами доставляли нам в Ростов и богов их — оскверненных, часто на куски разбитых, в похабных надписях Будд. От жертвенников, от кумирней не осталось теперь, может быть, ни единого следа...

*ЕГО ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ**

...Думая о Нем и о той беспросветной тьме, что заступила уже все пути наши, развернул Библию, — делаю это теперь особенно часто, — и взгляд упал на 79 псалом:

— «Боже, пришли язычники в наследие Твое, осквернили храм Твой, превратили Иерусалим в развалины, отдали труны рабов Твоих в пищу птицам небесным, тела святых

* Напечатано в газете «Общее дело» под заглавием статей различных авторов: «Памяти адмирала А. В. Колчака».

Твоих — зверям земным... Боже, мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас... Пусть скорее встретит нас милосердие Твое, ибо мы весьма изнурены... Пусть придут перед лицо Твое вздохи узников, силою мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть...»

...Ничего не могу прибавить к этим изумительным ветхозаветным строкам. В них все сказано. И потом — воистину «мы весьма изнурены», и уже не хватает сил и желания говорить среди «окружающих нас». Одни из них мечут жребий о ризах наших, другие витийствуют о «светлом будущем», а там — там только «вздохи узников», муки «обреченных на смерть», защиты и спасения себе теперь уже ниоткуда не чающих.

Молча склоняю голову и перед Его могилою.

Настанет день, когда дети наши, мысленно созерцая позор и ужас наших дней, многое простят России за то, что все же не один Каин владычествовал во мраке этих дней, что и Авель был среди сынов ее.

Настанет время, когда золотыми письменами, на вечную славу и память, будет начертано Его имя в летописи Русской Земли.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Опять Горький! Ну, что ж, и мы опять...

Начало февраля 1917 г., оппозиция все смелее, носятся слухи об уступках правительства кадетам — Горький затевает с кадетами газету (у меня сохранилось его предложение поддержать ее).

Апрель того же года — Горький во главе «Новой жизни», и даже большевики смеются, — помню фразу одного:

«Какой, с Божьей помощью, оборот!» — но, конечно, таким популярным соратником не пренебрегают. Ленин все наглее орет свои призывы к свержению Временного правительства, к гражданской войне, к избиению офицеров, буржуазии и т. д., — Горький, видя, что делишки Ленина крепнут, кричит в своей газете:

«Не смей трогать Ленина!» — но тут же, рядом печатает свои «несвоевременные мысли», где поругивает Ленина (на всякий случай)...

Конец 1917 г. — большевики одерживают полную победу

(настолько неожиданно-блестящую для них самих, что «болван» Луначарский бегаёт с разинутым ртом, всюду изливает свое удивление) — и «Новая жизнь» делается уже почти официальным органом большевиков (с оттенком «оппозиции Его Величеству»). Горький пишет в ней буквально так: «пора добить эту все еще шипящую гадину — Милюковых и прочих врагов народа, кадетов и кадетствующих господ!» — и результаты сказываются через два-три дня: «народ» зверски убивает двух своих заклятых «врагов» — Кокошкина и Шингарева...

Февраль 1918 г., большевики зарвались в своей наглости перед немцами — и немцы поднимают руку, чтобы взять за шиворот эту «сволочь» как следует... Горький пугается и пишет о Ленине и его присных (7 февраля 1918 г.):

«Перед нами компания авантюристов, проходимцев, предателей родины и революции, бесчинствующих на вакантном троне Романовых...»

Но заключается «похабный мир», Горький переводит «Новую жизнь» в Москву (знал о близком переезде туда «правительства»)... Газета его «в опале», но все-таки внедряется она в великолепный особняк на Знаменке, где на двери надпись:

«Реквизировано комиссариатом иностранных дел для редакции газеты «Новая жизнь»...

Осенью 1918 года покушение на Ленина, зверские избиения в Москве буквально кого попало — Горький закатывает Ленину по случаю «чудесного спасения»: ведь никто и пикнуть не смел по поводу этих массовых убийств — значит, «Ильич» крепок... Затем — убийство Урицкого. «Красная газета» пишет: «В прошлую ночь мы убили за Урицкого ровно тысячу душ!» — и Горький выступает на торжественном заседании петербургского «Цика» с «пламенной» речью в честь «рабоче-крестьянской власти», а большевики на две недели развешивают по Петербургу плакаты: «Горький — наш!» и ассигнуют ему миллионы на издание «Пантеона всемирной литературы»... Горький берет в подручные Тихонова и Гржебина, и подлая комедия издания «мировых классиков» в стране, заливаемой кровью, грязью и уже заедаемой пещерным голодом и вшами, дает благие результаты: сотни интеллигентов стоят в очередях, продаваясь на работу в этом «Пантеоне»... Авансы текут рекой... Некоторые смущенно бормочут:

«Только, знаете, как же я буду переводить Гёте — я немецкого языка не знаю...»

Но Тихонов успокаивает:

«Ничего, ничего, мы дадим подстрочник, берите аванс...»

Никакого «Пантеона» и доселе нет... Есть только тот факт, что «интеллигенция работает с советской властью», что «умственная жизнь в стране процветает» и Горький на страже ее...

Май 1919 г., советские дела не плохи, в Москве «мировой» съезд третьего интернационала — и Горький на весь мир трубит славу этому Интернационалу и русским коммунистам — «честнейшим в мире коммунистам, творящим дивное, планетарное дело!». Но к осени того же года положение «честнейших» так плохо, что Горький заявляет:

«Среди них 95 процентов бесчестных грабителей и взяточников!»

Летом 1920 года большевики под самой Варшавой — и Горький закатывает настолько бесстыдный акафист «святому» и даже превзошедшему всех святых в мире «Ильичу», что краснеют все еще не околевшие с голоду советские ломовые лошади. Горький буквально бьется головой о подножие ленинского трона и вопиет: «Я опять, опять пою славу безумству храбрых, из коих безумнейший и храбрейший — Владимир Ильич Ленин!» Он говорит (в петербургских «Известиях»): «было время, когда естественная жалость к народу России заставляла меня считать большевизм почти преступлением... Теперь, когда я вижу, что этот народ умеет гораздо лучше терпеть и страдать, чем сознательно и честно работать, — я снова пою славу священному безумству храбрых!» (Нужды нет, что в мае 1919 г. в первом номере «Интернационала» он писал совсем другое:

«Еще вчера мир считал русских за полудикарей, а ныне он видит, что они пламенно идут в борьбу за третий Интернационал!»).

Но Варшава остается цела, «красные львы» в лаптях и босиком дерут без оглядки куда попало — и Горький снова ныряет в люк: возвращается к мирным работам о судьбе русских ученых и огрызается на своего «святого» и даже на Дзержинского: «Нельзя, господа, избивать интеллигенцию — это мозг страны, самое ее драгоценное достояние!» А Ленин с Дзержинским только ухмыляются:

— Поздно, братец, хватился! Мы этот мозг уже вышибли из сотни тысяч черепов! Мы отравили мир ядом своего существования, гноем наглости, зверства, бесстыдства, воровства, лжи, изуверства до такой степени, что теперь уже давно стали смешными эти басни о ценности мозгов!

А за всем тем продолжай свои попечения об ученых — это народ самый безвредный для нас. И нам спокойно, и тебе прибыльно... на всякий случай...

И вот Горький опять в роли «овёда» советской «республики» и в роли печальника о «мозге страны». И уже многие поговаривают о том, что за это ему надо «все простить»... Дело дошло до того, что в зарубежных русских газетах появился открытый призыв г. Ферсмана, петербургского академика, на этот предмет...

О, постыдные, проклятые, окаянные дни!

Ив. Бунин

Р. С. В посмертном дневнике Андреева есть такое место: «Вот еще Горький... Нужно составить целый обвинительный акт, чтобы доказать всю преступность Горького и степень его участия в разрушении и гибели России... Но кто за это возьмется? Не знают, забывают, пропускают... Но неужели Горький так и уйдет не наказанным, не признанным, «уважаемым»? Если это случится (а возможно, что случится) и Горький сух вылезет из воды — можно будет плюнуть в харю жизни!»

И. Б.

МИССИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

(Речь, произнесенная в Париже 16 февраля)

Соотечественники.

Наш вечер посвящен беседе о миссии русской эмиграции.

Мы эмигранты,— слово «émigré» к нам подходит как нельзя более. Мы в огромном большинстве своем не изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули ее. Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к одному: к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся в некоторых пор в России, были в том или ином несогласны, в той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.

Миссия — это звучит возвышенно. Но мы взяли и это слово вполне сознательно, памятуя его точный смысл. Во фран-

цузских толковых словарях сказано: «Миссия есть власть (pouvoir), данная делегату идти делать что-нибудь». А делегат означает лицо, на котором лежит поручение действовать от чьего-нибудь имени. Можно ли употреблять такие почти торжественные слова в применении к нам? Можно ли говорить, что мы чьи-то делегаты, на которых возложено некое поручение, что мы представляем за кого-то? Цель нашего вечера — напомнить, что не только можно, но и должно. Некоторые из нас глубоко устали и, быть может, готовы, под разными злостными влияниями, разочароваться в том деле, которому они так или иначе служили, готовы назвать свое пребывание на чужбине ничемным и даже зазорным. Наша цель твердо сказать: подымите голову! Миссия, именно миссия, тяжкая, но и высокая, возложена судьбой на нас.

Нас, рассеянных по миру, около трех миллионов. Исключите из этого громадного числа десятки и даже сотни тысяч попавших в эмигрантский поток уже совсем незаметно, совсем случайно; исключите тех, которые, будучи противниками (вернее, соперниками) нынешних владык России, суть, однако, их кровные братья; исключите их пособников, в нашей среде пребывающих лишь с целью позорить нас перед лицом чужеземцев и разлагать нас: останется все-таки нечто такое, что даже одной своей численностью говорит о страшной важности событий, русскую эмиграцию создавших, и дает полное право пользоваться высоким языком. Но численность наша еще далеко не все. Есть еще нечто, что присваивает нам некое назначение. Ибо это нечто заключается в том, что поистине мы некий грозный знак миру и посильные борцы за вечные, божественные основы человеческого существования, ныне не только в России, но и всюду пошатнувшиеся.

Если бы даже наш исход из России был только инстинктивным протестом против душегубства и разрушительства, воцарившегося там, то и то нужно было бы сказать, что легла на нас миссия некоего указания: «Взгляни, мир, на этот великий исход и осмысли его значение. Вот перед тобой миллион из числа лучших русских душ, свидетельствующих, что далеко не вся Россия приемлет власть, низость и злодеяния ее захватчиков; перед тобой миллион душ, облеченных в глубочайший траур, душ, коим было дано видеть гибель и срам одного из самых могущественных земных царств и знать, что это царство есть плоть и кровь их, дано было оставить дома и гробы отчие, часто поруганные, оплакивать горчайшими слезами тысячи и тысячи безвинно убиенных и

замученных, лишиться всяческого человеческого благополучия, испытать врага столь подлого и свирепого, что нет имени его подлости и свирепству, мучиться всеми казнями египетскими в своем отступлении перед ним, воспринять все мыслимые унижения и заушения на путях чужеземного скитальчества: взгляни, мир, и знай, что пишется в твоих летописях одна из самых черных и, быть может, роковых для тебя страниц!»

Так было бы, говорю я, если бы мы были просто огромной массой беженцев, только одним своим наличием вопиющих против содеянного в России, — были, по прекрасному выражению одного русского писателя, ивиковыми журавлями, разлетевшимися по всему поднебесью, чтобы свидетельствовать против московских убийц. Однако это не все, русская эмиграция имеет право сказать о себе гораздо больше. Сотни тысяч из нашей среды восстали вполне *сознательно и действительно* против врага, ныне столицу свою имеющего в России, но притязующего на мировое владычество, сотни тысяч противоборствовали ему всячески, в полную меру своих сил, многими *смертями* запечатлели свое противоборство — и еще неизвестно, что было бы в Европе, если бы не было этого противоборства. В чем наша миссия, чьи мы делегаты? От чьего имени надо нам действовать и представлять? Поистине действовали мы, несмотря на все наши человеческие падения и слабости, от имени нашего Божеского образа и подобия. И еще — от имени России: не той, что предала Христа за тридцать сребренников, за разрешение на грабеж и убийство и погрязла в мерзости всяческих злодеяний и всяческой нравственной проказы, а России другой, подъяремной, страждущей, но все же до конца не покоренной. Мир отвернулся от этой страждущей России, он только порою уподоблялся тому римскому солдату, который поднес к устам Распятого губку с уксусом. Европа мгновенно задавила большевизм в Венгрии, не пускает Габсбургов в Австрию, Вильгельма в Германию. Но когда дело идет о России, она тотчас вспоминает правило о невмешательстве во внутренние дела соседа и спокойно смотрит на русские *«внутренние дела»*, то есть на шестилетний погром, длящийся в России, и вот дошла даже до того, что *узаконяет* этот погром. И вновь, и вновь исполнилось таким образом слово Писания: «Вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь коров тучных, сами же оттого не станут тучнее... Вот темнота покроет землю и мрак — народы... *И лицо поколения будет собачье...*» Но тем важнее миссия русской эмиграции.

Что произошло? Произошло великое падение России, а вместе с тем и вообще падение человека. Падение России ничем не оправдывается. Неизбежна была русская революция или нет? Никакой неизбежности, конечно, не было, ибо, несмотря на все эти недостатки, Россия цвела, росла, со сказочной быстротой развивалась и видоизменялась во всех отношениях. Революция, говорят, была неизбежна, ибо народ жаждал земли и таил ненависть к своему бывшему господину и вообще к господам. Но почему же эта будто бы неизбежная революция не коснулась, например, Польши, Литвы? Или там не было барина, нет недостатка в земле и вообще всяческого неравенства? И по какой причине участвовала в революции и во всех ее зверствах Сибирь с ее допотопным обилием крепостных уз? Нет, неизбежности не было, а дело было все-таки сделано, и как и под каким знаменем? Сделано оно было ужасающе, и знамя их было и есть интернациональное, то есть претендующее быть знаменем всех наций и дать миру, взамен синайских скрижалей и Нагорной проповеди, взамен древних божеских уставов, нечто новое и дьявольское. Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населенный огромным и во всех смыслах могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освященный богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, во веки непоправимы. И кошмар этот, повторяю, тем ужаснее, что он даже всячески прославляется, возводится в перл создания и годами длится при полном попустительстве всего мира, который уж давно должен был бы крестовым походом идти на Москву.

Что произошло? Как ни безумна была революция во время великой войны, огромное число будущих белых ратников и эмигрантов приняло ее. Новый домоправитель оказался ужасным по своей всяческой негодности, однако чуть не все м. грудью защищали его. Но Россия, поджигаемая «планетарным» злодеем, возводящим разнузданную власть черни и все самые низкие свойства ее истинно в религию, Россия уже сошла с ума,— сам министр-президент на московском совещании в августе 17 года заявил, что уже зарегистрировано, — только зарегистрировано! — *десять тысяч* зверских и бессмысленных народных «самосудов». А что было затем? Было

величайшее в мире попрание и бесчестие всех основ человеческого существования, начавшееся с убийства Духонина и «похабного мира» в Бресте и докатившееся до людоедства. Планетарный же злодей, осененный знаменем с издевательским призывом к свободе, братству и равенству, высоко сидел на шее русского дикаря и весь мир призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие, в прах дробить скрижали Моисея и Христа, ставить памятники Иуде и Каину, учить семь заповедей Ленина. И дикарь все дробил, все топтал и даже дерзнул на то, чего ужаснулся бы сам дьявол: он вторгся в самая Святая святых своей родины, в место того страшного и благословенного таинства, где века почивал величайший Зиждитель и Заступник ее, коснулся раки Преподобного Сергия, гроба, перед коим веками повергались целые сонмы русских душ в самые высокие мгновения их земного существования. Боже, и это вот к этому самому дикарю должен я идти на поклон и служение? Это он будет державным хозяином всея новой Руси, осуществившим свои «заветные чаяния», за счет соседа, зарезанного им из-за полдесятины лишней «земельки»? В прошлом году, читая лекцию в Сорбонне, я приводил слова великого русского историка, Ключевского: «Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампы над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры». Великие слова, ныне ставшие ужасными! Основы разрушены, врата закрыты, и лампы погашены. Но без этих лампад не бывает русской земле — и нельзя, *преступно служить ее тьме.*

Да, колеблются устои *всего* мира, и уже представляется возможным, что мир не двинулся бы с места, если бы развернулось красное знамя даже и над Иерусалимом и был бы выкинут самый Гроб Господень: ведь московский Антихрист уже мечтает о своем узаконении даже самим римским наместником Христа. Мир одержим еще не бывалой жадной корысти и равнением на толпу, снова уподобляется Тиру и Сидону, Содому и Гоморре. Тир и Сидон ради торгашества ничем не побрезгуют, Содом и Гоморра ради похоти ни в чем не постесняются. Все растущая в числе и все выше поднимающая голову толпа сгорает от страсти к наслаждению, от зависти ко всякому наслаждающемуся. И одни (жаждущие покупателя) ослепляют ее блеском мирового базара, другие (жаждущие власти) разжиганием ее зависти. Как приобрести власть над толпой, как прославиться на весь Тир, на всю Гоморру; как войти в бывший царский дворец или хотя

бы увенчаться венцом борца якобы за благо народа? Надо дурачить толпу, а иногда даже и самого себя, свою совесть, надо покупать расположение толпы угодничеством ей. И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестников «новой» жизни, взявших мировую привилегию, концессию на предмет устройства человеческого блага, будто бы всеобщего и будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по этому делу — тысячи членов всяческих социальных партий, тысячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так или иначе прославляются и возвышаются. Но чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же надо лишить толпу «опиума религии», дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот «планетарный» скот — другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человечества или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четвереньках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! А соратники его, так те прямо пишут: «Умер новый бог, создатель Нового Мира, Демиург!». Московские поэты, эти содержанцы московской красной блудницы, будто бы родящие новую русскую поэзию, уже давно пели:

Иисуса на крест, а Варраву —
Под руки и по Тверскому...
Кометой по миру вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиной...

И если все это соединить в одно — и эту матерщину, и шестилетнюю державу бешеного и хитрого маньяка и его высовывающийся язык, и его красный гроб, и то, что Эйфелева башня принимает радио о похоронах уже не просто Ленина, а нового Демиурга и о том, что Град Святого Петра

переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский страх не только за Россию, но и за Европу: ведь ноги-то раскорячиваются действительно очень далеко и очень смело. В свое время непременно падет на все это Божий гнев, — так всегда бывало. «Се Аз восстану на тя, Тир и Сидон, и низведу тя в пучину моря...» И на Содом и Гоморру, на все эти Ленинграды падет огонь и сера, а Сион, Селим, Божий Град Мира, пребудет во веки. Но что же делать сейчас, что делать человеку вот этого дня и часа, русскому эмигранту?

Миссия русской эмиграции, доказавшей своим исходом из России и своей борьбой, своими ледяными походами, что она не только за страх, но и за совесть не приемлет Ленинских градов, Ленинских заповедей, миссия эта заключается ныне в продолжении этого неприятия. «Они хотят, чтобы реки текли вспять, не хотят признать совершившегося!» Нет, не так, мы хотим не обратного, а только иного течения. Мы не отрицаем факта, а расцениваем его, — это наше право и даже наш долг, — и расцениваем с точки зрения не партийной, не политической, а человеческой, религиозной. «Они не хотят ради России претерпеть большевика!» Да, не хотим — можно было претерпеть ставку Батыя, но Ленинград нельзя претерпеть. «Они не прислушиваются к голосу России!» Опять не так: мы очень прислушиваемся и — ясно слышим все еще тот же и все еще преобладающий голос хама, хищника и комсомольца да глухие вздохи. Знаю, многие уже сдались, многие пали, а сдадутся и падут еще тысячи и тысячи. Но все равно: останутся и такие, что не сдадутся никогда. И пребудут в верности заповедям Синайским и Галилейским, а не планетарной матерщине, хотя бы и одобренной самим Макдональдом. Пребудут в любви к России Сергия Преподобного, а не той, что распевала: «Ах, ах, тра-та-та, без креста!» — и будто бы мистически пылала во имя какого-то будущего, вящего возсияния. Пылала! Не пора ли оставить эту бессердечную и жульническую игру словами, эту политическую риторику, эти литературные пошлости? Не велика радость пылать в сыпном тифу или под пощечинами чекиста! Целые города рыдали и целовали землю, когда их освобождали от этого пылания. «Народ не принял белых...» Что же, если это так, то это только лишнее доказательство глубокого падения народа. Но, слава Богу, это не совсем так: не принимал хулиган да жадная гадина, боявшаяся, что у нее отнимут назад ворованное и грабленое.

Россия! Кто смеет учить меня любви к ней!

Один из недавних русских беженцев рассказывает между прочим в своих записках о тех забавах, которым предавались в одном местечке красноармейцы, как они убили однажды какого-то нищего старика (по их подозрению, богатого), жившего в своей хибарке совсем одиноко с одной худой собачонкой. Ах, говорится в записках, как ужасно металась и выла эта собачонка вокруг трупа и какую лютую ненависть приобрела она после этого ко всем красноармейцам: лишь только завидит вдали красноармейскую шинель, тотчас же вихрем несется, захлебываясь от яростного лая! Я прочел это с ужасом и восторгом, и вот молю Бога, чтобы Он до моего последнего издыхания продлил во мне подобную же собачью святую ненависть к русскому Каину. А моя любовь к русскому Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержании ее. Пусть не всегда были подобны горнему снегу одежды белого ратника, — да святится вовеки его память! Под триумфальными воротами галльской доблести неугасимо пылает жаркое пламя над гробом безвестного солдата. В дикой и ныне мертвой русской степи, где почиет белый ратник, тьма и пустота. Но знает Господь, что творит. Где те ворота, где то пламя, что были бы достойны этой могилы? Ибо тот гроб Христовой России. И только ей одной поклонюсь я, в день, когда Ангел отвалит камень от гроба ее.

Будем же ждать этого дня. А до того да будет нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это глубоко важно и вообще для несправедливого времени сего и для будущих праведных путей самой же России.

А кроме того, есть еще нечто, что гораздо больше даже и России и особенно ее материальных интересов. Это — мой Бог и моя душа. «Ради самого Иерусалима не отрекусь от Господа!» Верный еврей ни для каких благ не отступится от веры отцов. Святой Князь Михаил Черниговский шел в Орду для России; но и для нее не согласился он поклониться идолам в ханской ставке, а избрал мученическую смерть.

Говорили — скорбно и трогательно — говорили на древней Руси: «Подождем, православные, — когда Бог переменит орду»!

Давайте подождем и мы. Подождем соглашаться на новый «похабный мир» с нынешней ордой.

Ив. Бунин

Р. S. 16 февраля в Париже был вечер, посвященный беседе «о миссии русской эмиграции», — публично выступали с речами на эту тему Карташев, Мережковский, Шмелев, проф. Кульман, студент Савич и пишущий эти строки. «Миссия русской эмиграции» есть вступительное слово, прочитанное мною в начале беседы. Я обратился к редакции «Руля» с просьбой напечатать его с той целью, чтобы хотя несколько опровергнуть кривотолки, которым подвергся в печати, а, благодаря ей, отчасти и в обществе весь этот вечер. Теперь по крайней мере хоть некоторые будут точно знать, что именно сказал я, наметивший, по выражению органа П. Н. Милюкова, зачинщика этих кривотолков, «все главные мысли и страшные слова, которые повторяли потом другие ораторы». И пусть теперь всякий здравомыслящий человек с изумлением вспомнит все то, что читал он и слышал о наших «страшных словах».

Началось с передовой статьи и отчета о вечере в «Последних новостях», от 20 февраля. Отчет (под заглавием «Вечер страшных слов») больше всего отвел места мне, вполне исказил меня, приписал мне нелепый призыв «к божественному существованию» и претензию на пророческий сан, сообщил, как мало я похож на пророка «со своим холодным блеском нападков на народ», и весьма глумился и над всеми прочими участниками вечера, тоже будто бы желавшими пророчествовать, но оказавшимися совершенно неспособными «подняться на метафизические высоты». А передовая статья была еще удивительнее и походила просто на бред. Она называлась «Голоса из гроба» и говорила следующее:

«Писатели, принадлежащие к самым большим в современной литературе, те, кем Россия по справедливости гордится... выступили с проповедью почти пророческой, в роли учителей жизни, в роли, отжившей свое время... Они самоопределились политически... соединились с Карташевым и не ему передали свою политическую невинность, а себя впервые окрасили определенным цветом. Они говорили против политики — за внутренний категорический императив и за Христа... очевидно твердо верили, что, подобно пророкам, высоко вознеслись над мелкими злобами дня, на деле же принесли с собой только лютую ненависть к своему народу, к *целому* народу, и даже хуже — презрение, то есть чувство аристократизма и замкнутости... Что значит их непримиримость? Непримиримость к чему? К кому?»

Мы, будто бы притязавшие быть пророками, — которым будто бы ненависть не подобает, — мы очень просто и твердо

говорили, к чему именно проповедуем мы непримиримость. Но П. Н. Милюков все-таки почему-то счел нужным спрашивать — и ответил за нас сам, поставив во главу угла опять-таки меня, ни с того, ни с сего смешав мою речь с моими последними стихами и рассказами. Прочтите, сказал он, стихи Бунина в «Русской мысли» и его рассказ «Несрочная весна» в «Современных записках»: «это все непримиримость с новой жизнью, тоска о прошлом — и гордость: я, мол, генеральская дочь, а там только титулярные советники...» (Да, пусть не протирают глаза читатели «Руля»: я цитирую буквально.) А затем так же смело было поступлено и со всеми прочими участниками вечера («таков Бунин и таковы и все прочие — все они дышат страхом и злобой ко всему, что продолжает жить вопреки им») — и дело было сделано: до неправдоподобности странная передовая статья положила прочное основание легенде о кровожадных и вместе с тем пророчески призывающих «к божественному существованию» мертвецов, которыми будто бы оказались мы. За ней, за этой статьей, последовало еще не малое количество подобных же строк (даже статей — «Пастыри и молодежь», «Апостольство или недоразумение», «Религия и аполитизм» и т. д.), нашедших отклик в Праге и даже в Москве. И легенда все растет, и вот какой-то г. Быстров доходит уже до того, что утешает «Последние новости» насчет общественного влияния того самого вздора, который ими же самими и выдуман: не бойтесь, говорит он в номере от 25 марта, молодежь не пойдет за этими писателями, «ставшими за границей публицистами и на сто лет от жизни отставшими!».

Думаю, что читатель «Руля» не посетует на то, что появляется наконец в печати один из подлинных документов страшной и зловредной отсталости от века, проявленной в Париже 16 февраля (а 5 апреля имеющей быть продолженной), и не сочтет за личную полемику мою приписку к этому документу: дело имеет все-таки некоторый общий интерес. И тем более имеет, что в московской «Правде» от 16 марта уже появилась статья, почти слово в слово совпадающая со всем тем, что писалось о нас в «Последних новостях». Московская «Правда» тоже страстно жаждет нашей смерти, моей особенно, для видимости беспристрастия тоже не скупясь в некрологах на похвалы. Она сперва сообщила, что я на смертном одре в Ницце, потом похоронила меня (а вместе со мною Мережковского и Шмелева) по способу «Последних новостей» морально. В «Правде» статья озаглавлена «Маскарад мертвецов», и в статье этой есть такие строки:

«Просматривая печать белой эмиграции, кажется — какой прекрасный русский язык! — «кажется, что попадаешь на маскарад мертвых...»

«Бунин, тот самый Бунин, новый рассказ которого был когда-то для читающей России подарком, позирует теперь под библейского Иоанна... выступает теперь в его черном плаще... как представитель и защитник своего разбитого революцией класса... Это особенно ярко сказывается в его последних произведениях — в рассказе «Несрочная весна» и в стихах в «Русской мысли»... Здесь он не только помещик, но помещик-мракобес, эпигон крепостничества... Он мечтает, как и другой старый белогвардеец, Мережковский, о крестовом походе на Москву... А Шмелев, приобщившийся к белому подвижничеству только в прошлом году, идет еще дальше: один из значительных предреволюционных писателей, он не крепостник, а народник... Для него «народ» кроток и безвинен, сахарная бонбоньерка, крылатый серафим... и он во всем обвиняет интеллигенцию и московский университет, недостаточно усмирный в свое время романовскими жандармами...»

«Вообще выступление этих трех писателей, по сравнению с которым даже «Вехи» 1907 г. кажутся безвинной елочной хлопушкой, вызвало в эмиграции широкий отклик. Даже седенький профессор... назвал это выступление в своей парижской газете *голосами из гроба...*»

Ив. Бунин.

Париж, 29 марта 1924 г.

ИНОНИЯ И КИТЕЖ

К 50-летию со дня смерти гр. А. К. Толстого

Полвека со дня смерти гр. Алексея Константиновича Толстого.

Каждое воспоминание о каждом большом человеке прежней России очень больно теперь и наводит на страшные сопоставления того, что было и что есть. Но поминки о Толстом наводят на них особенно.

Вот я развернул книгу и читаю:

Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо на лицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед —
И ахнул от ужаса русский народ:
Ай рожа, ай страшная рожа!

Что это такое? Это из баллады Толстого о Змее-Тугарине, это рожа певца, нахально появившегося на пиру киевского князя Владимира, рожа той «обдорской» Руси, которую он пророчит, которая должна, по его слову, заменить Русь киевскую. Мысль о том, «чтоб мы повернулись к Обдорам», кажется князю и его богатырям так нелепа, что они только смеются:

Нет, шутишь! Живет наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!

Но «рожа» не унимается. Вам, говорит она, моя весть смешна и обидна? А все-таки будет так. Вот, например, для вас теперь честь, стыд, свобода суть самые бесценные сокровища:

Но дни, погодите, иные придут,
И честь, государи, заменит вам кнут,
А вече — коганская воля!

И пророчество это, как известно, исполнилось: через долгую «обдорскую» кабалу, через долгое борение с нею пришлось пройти Руси. И кончилось ли это борение? Один великий приступ Русь «перемогла». Но вот надвинулся новый и, быть может, еще более страшный. Далеко той, прежней роже, что бахвалилась на пиру в Киеве, до рожи нынешней, что бахвалится на кровавом пиру в Москве, где «бесценными сокровищами» объявлены уже не честь, не стыд, не свобода, а как раз наоборот — бесчестие, бесстыдство, коганский кнут, где «рожа» именуется уже солью земли, воплощением, идеалом «новой» России, ее будто бы единственно-настоящим ликом, — в противовес России прежней, России Толстых, — и именуется не просто, а с величайшей и даже мессианской гордостью: «Да, скифы мы с раскосыми глазами!» или, например, так:

Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда я пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивных свет...
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюма вам,
Что имя Ленина шумит, как Ветр, по краю...

Эти хвастливые вирши, — прибавьте к ним заборную орфографию, — случайно попавшие мне на глаза недавно и принадлежащие некоему «крестьянину» Есенину, далеко не случайны. Сколько пишется теперь подобных! И какая символическая фигура этот советский хулиган, и сколь многим тепереш-

ним «болванам», возвещающим России «новую эру», он именно чета, и сколь он прав, что тут действительно стоит роковой вопрос: под знаком старой или так называемой новой «эры» быть России и обязательно ли подлинный русский человек есть «обдор», азиат, дикарь или нет? Теперь все больше входит в моду отвечать на этот вопрос, что да, обязательно. И московские «рожи», не довольствуясь тем, что оне и от рождения рожи, из кожи вон лезут, чтобы стать рожами сугубыми, архирожами. Посмотрите на всех этих Есениных, Бабелей, Сейфуллиных, Пильняков, Соболей, Ивановых, Эренбургов: ни одна из этих «рож» словечка в простоте не скажет, а все на самом что ни на есть руссешем языке:

— Никла Ильинка монашенькой постной, прежняя дебелая, румяная, грудастая бабеха... (Соболь)

— По Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка... (Пильняк)

А некоторые умники в Берлине, в Париже, в Праге тают от умиления: «Ах, говорят они, ах, какой сочный, ядреный русский язык, какая истинно национальная Русь прет теперь из русского чернозема, и как жадно должны мы ловить свет именно оттуда, и какое обилие там, — только там! — таланта, жизни, молодости».

Да, «страшная рожа» опять среди нас. Тщетно возмущаемся мы:

Она продолжает, ослабивши пасть:

.....

На честь вы поруху научитесь класть,
И вот, наглотавшись татарщины власть,
Вы Русью ее назовете!
И с честной посоритесь вы стариной,
И, предкам великим на сором,
Не слушая голоса крови родной,
Вы скажете: «Станем к варягам спиной,
Лицом повернемся к обдорам!»

Толстой называл себя «певцом, державшим стяг во имя красоты». Он был, как один из его любимейших образов, как Иоани Дамаскин, «борец за честь икон, художества ограда». На «рожу» он смотрел глазами древней христианской Руси: это воплощение всего бусурманского, дьявольского, воплощение мерзости и безобразности (то есть того, что образа, устройства и гармонии не имеет), безобразности и мерзости не только внешней, но и внутренней. А Красота, Лик были для него воплощением Божественного, того, что творит, устроит, обладает Искусством (покоряющим бесформенность).

«Красота, прекрасное, как справедливо сказал о Толстом Вл. С. Соловьев, была для него дорога и священна, как отблеск вечной Истины и Любви», как нечто, идущее из самобытного мира вечных идей или первообразов. «Божество, говорит Соловьев, *обладает* полнотой совершенства. Человек, совершенствуясь, *достигает* его. Человек есть самостоятельная особь и кроме того часть всемирного целого. И он должен совершенствоваться и самого себя, — личной любовью, — и содействовать совершенству целого, — патриотизмом, чувством солидарности с целым... В поэзии Толстого мотивы любви и патриотизма наиболее характерны... Патриотизм есть желание блага целому — народу, государству, отечеству... Но в чем именно благо отечества? Сам по себе патриотизм может быть источником и добра, и зла... Нужно еще патриотическое сознание, различающее истинное благо отечества от ложного. И та степень патриотического сознания, которая была у А. К. Толстого, до сих пор остается *высшей*... Со всей живостью поэтического представления и со всей энергией борца за идею Толстой славил свой идеал истинно русской, европейской и христианской монархии и громил ненавистный ему кошмар азиатского деспотизма... Начало истинного национального строя он находил в киевской эпохе нашей истории...

Он мерил благо отечества высшей мерой. И он не ошибался: нам нужно развитие тех христианских истинно-национальных начал, что было обещано светлыми явлениями Киевской Руси...»

Гр. А. К. Толстой есть один из самых замечательных русских людей и писателей, еще и доселе недостаточно оцененный, недостаточно понятый и уже забываемый. А ведь меж тем ценить, понимать и помнить подобных ему надо в наши дни особенно. Ведь существование нации определяется все-таки не материальным (так что восхищаться, например, тем, что Россия «будет мужицкой», по меньшей мере странно). Россия и русское слово (как проявление ее души, ее нравственного строя) есть нечто нераздельное. И не знаменательно ли, что нынешнему падению России, социальному, политическому и всякому прочему, не только сопутствует, но задолго предшествовал упадок ее литературы, когда всякое непотребство стало называться дерзанием, а глупость и истеричность — священным безумием, когда всяческий распад, то есть нечто совершенно противоположное искусству, — сцеплению, устройению, — и всяческие «искания» (то есть как раз то, что не есть искусство и что художник

должен скрывать в своей мастерской) были столь бесстыдно прославлены самими же представителями всего этого, не менее бесстыдно, чем славит себя теперь большевизм, являя таким образом одну из самых характерных черт дикарства, необыкновенно хвастливого, как известно?

Теперь «новое» искусство сменилось новейшим. Вот «поэты-пролетарии»:

Сорвали мы корону
Со старого Кремля...
Лучами мажем первые
И мускулы машин...
За заборами *низкорослыми*
Гребем мы огненными веслами...

Вот «футуристы»:

Белогвардейца — к стенке.
А Рафаэля забыли?
А почему не атакован Пушкин?

Вот какие-то «супрематисты»:

Взяли мы в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрав...
Исуса — на Крест, а Варраву —
Под руки по Тверскому!

Вот «имажинист», сам себя рекомендуемый:

Я бумажка в клозете..

И вот, наконец, опять «крестьянин» Есенин, чадо будто бы самой подлинной Руси, вирши которого, по уверению некоторых критиков, совсем будто бы «хлыстовские» и вместе с тем «скифские» (вероятно потому, что в них опять действуют ноги, ничуть, впрочем, не свидетельствующие о новой эре, а только напоминающие очень старую пословицу о свинье, посаженной за стол):

Кометой вытяну язык,
До Египта раскорячу ноги...
Богу выщиплю бороду,
Молюсь ему матерщиною...
Проклинаю дыхание *Китежа*,
Обещаю вам *Инонию*...

И когда говорят: стоит ли обращать внимание на эту «рожу», на это «миссианство», столь небогатое в своей избретательности, знакомое России и прежде по базарным

отхожим местам? Увы, приходится. И тем более приходится, что ведь, повторяю, некоторые пресерьезно доказывают, что именно из этих мест и воссияет свет, Инония.

Инония эта уже не совсем нова. Обещали ее и старшие братья Есениных, их предшественники, которые, при всем своем видимом многообразии, тоже носили на себе печать в сущности единую. Ведь уж давно славили «безумство храбрых» (то есть золоторотцев) и над «каретой прошлого» издевались. Ведь Пушкины были атакованы еще в 1906 году в газете Ленина «Борьба», когда Горький называл «мещанами» всех величайших русских писателей. Ведь Белый с самого начала большевизма кричит: «Россия, Россия — Миссия!» Ведь блоковские стишки:

Эх, эх, без креста,
Тратата! —

есть тоже «инония», и ведь это именно с Есениными, с «рожамми», во главе их, заставил Блок танцовать по пути в Инонию своего «Христосика в белом венчике из роз». Ведь это Блок писал: *«Народ, то есть большевик, стрелял из пушек по Успенским соборам. Вполне понятно: ведь там туполобый, ожиревший поп сто лет, икая, брал взятки и водкой торговал...»*

— Конь мой, конь, славянский конь! — восклицал Толстой когда-то:

Конь несет меня лихой,
А куда? не знаю!
Упаду ль на солончак
Умирать от зною?
Или злой киргиз-кайсак
С бритой головою
Молча свой натянет лук,
Лежа под травую,
И меня догонит вдруг
Меткою стрелю?
Иль влечу я в светлый град
Со Кремлем престольным?
В град, где улицы гудят
Звоном колокольным?

Теперь ответ на этот вопрос дан: киргизская рука делает свое дело, и перед нами уже не светлый град, не Китеж, а именно он, голый солончак. Но неужели это конец? А если нет, то что дальше? В страшной современности, где возобладал «киргиз», не найти спасительных указаний, русское слово почти умолкло в этой печенежской степи, где высится

Тмутараканский Болван, где «лисы лают на русские щиты» (как лают оне, увы, и в эмигрантском стане). При всей своей ничтожности, современный советский стихотворец, говорю еще раз, очень показателен: он не одинок, и целые идеологии строятся теперь на пафосе, родственном его «пафосу», так что он, плут, отлично знает, что говорит, когда говорит, что в его налитых самогоном глазах «прозрений дивный свет». При всей своей нарочитости и зараженности литературщиной, он кровное дитя своего времени и духа его. При всей своей разновидности, он может быть взят за одну скобку, как кость от кости того «киргиза», — как знаменательно, что и Ленин был «рожа», монгол! — который ныне есть хозяин дня. Он и буйнит, и хвастается, и молится истинно по-киргизски: «Господи, отелись!» И стоя среди российского солончака, имитируя Пушкина, играя заигранным словечком Герцена, некоторые бахвалятся: «Да, скифы мы с раскосыми глазами!»

Скифы! К чему такой высокий стиль? Чем тут бахвалиться? Разве этот скиф не «рожа», не тот же киргиз, кривоногий Иван, что еще в былинные дни гонялся за конем сраженного Святогора? Правильно тут только одно: есть два непримиримых мира: Толстые, сыны «святой Руси», Святогоры, богомольцы града Китежа — и «рожи», комсомольцы Есенины, те, коих былины называли когда-то Иванами. И неужели эти «рожи» возобладают? Неужели все более и более будет затемняться тот благой лик Руси, коего певцом был Толстой?

Толстой говорил: «Моя ненависть к монгольщине есть идиосинкразия; это не тенденция, это я сам. Откуда вы взяли, что мы антиподы Европы? Туча монгольская прошла над нами, но это была лишь туча, и черт должен поскорее убрать ее без остатка. Нет, русские все-таки европейцы, а не монголы!» Так говорил он не раз, праведно чувствуя, что весь он и как поэт, и как человек есть порождение Руси славянской, а не обдорской, не киргизской. И не раз возмущался:

От скотов нас Дарвин хочет
До людской возвесть средину,
— Нигилисты же хлопчут,
Чтоб мы сделались скотины...

Теперь мы среди вящих, неустанных хлопот подобного рода. Будем же крепко помнить о Толстых среди «монгольского» засилия и наваждения!

«Откуда вы взяли, что мы монголы?» В самом деле: откуда это, будто наиболее подлинный образ русского народа есть кривоногий и раскосый Иван с его Инонией, — иначе говоря, с простым, старым, как мир, дикарством, — а не Святогор? «Я мужик, и посему я Русь!» — кричит Иван. Да, но есть мужик и мужик, как сказал толстовский Поток-Богатырь. И след ли Иванам бахвалиться рядом с такими мужиками, как Ломоносов, Кольцов, с такими русскими, как Толстые?

Рос и воспитывался Толстой у дяди по матери, у Перовского, в медвежьей Черниговщине, но уже восьми лет, через поэта Жуковского, был представлен своему ровеснику, будущему императору Александру II, с которым и остался в большой близости и дружбе на всю жизнь. Так же противоположно пошло и дальше: то черниговская глушь, то Петербург и Европа — отрочество Толстой почти сплошь провел в заграничных путешествиях с матерью и дядей, горячим поклонником Запада и западного искусства. И в отрочестве судьба осчастливила его еще тем, что он был с дядей у Гёте, в его веймарском доме, и сидел у Гёте на коленях. В молодости, пройдя прекрасное домашнее воспитание и выдержав экзамен при университете по словесности, он был причислен к русской миссии в Германии, затем служил в Петербурге и вел жизнь то деревенскую, дикую, охотничью, то столичную, очень светскую и шумную, выделяясь в толпе своими связями, родственными и придворными, и в то же время независимостью от них, блеском ума, остроумия, дружбой с художниками и писателями и вместе с тем дружбой с Наследником Престола, а кроме того, своей простонародной наружностью и силой, истинно богатырской: он, например, легко ломал конские подковы. Покорил ли его себе свет? Нет:

Сердце, сильнее разгораясь от года к году,
Брошено в светскую жизнь, как в студеную воду...
Буду кипеть, негодуя тоской и печалью,
Все же не стану блестящей холодной сталью!

Во время крымской кампании Толстой пережил высокий патриотический подъем, добровольно поступил в армию и едва не погиб в тифу, от которого его спас только его необыкновенный организм, царское внимание и уход его будущей супруги, той, к кому обращены строки, — ныне столь известные, полные неувядающей прелести:

Средь шумного бала, случайно
В тревоге мирской суеты...

После крымской кампании Александр II назначил Толстого своим флигель-адъютантом, но Толстой, полагавший единственной целью всей своей жизни свободное служение искусству и уже давно страдавший от своей все же далеко не полной свободы, от своих обязанностей по Двору, отклонил от себя эту новую царскую милость: поступок житейски совершенно необычайный. Тогда ему дали звание Императорского Егермейстера, почти ни к чему его не принуждающее, и он повел жизнь, уже всецело посвященную поэзии, семье, охоте, деревне. В деревне, в черниговском поместье, он и умер — 28 сентября (11 октября) 75 года. И незадолго до смерти «странное», по его выражению, событие произошло с ним, событие, о котором он сам рассказывал в письме к своему другу, княгине Витгенштейн:

«Со мной случилась недавно странная вещь: так как я не мог (от удушья) ни лечь, ни спать сидя, то как-то ночью я принялся за одно маленькое стихотворение. Я уже написал почти страницу, когда вдруг мои мысли спутались и я потерял сознание. Пришедши в себя, я хотел прочесть то, что написал: бумага лежала передо мной, карандаш тоже, а вместе с тем я не узнал ни единого слова в моем стихотворении. Я начал искать, переворачивать бумаги — и так и не нашел моего стихотворения. Пришлось сознаться, что писал я бессознательно, совершенно бессознательно, а вместе с тем мною овладела какая-то мучительная боль, которая состояла в том, что я напрасно хотел *вспомнить что-то*. Я уже три раза в жизни пережил это чувство — хотел уловить какое-то неуловимое воспоминание — и оно, это чувство, было всегда, как и на этот раз, очень тяжело и страшно. Стихотворение, которое я написал бессознательно, начинается так: «Прозрачных облаков спокойное движение...»

Немногим, думаю, известен этот предсмертный случай с Толстым и немногими оценен как следует. А меж тем, он с особенной силой свидетельствует об одной из самых существенных черт природы и таланта Толстого: о том, как вообще было много в этой натуре того, о чем говорят: Божьей милостью, а не человеческим хотением, измышлением или выучкой.

«С шестилетнего возраста, говорит Толстой в своей литературной исповеди, начал я марать бумагу стихами... Но и независимо от поэзии я всегда испытывал непреодолимое влечение к искусству вообще, во всех его проявлениях. Та или другая картина или статуя или прекрасная музыка на меня производили такое сильное впечатление, что у меня во-

лосы буквально поднимались на голове. Мне было тринадцать лет, когда я с родными сделал первое путешествие по Италии. Изобразить всю силу моих впечатлений и весь переворот, совершившийся во мне, когда открылись душе моей сокровища искусства, невозможно...»

И далее:

«Мое первое отроческое путешествие началось с Венеции, где мой дядя сделал большие художественные приобретения. Между прочим им был куплен бюст молодого фавна, приписываемый Микель-Анджело, одна из великолепнейших вещей, какие я только знаю. Когда статую перенесли в наш отель, я не отходил от нее. Я вставал ночью посмотреть на нее, и мое воображение мучили нелепейшие страхи. Я задавал себе вопрос, что мне делать, если вспыхнет пожар, и делал опыты, могу ли я унести статую. Из Венеции мы отправились в Милан, Флоренцию, Рим, Неаполь, и мой восторг и любовь к искусству все возрастали; дело дошло до того, что по возвращении в Россию, я впал в тоску по Италии, в настоящую «тоску по родине», — доходил до отчаяния, которое заставляло меня днем и ночью рыдать, когда мои сны уносили меня в мой потерянный рай. После же этой страсти вскоре начало развиваться во мне нечто такое, что с первого взгляда может показаться противоречием: это была страсть к охоте. Я предавался ей с таким жаром, что посвящал ей все мое свободное время. В ту пору я состоял при Дворе Императора Николая Павловича и вел весьма светскую жизнь, которая была для меня не без обаяния, но я часто ускользал от нее, чтобы пропадать целыми неделями в лесах. Я отдался очертя голову этой стихии — и стихия эта и моя любовь к нашей дикой природе отразились на моей поэзии, быть может, почти столько же, как и чувство пластической красоты...»

И точно, Толстой поражает наличием самых противоположных по форме и по темам созданий. Вот Иоанн Дамаскин, молящий своего повелителя:

— О, отпусти меня, калиф,
Дозволь дышать и петь на воле!

Вот Поток, богатырь из Киева, который пляшет на пиру у князя Владимира:

В Заднепровье послышался лешаго вой,
По конюшням дозором пошел домовый,
На трубе ведьма пологом машет,
А Поток себе пляшет и пляшет...

А за Потоким следует «Дракон», итальянские терции, от которых не отказался бы сам Данте, за «Драконом» — драматическая поэма «Дон Жуан», а далее — русская драматическая трилогия во главе со «Смертью Грозного»... Вот переводы из Гёте, Шенье, Байрона — и русские были, то величавые, как голос веков, то полные того русского удалства, которое «по всем жилушкам переливается». Вот «летают и пляшут стрекозы, веселый ведут хоровод», а вот:

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле,
В небе крик орлиных стай,
Волчий голос в поле! —

и потрясающая баллада о волках:

Когда в селах пустеет,
Смолкнут песни селян,
И седой забелеет
Над болотом туман...

И просто не верится после этой баллады, что та же рука писала: «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «Вот уж снег последний в поле тает» или эту знойную роскошь Крыма:

Клонит к лепи полдень жгучий,
Замер в листьях каждый звук...

Что есть у какого-нибудь Есенина, Ивана Непомнящего? Только дикарская страсть к хвастовству да умение плевать. И плевать ему легко. Это истинный Иван Непомнящий. В степи, где нет культуры, нет сложного и прочного быта, а есть только бродячая кибитка, время и бытие точно проваливаются куда-то, и памяти, воспоминаний почти нет. Другое дело Толстые. Как замечательны слова Толстого о той боли, с которой он старался «вспомнить» что-то после обморока! О, Толстым есть что вспомнить! А воспоминание, — употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле, — живущее в крови, тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших. Оттого-то так часто и бывают истинные поэты так называемыми «кон-

серваторами», то есть хранителями, приверженцами прошлого. Оттого-то и рождает их только быт, вино старое. И оттого-то так и священны для них традиции, и оттого-то они и враги насильственных ломок священной растущего древа жизни.

Произведения Толстого есть лучшее доказательство богатства его природы и ее разносторонности, столь отличной от искусственной и бездушной «многогранности» наших современников. В этих произведениях много и прямых самохарактеристик: «Коль любить, так без рассудку...» «Господь, меня готовя к бою, мне душу пылкую вложил, но непреклонным и суровым меня Господь не сотворил...» «Двух станов не боец, а только гость случайный...» «Что ни день, как полымя со влагой, так унынье борется с отвагой...» И самохарактеристики эти лишней раз подтверждают, что это была натура все-таки прежде всего русская, что поэзия Толстого есть действительно «русский глагол». А самохарактеристики в его письмах, дневниках? Вот его чудесное письмо к жене:

— Я верю в Бога всецело и безгранично... Нам, быть может, еще много лет жить на этой земле — будем же стараться быть лучше и достойнее...

— Я не хозяин... Я уже давно утратил чувство собственности, если только я когда-нибудь имел его...

— У меня чувство роскоши очень развито. Я люблю, чтобы были великолепные дворцы, художественные шедевры, но сам я не люблю их иметь. Я их люблю, я ужасно страдаю, когда их портят, когда ими пренебрегают, но сам я ни за что не согласился бы жить в роскошном дворце. Луи Блан проповедует коммунизм и против роскоши, а сам ест дичь с ломтиками ананаса — ты видишь, что он свинья...

— Мой ум под влиянием страстей, но он направлен к добру, к прекрасному, к искусству...

— Я не знаю, как это делается, но почти все, что я чувствую, я чувствую художественно...

— Я не знаю, как другие пишут, но у меня при приближении звуков волосы поднимаются и слезы брызгают из глаз...

— Одно время, в молодости, я всецело жил в веке Медичи, я принимал к сердцу произведения этого столетия с таким чутьем, пылом и энтузиазмом, как это мог сделать только современник Бенвенуто Челлини...

Прибавлю к этому и еще несколько цитат — из писем Толстого к друзьям.

Вот он клеймит гонения на национальности, составляю-

щие население России, клянет принудительное, деспотическое обрусение их.

Вот он говорит о Европе, допускающей гибель кандитов: «Европа выходит из своей роли и поступает по-татарски, и я отказываюсь от такой Европы».

Вот его горячие строки о монархии и деспотии: «Я слишком художник, чтобы нападать на монархию... Но я ненавижу деспотизм, ненавижу так, как ненавижу Сен-Жюста, Робеспьера...»

И так, кто же перед нами? Иоанн из Дамаска, соправитель калифа, а потом песнопевец и святитель Божий, или же Илья из Мурома?

— Не терплю богатых сеней,
Мраморных тех плит,
От царьградских от курений
Голова болит...
Снова веет воли дикой
На Илью простор —
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор...

Как видите, на Илью похоже. Но ведь похоже и на Иоанна. Рыцарь или витязь? И опять ответ выходит как будто двойной. «Я жил в веке Медичи». Или из другого письма к жене: «Как в Витбурге хорошо! Даже есть инструменты миннезингеров двенадцатого века. И у меня забилось и запрыгало сердце в этом рыцарском месте, и я знаю, что прежде я к нему принадлежал». Но ведь билось, прыгало сердце не меньше и в другом месте.

Край ты мой, родимый край,
Конский бег на воле!

И ведь сам же Толстой сказал про себя: «Я не принадлежу ни к какой стране — я принадлежу всем. Моя плоть русская, славянская, но душа общечеловеческая».

Сущая правда, все великие души таковы. Но человеческое — одно, а интернационализм или русско-планетарное Неуважай-Корыто, Бога не знающее, родства не помнящее, — другое.

Илья из Мурома или Иоанн из Дамаска? Но ведь оба ходили по мраморным плитам — и оба жаждали поклониться «государыне-пустыне», оба несли подвиг Божий — и оба во святых Его: ведь и Илья почит в Киевских пещерах.

В 69 году Толстой записал о себе: «Я западник с головы до ног, и настоящий славизм западный, а не восточный». Это

в его устах значило: Русь киевская, с Святогором, с Феодосием Печерским. «Собирание земли», — писал он далее: — *Собирать хорошо, но что собирать?* Когда я вспоминаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния!» — Что бы он сказал теперь?

Теперь дело обстоит много, много хуже. Теперь в стихах пролетарских хвастунов даже заборы растут и за этими «заборами низкорослыми» молитвы совершаются на единственном языке, известном российским поэтам, — то есть на матерном («Богу молюсь матерщиною»). Теперь революция в поэзии выродилась, как в жизни, в большевизм и, достигая своего апогея, притязает, как и большевизм, на монопольный русизм и даже на миссианство.

«Я обещаю вам Инонию!» — Но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди-ка ты лучше prospись и не дыши на меня своей миссианской самогонкой! А главное, все-то ты врешь, холоп, в угоду своему новому барину!

«Луи Блан проповедует коммунизм, а сам ест дичь с ломтиками ананаса — ты видишь, что он свинья».

Если на русских свиней даже и на всех хватит ананасов, все-таки оне останутся свиньями. Но это никак не есть идеал будущей России.

Нет, шутишь! Жива наша русская Русь,
Татарской нам Руси не надо!

ДУМАЯ О ПУШКИНЕ

«Просьба ответить: 1) Каково ваше отношение к Пушкину, 2) прошли ли вы через подражание ему и 3) каково было вообще его воздействие на вас?»

Не от большевиков, не из России, но напечатано по «новому» правописанию.

Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы, — можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она — и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса? Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный

вопрос: «Каково ваше отношение к Пушкину?» В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:

— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?

И мужик отвечает:

— Никак они не смеют относиться ко мне.

Вот вроде этого и я мог бы ответить:

— Никак я не смею относиться к нему...

Вопрос этот стал возможен только теперь, после Есениных и Маяковских:

Я обещаю вам Инонию...

Белогвардейца — к стенке!
А почему не атакован Пушкин?

И все-таки долго сидел, вспоминал, думал. И о Пушкине, и о былой, пушкинской России, и о себе, о своем прошлом...

Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я,— в самой ранней молодости подражал даже в почерке. Потом явно, сознательно согрешил, кажется, только раз. Помню, однажды ночью перечитывал (в который раз?) «Песни западных славян» и пришел в какой-то особенный восторг. Потушив огонь, вспомнил, как год тому назад был в Белграде, как плыл по Дунаю,— и стали складываться стихи «Молодой король»:

То не красный голубь метнулся
Темной ночью над черной горою —
В черной туче метнулась зарница,
Осветила плетни и хаты,
Гроном гремит далеким.

— Ваша королевская милость,—
Говорит королю Елена,
А король на коня садится,
Пробует, крепки ли подпруги,
И лица Елены не видит,—
Ваша королевская милость,
Пожалейте ваше королевство,
Не ездите ночью в горы:

Вражий стан, ваша милость, близко.—
Король молчит, ни слова,
Пробует, крепко ли стремя.

— Ваша королевская милость,—
Говорит королю Елена,—
Пожалейте детей своих малых,
Молодую жену пожалейте,
Жениха моего пошлите!

Король в ответ ей ни слова,
Разбирает в темноте поводья,
Смотрит, как светит на горе зарница.

И заплакала Елена горько
И сказала королю тихо:
— Вы у нас ночевали в хате,
Ваша королевская милость,
На беду мою ночевали,
На мое великое счастье.
Побудьте еще хоть до света,
Отца моего пошлите!

Не пушки в горах грохочут —
Гром по горам ходит,
Проливной ливень в лужах плещет,
Снятая зарница освещает
Дождевые длинные иглы,
Вороненую черноту ночи,
Мокрые соломенные крыши,
Петухи поют по деревне,—
То ли спросонья, с испугу,
То ли к веселой ночи...
Король сидит на крыльце хаты.

Ах, хороша, высока Елена!
Смело шагает она по навозу,
Ловко засыпает коню корма.

Затем что еще? Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых

(пушкинских каких-то) настроений, что Бог порою давал в жизни. Вот, например, прекрасный весенний день, а мы под Неаполем, на гробнице Вергилия, и почему-то я вспоминаю Пушкина, душа полна его веянием — и я пишу:

Дикий лавр, и плющ, и розы
Дети, тряпки по дворам
И коричневые козы
В сорных травах по буграм,

Без границы и без края
Моря вольные края...
Верю — знал ты, умирая,
Что твоя душа — моя.

Знал поэт: опять весной
Будет смертному дано
Жить отрадою земною,
А кому — не все ль равно!

Запах лавра, запах пыли,
Теплый ветер... Счастлив я,
Что моя душа, Вергилий,
Не моя и не твоя.

А вот другая весна, и опять счастливые, прекрасные дни, а мы странствуем по Сицилии... При чем тут Пушкин? Однако я живо помню, что в какой-то связи именно с *ним*, с Пушкиным, написал я:

Монастыри в предгорьях глухих,
Наследие разбойников морских,
Обитатели забытые, пустые —
Моя душа жила когда-то в них:
Люблю, люблю вас, келии простые,
Дворы в стенах тяжелых и нагих,
Валы и рвы, от плесени седые,
Под башнями кустарники густые
И глыбы скользких пепельных камней,
Загромоздивших скаты побережий,
Где сквозь маслины кажется синей
Вода у скал, где крепко треплет свежий,
Соленый ветер листьями маслин
И на ветру благоухает тмин!

А вот Помпея, и опять почему-то со мною он, и я пишу в воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нем:

Помпея!-Сколько раз я проходил
По этим переулкам! Но Помпея
Казалась мне скучней пустых могил,
Мертвей и чище нового музея.

Я ль виноват, что все позабыл:
И где кто жил, и где какая фея
В нагих стенах, без крыши, без стропил,
Шла в хоровод, прозрачной тканью вея!

Я помню только римские следы,
Протертые колесами в воротах,
Туман долин, Везувий и сады.

Была весна. Как мед в незримых сотах,
Я в сердце жадно, радостно копил
Избыток сил — и только жизнь любил.

А вот лето в псковских лесах, и присутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:

Вдали темно и чащи строги.
Под красной мачтой, под сосной
Стою и медлю — на пороге
В мир позабытый, но родной.

Достойны ль мы своих наследий?
Мне будет слишком жутко там,
Где тропы рысей и медведей
Уводят к сказочным тропам.

А вот изумительно чудесный летний день дома, а орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что

не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней... Вышли стихи: «Дедушка в молодости»:

Вот этот дом, сто лет тому назад,
Был полон предками моими,
И было утро, солнце, зелень, сад,
Роса, цветы, а он глядел живыми
Сплошь темными глазами, в зеркала
Богатой спальни деревенской
На свой камзол, на красоту чела,
Изысканно, с заботливостью женской
Напудрен рисом, надушен,
Меж тем как пахло жаркою крапивой
Из-под окна открытого, и звон,
Торжественный и празднично-счастливый,
Напоминал, что в должный срок
Пойдет он по аллеям, где струится
С полей нагретый солнцем ветерок
И золотистый свет дробится
В тени раскидистых берез,
Где на куртинах диких роз,
В блаженстве ослепительного блеска,
Впивают пчелы теплый мед,
Где иволга то вскрикивает резко,
То окариною поет,
А вдалеке, за валом сада,
Спешит народ, и краше всех — она,
Стройна, нарядна и скромна,
С огнем потупленного взгляда.

— «Каково было вообще его воздействие на вас?» Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так *особенно* — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вы-

шел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас, — отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...», «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной...». В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся ее молодость, — ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилкой (Людмилой Александровной), и я смешивал ее, молодую, — то есть воображаемую молодую, — с Людмилой из Пушкина. Ничего для моих детских, отроческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней ее молодости и того мира, где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина, и обожать не просто, как поэта, а как бы еще и своего, нашего?

— «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел...» — с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:

— С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?

— «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...» — читала она, и опять это чаровало меня *вдвойне*: ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны...

А потом — первые блаженные дни юности, первые любовные и поэтические мечты, первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из «публичной библиотеки», а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили «Сочинения А. Пушкина». И вся моя молодость прошла с ним. И то он рождал во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: «Мороз и солнце, день чудесный...» Вот я собираюсь на охоту — «и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?». Вот зимний вечер, вьюга — и разве «буря мглою небо кроет» звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна темной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: «О, Делия драгая,

спешу, моя краса, звезда любви золотая взошла на небеса...» Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: «Слыхали ль вы за рощей в час ночной певца любви, певца своей печали?» Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», — а не электрическая лампочка, — и опять *его* словами изливаю я свою выдуманную юношескую любовь: «Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви!» А наутро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчетной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пенье птиц, — и читаю строки, как будто для меня и именно об этой роще написанные:

В роще сумрачной, тенистой,
Где, журча в траве душистой,
Светлый бродит ручеек!..

А там опять «роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы» — от той самой забавы, которой с такой страстью предаюсь и я. А вот осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего старого сада большая, красновато-мглистая луна: «Как привидение за рощею сосновой луна туманная взошла», — говорю я *его* словами, страстно мечтая о той, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот час «к брегам потопленным шумящими волнами» — и как я могу определить теперь: Бог посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печальному женскому образу или он, Пушкин?

А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он — или я? — «среди зеленых волн, лобзающих Тавриду», видел Нереиду на утренней заре, видел «деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушуй, в бурной мгле, играло море с берегами» — и незабвенные воспоминания о том, как когда-то и *мой* конь бежал «в горах, дорогою прибрежной», в тот «безмятежный» утренний час, когда «все чувство путника манит» —

И зеленеющая влага
Пред ним и плещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага...

О НОВОЙ ОРФОГРАФИИ

Письмо в редакцию

- Глубокоуважаемый Петр Бернгардович,

В «Последних новостях» напечатано открытое письмо ко мне г. Гофмана по поводу так называемой новой орфографии. Я в одной из своих последних статей сказал, что не могу принять эту орфографию «уже хотя бы потому, что по ней написано все самое злое, низкое и лживое, что только было написано на земле», и в совершенно естественной горячности обозвал ее «заборной, объявленной невеждой и хамом», и тем дал повод г. Гофману к престранному умозаключению: он вообразил, что я оскорбил ученых, работавших во главе с покойным А. А. Шахматовым над русской орфографией при Академии Наук!

— «Позвольте уверить вас, говорит он в своем письме ко мне, что не желание *поддеть* вас руководит мною, а глубокая обида за память людей, подобных Шахматову, которую вы нанесли, сами того, конечно, не желая».

Так вот позвольте и мне уверить читателей, которых г. Гофман вводит в заблуждение, может быть, и впрямь, не имея намерения «поддеть» меня, а единственно в силу своей излишней обидчивости: «люди, подобные Шахматову», приплетены г. Гофманом совсем ни к чему, я Шахматова и людей, подобных ему, почитаю не меньше его. Да не совсем разумны и прочие его обиды и соображения.

Он дивится, что я назвал орфографию, истинно «хамски» навязанную России большевиками, заборной. Но как же она не заборная, когда именно забор и в точном и в переносном смысле этого слова так долго служил ей?

Он говорит, что новая орфография явилась «результатом» ученых работ при Академии. Но как же она могла явиться «результатом», когда работы эти *не были закончены* к началу революции?

Он указывает мне на то, что она была объявлена не большевиками, а Мануйловым. Но это тоже не имеет отношения к делу. Всегда очень сожалел и продолжаю сожалеть, что Мануйлов так поспешил в своем революционном усердии на счет вопроса, который был еще далеко не решен и остается спорным и до ныне (даже и для больших ученых в этой области), но дело-то, повторяю, совсем в другом: в том, что все-таки именно «невежда и хам» большевик, приказал под страхом смертной казни употреблять только эту орфографию.

⟨РЕЧЬ О ПУШКИНЕ⟩

Полтора века тому назад Бог даровал России великое счастье. Но не дано было ей сохранить это счастье. В некий страшный срок пресеклась, при ее попустительстве, драгоценная жизнь Того, Кто воплотил в себе ее высшие совершенства. А что случилось с ней самой, Россией Пушкина, — и опять-таки при ее попустительстве, — ведомо всему миру. И потому были бы мы лжецами, лицемерами — и более того: были бы недостойны произносить в эти дни Его бессмертное имя, если бы не было в наших сердцах и великой скорби о нашей общей с Ним родине.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!

Как же умалчивать, памятуя Его, что уже не только нет града Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поколеблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не может погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до конца силы Адовы.

21 июня 1949 г.

КОММЕНТАРИИ

ОТ АВТОРА

Печатается по изданию: Бунин И. А. Весной, в Иудее.— Роза Иерихона. Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1953. с. 7—9.

ДНЕВНИК 1917—1918 гг.

Впервые опубликован в Собрании сочинений в шести томах И. А. Бунина, т. VI. М., «Художественная литература», 1988. Отрывки, с большими искажениями текста, напечатаны в «Новом мире», 1965, № 10.

Для настоящего издания тексты заново сверены по автографу (ГБЛ, ф. 622 Н. П. Смирнова-Сокольского, карт. 3, ед. хр. 33), восстановлены фразы, где были сделаны редакцией кушюры; дневниковые записи дополнены отрывками, которые в VI том названного выше издания не попали в силу объективных причин, связанных с работой над автографом.

1917

Август.

Мая... *Лида Лозинская.*— В с. Глодове, Орловской губ., бывали у Бунина Лидия Алексеевна Лозинская и ее сестры Маня и Зина, дочери местного лавочника. Маня была замужем за Петром Алексеевичем Пушешниковым (?—1945), зубным врачом, братом упоминаемого в дневнике Коли — Н. А. Пушешникова (1882—1939), переводчика Голсуорси, Киплинга, Дж. Лондона, Тагора. Лозинские были люди культурные. Матери Пушешниковых, Софье Николаевне Пушешниковой (?—1942), двоюродной сестре Бунина, принадлежало в Глодове имение Васильевское, где он обычно проводил лето и много здесь написал.

Отослал книгу Нилусу Клестову.— Рукопись книги рассказов художника и писателя Петра Александровича Нилуса (1869—1943) «На берегу моря» была послана Буниным Н. С. Клестову (псевд. Ангарский) (1879—1943), заведовавшему практическими делами Книгоиздательства писателей в Москве. Бунин редактировал рукопись этой книги и держал корректуру. Вышла в феврале 1918 г.

Письмо Нилусу — 30 июля 1917 г., см.: «Письма Бунина Нилусу» в журн. «Русская литература», 1979, № 2.

Ардаламеевская ночь — искаж. Варфоломеевская ночь, массовые убий-

ства гугенотов, приверженцев кальвинизма, католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея) в Париже.

Колонтаевка — имение гловских помещиков Бахтеяровых. Изображено Буниным в «Митиной любви» под именем Шаховское. О Колонтаевке — стихи Бунина «Рыжими иголками...».

Предгечево — село, где было имение Алексея Алексеевича Муромцева, двоюродного дяди В. Н. Муромцевой-Буниной. Он является прототипом улана Черкасова в рассказе «Натали».

Юлий — брат Бунина, Юлий Алексеевич (1857—1924), журналист, участник народнического движения.

Ф(едор) Д(митриевич) — лесник, охотник, бывший дворовый Пушешниковых; жил в избушке в лесу; мужики считали его колдуном.

Скородное — соседний лес; принадлежал помещикам Победимовым.

Гоц Абрам Рафаилович (1882—1940), эсер. В 1917 г. председатель ВЦИК. После Октябрьской революции организовал антисоветский мятеж.

Дан (Гурвич) Федор Ильич (1871—1947), один из лидеров меньшевиков. В 1917 г. член исполкома Петроградского совета, ВЦИК. В 1922 г. выслан за границу.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878—1943), один из лидеров эсеров; министр внутренних дел во втором коалиционном Временном правительстве Керенского.

Керенский Александр Федорович (1881—1970), один из лидеров партии эсеров, премьер-министр Временного правительства и верховный главнокомандующий. Эмигрировал в Париж, где издавал газету «Дни», в ней печатался Бунин.

Женя — Евгений Иосифович Ласкаржевский (1899—1919), сын сестры Бунина, Марии Алексеевны.

«Новая жизнь». — Организатором, редактором и пайщиком этой газеты был Горький. Он просил Бунина сотрудничать в ней. Издавалась в Петрограде с 18 апреля (1 мая) 1917 г. по июль 1918 г.; с июня 1918 г. выходила в двух изданиях — в Петрограде и в Москве.

Шмелев Иван Сергеевич (1873—1950) вел спор с Буниным о русском народе на собрании Книгоиздательства писателей в Москве 21 апреля 1918 г.

«Раннее утро». Прочел первый день московского совещания. — Газ. «Раннее утро» (М., 1917, № 185, 13 августа) сообщала о «Всероссийском государственном совещании», проходившем в Большом театре под председательством Керенского. Газ. «Русская воля» оценивала совещание как столкновение «буржуазии с революционной демократией». Делегаты большевиков получили на конференции наказ огласить свою декларацию и демонстративно покинуть совещание.

Элефантина — остров на Ниле.

Статья Кусковой. — Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — публицист. В 1922 г. выслана за границу. О ней Бунин сказал: «Эта вечная

нестерпимая резонерша мадам Кускова». По его мнению, она принадлежала к той интеллигенции, которая не знала русской деревни и русского народа.

Читал... Масперо о Египте... о путешествии Бауку... — В книге французского ученого Масперо «Древняя история. Египет. Ассирия» Бунина захватило повествование о царском конюшем Бауку, посланном по приказу фараона Рамзеса II во вражеский стан к Тиру и Сидону.

Вернон Ли (1856—1935) — английская писательница, автор романов, комедий, трудов по истории искусства и культуры.

Кресты — перекресток дорог, куда Бунин с женой совершали прогулки.

Перечитываю «Федона» — то есть сочинение древнегреческого философа Платона (ок. 427—ок. 347) о Сократе, написанное в форме диалога. Бунина необычайно волновала смерть Сократа, осужденного на казнь (принял яд) за его учение, которое он излагал устно: записано учениками Ксенофонтом и Платоном. Сократ стремился к нравственному возрождению общества в борьбе с софистами, пришедшими к скепсису и к утверждению относительности нравственных понятий, отстаивавшими прагматические воззрения на жизнь в противоположность поискам абсолютной истины. Нравственные идеи Сократа находят выражение в творчестве Бунина, в частности в рассказах «Возвращаясь в Рим» и «Бернар».

Мартов (Цедербаум Юлий Осипович) (1873—1923), меньшевик, с 1919 г. член ВЦИК. Эмигрировал в 1920 г.

Деревя... точно бёклиновские, — то есть чем-то, красками, схожие с живописью швейцарского художника Бёклина Арнольда (1827—1901).

Начал читать Н. Львову. — Львова Надежда Григорьевна (1891—1913) — автор сборника стихов «Старая сказка», с предисловием В. Я. Брюсова, который посвятил ей книгу «Стихи Нелли»; двадцати двух лет, в 1913 г. покончила самоубийством. О ней писали Эренбург и Ахматова.

Вилье де Лиль-Адан (1838—1889) — французский писатель. Принадлежал к группе поэтов «Парнас», затем примкнул к символизму. Брюсов предсказывал, что «Жестокые рассказы» станут произведениями классическими для многих поколений.

Стихи духовные, СПб., 1912.

Аресты великих князей. — Газ. «Русское слово» (1917, № 192, 23 августа) писала: «В ночь на 22 августа во дворцы, занимаемые великим князем Михайлом Александровичем, в Гатчине, и великим князем Павлом Александровичем, в Царском Селе, прибыли в автобусах следственные власти, а также комиссар над петроградским градоначальством. По распоряжению Временного правительства были подвергнуты домашнему аресту великие князья. (...) Как выяснилось, во время арестов великих князей присутствовал А. Ф. Керенский».

Книга Полевого Н. А. (1796—1846) — «История народа русского» (т. 1—6).

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869—1945) (псевдоним — Антон Крайний) — писательница, критик, жена Д. С. Мережковского.

Митя — Пушешников Дмитрий Алексеевич (?—1954), юрист.

...*Объявление Керенского...* — «Русское слово» (1917, № 196, 28 августа) опубликовало воззвание «От министра-председателя» Керенского: «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне члена Государственной думы В. Н. Львова с требованием Временному правительству передать генералу Корнилову всю полноту власти». Керенский, сообщалось далее в воззвании, уволил Корнилова от должности верховного главнокомандующего, объявил Петроград на военном положении.

Арсик — Бибилов Арсений Николаевич (1873—1927), актер и киноактер, друг Бунина; автор стихотворений и рассказов, печатавшихся в журналах «Юная Россия», «Наш журнал», член Московского литературно-художественного кружка.

Рышковы — соседи Буниных по имению в Озерках.

Каледин Алексей Максимович (1861—1918) — атаман войска Донского. В октябре 1917 г. возглавил антисоветский мятеж.

Сентябрь

3-го сентября. — Бунин читал в журнале «Летопись» «Воспоминания» Ф. И. Шалапина; по его мнению, «есть лишние и безвкусные места (сцена с горничной)». Он говорил Н. А. Пушешникову, что «Горький исправлял эти записи. Это чувствуется».

«Русское слово» от 31-го и 1-го. — 31 августа напечатана заметка «Капитуляция ген. Корнилова»; а 1 сентября — заголовок во всю страницу: «Ликвидация Корниловского мятежа»; большая часть его войск перешла на сторону Временного правительства.

Каменев Лев Борисович (1883—1936) — член ЦК партии большевиков, был представителем партии в Петроградском совете и в его исполкоме, ВЦИК. Редактор газеты «Правда».

Стеклов (Нахимкис) Юрий Михайлович (1873—1941) — в 1917 г. член исполкома Петроградского совета.

Газеты... переворот. — «Русское слово» сообщало 3 августа: «Кризис власти. — Провозглашена республика. — Арест ген. Корнилова... Отставка Авксентьева...»

Либер (Гольдман) Михаил Исаакович (1880—1937) — в 1917 г. член исполкома Петроградского совета, ВЦИК.

Кишкин Николай Михайлович (1864—1930) — кадет, в 1917 г. входил в состав Временного правительства.

Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908) — поэт, один из создателей Козьмы Пруткова. Много позднее, вспоминая свои начальные литературные успехи, Бунин о нем сказал: «Жемчужников, проводивший меня в «Вестник Европы»».

Савинков Борис Викторович (В. Ропшин) (1879—1925) — эсер, во Временном правительстве — товарищ военного министра; писатель — автор повести «Конь бледный» (1909), романа «То, чего не было» (1914), «Книги стихов» (Париж, 1931).

...*письмо Кусковой*. — Бунин писал ей: «С величайшим удовольствием увидел сегодня, что из списков сотрудников «Власти народа» внезапно исчезло мое имя. Вам хорошо известно, сколь мало заинтересован я числиться в нем, но ведь это нарушение самой элементарной пристойности, дерзость, на которую я впервые натыкаюсь в редакционном мире. Совершенно уверенный, что это сделано без вашего ведома, пишу все же вам, так как приглашали меня во «Власть народа» вы» (Музей Тургенева). Позднее Бунин сообщал брату Юлию Алексеевичу, что Кускова прислала письмо, «вывертывается. Я ответил ей очень ласково» (там же). Пятого октября 1917 г. он также писал Ю. А. Бунину: «Из «Новой жизни» меня, слава Богу, вычеркнули».

Декларация правительства... — Опубликовано за подписью А. Керенского в газ. «Русское слово», 1917, № 220, 27 сентября, под заглавием «Новая власть».

Малыгович Павел Николаевич (1869—1941) — адвокат, министр юстиции Временного правительства. Подписал ордер на арест Ленина. В 1930-е годы репрессирован.

Октябрь.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844—1934) («Бабушка») — один из лидеров партии эсеров, в 1917 г. поддерживала Временное правительство. В 1919 г. эмигрировала.

Логофетова усадьба... Наше родовое. — Имение принадлежало когда-то матери Бунина, потом помещику Логофету и, наконец, его нищему сыну, пьянице. В этой усадьбе над ним совершилось возмездие. Брат Бунина, Юлий Алексеевич, участник народнической подпольной работы, скрывался от полиции у родителей. Его арестовали по доносу. «...На следующий день, — пишет В. Н. Муромцева-Бунина, — как Логофет донес на Юлия, его убило дерево, которое рубили в саду» (Муромцева-Бунина В. Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., «Советский писатель», 1989, с. 52).

Эрфуртская программа — принята социал-демократической партией Германии на съезде в Эрфурте в 1891 г.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк, публицист; министр иностранных дел Временного правительства. В эмиграции, в Париже, издавал газету «Последние новости», в которой часто печатался Бунин.

Буццев Владимир Львович (1862—1942) — публицист; был редактором-издателем парижской газеты «Общее дело», в которой печатались произведения Бунина.

Скиталец (Петров) **Степан Гаврилович** (1869—1941) — писатель.

Маша — Бунина Мария Алексеевна (1873 — нач. 1930-х гг.).

Софья — С. Н. Пушешникова.

Спустишь шкуру... со всех этих Венгеровых. — Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы, библиограф; возглавлял многотомное издание «Русская литература XX века». Для Бунина неприемлемо было освещение декадентской литературы в этом издании. Н. А. Пушешников пишет: Иван Алексеевич читал биографию А. Белого в «Истории русской литературы» Венгерова, написанную Ивановым-Разумником. «Он кричал, кусал кулаки, бросался на свой малиновый диван вниз лицом.

— Я теряюсь! У меня нет сил выразить то, что я испытал, читая эту биографию А. Белого — это какое-то исчадие книжности! Белый, продолжал Бунин, «не может сказать ни единого простого человеческого слова! Все у него надуманное, мертвое, книжное!.. Ни одного живого слова. И главное: об этом никто не кричит, никто не говорит, точно во всем этом нет ничего показательного, страшного даже» (Дневник Пушешникова. — Музей Тургнева)

«Село Степанчиково» — повесть Достоевского.

Всю жизнь... «о подленьком». — Бунин резко критически высказывался о Достоевском, но все же, несмотря ни на что, для него Достоевский — гениальный писатель.

Арсик — сын Евгения Алексеевича Бунина; род. в 1917 г. В. Н. Муромцева-Бунина писала Ю. А. Бунину 18 октября 1917 г.: «Наши из Ефремова приехали, на Яна (И. А. Бунина. — А. Б.) это подействовало хорошо. Он очень полюбил Арсика, все плюется и говорит, «как бы не сглазить этого ангела».

...хутор Лукьян Степанова. — По-видимому, этот хутор и его владелец дали впечатление Бунину для изображения Лукьяна Степанова в рассказе «Князь во князьях», жившего с семьей в землянке, хотя по своим средствам мог бы жить в хорошем доме.

Убирался, запакowyвал черный сундук. — О сборах к отъезду в Москву, которые были начаты несколько раньше, Н. А. Пушешников записал в дневнике: Бунин складывал в громадный железный сундук охотничье ружье, фотоаппарат, «тропические белые шлемы, в которых он путешествовал на Цейлон и в Африке. (...) Потом мы убирали книги дедовской библиотеки: первые издания Карамзина, Баратынского, Веневитинова, «Аббадонну» Полевого, «Камчадалку» Калашникова и пр. («Кота Мурра» (Гофмана) в переводе Кетчера, Лажечникова)». Была также, в числе прочих, книга, подаренная Бунину Чеховым, с надписью: «Милый Иван Алексеевич, я тоже когда-то писал стихи, и написал два стихотворения. (...) И он, — пишет Бунин, — сказал мне, даря эту книгу и смеясь: честное слово, это мои стихи, написанные в Таганроге, когда мне было восемь лет» Книжка эта вместе с множеством других книг, среди которых было немало просто драгоценных, погибла после нашего бегства из Васильевского, в конце октября 1917 года»

(Письмо Бунина Г. В. Адамовичу. — В сб.: «А. П. Чехов. Сборник статей и материалов». Симферополь, 1962, с. 27—28).

...выборы в Учредительное собрание. — Эти выборы интересовали Бунина. Он писал Ю. А. Бунину: «Пронал, кажется, мой голос на выборах в Учредительное собрание! Надеюсь быть в Москве во время выборов, но внесен ли я по Москве в списки?» (Музей Тургенева). Позднее Бунин сказал: «Учредительное собрание, которое погубило страну!»

Лида — Л. А. Лозинская.

Зилбе Лев Николаевич (1883—1937) — писатель, автор стихов и рассказов.

Пишбышевский Станислав (1868—1927) — польский писатель, популярный в России в 1900—1910 гг. Усвоил некоторые идеи Ницше.

Альтенберг Петр (1859—1919) — австрийский писатель-импрессионист.

Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — русский поэт; бедствовал и умер в нищете.

Поварская, 26. В этот приезд в Москву Бунин и Вера Николаевна жили у ее родителей, Муромцевых в квартире № 2.

Катерина Павловна — Пешкова (1876—1965), жена Горького.

Приютили нас Барченко. — Н. А. Пушешников записал в дневнике: «В Ельце остановились у Б(арченко). Вечером К. играл нам Лорелею и Кампанеллу Листа». Барченко — присяжный поверенный Елецкого окружного суда, а затем владелец нотариальной конторы; жил он во дворе этой конторы, в двухэтажном бревенчатом доме. У Барченко Бунин, приезжая в Елец, попадал в общество местной интеллигенции: это — мировой судья Архангельский Николай Петрович, окончивший Казанский университет и завершивший юридическое образование в Варшаве; харьковский певец-бас Горшкович, подолгу гостивший в Ельце; Соколова, дочь священника, консерваторка, обладавшая прекрасным колоратурным сопрано; Кишкин, судебный деятель, отличный пианист. В этом кругу часто устраивались домашние концерты. По-видимому, Кишкин — тот самый К., игру которого слушал Бунин. (За эти сведения о елецких знакомых Бунина я признателен доценту Елецкого педагогического института С. В. Красновой.)

Ноябрь

Телешов Николай Дмитриевич (1867—1957) — писатель.

Объявление в «Русских ведомостях» от 22 октября... Читал «Русские ведомости» за 21, 22, 24, 25. *Сплошной ужас!* — Объявление — о выпуске новых денег. Газета сообщала о беспорядках, погромах и грабежах. В местечке Полонном Волынской губернии «солдаты производят повальные обыски и грабежи жителей. <...> В Житомирском уезде с целью грабежа вырезана еврейская семья». Буйствующие солдаты, бежавшие с фронта, в различных губерниях громили винные заводы и магазины.

В № 243, 24 октября (6 ноября) Бунин прочитал письмо в редакцию

известного толстовца, руководившего издательством «Посредник», которое основал Толстой, — И. И. Горбунова-Посадова: «Истребление усадьбы брата Льва Толстого». Усадьба — Пирогово, Тульской губ. Сергея Николаевича Толстого.

В № 244, 25 октября (7 ноября) — «Постановление г. г. офицеров л.-гв. Петроградского полка». В нем говорится, что солдаты «жаждут только мира, не хотят воевать». «Войска, как такового, нет. Мы, офицеры, как начальники, не существуем. Армия в теперешнем составе и управляемая по теперешней системе, защищать государство не может».

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — поэт и фельетонист газеты «Новое время».

Малиновская Елена Константиновна (1875—1942) — была директором Большого театра в 1920—1924, 1930—1935 гг.

Старк Леонид Николаевич (1889—?) — поэт.

Духонин Николай Николаевич (1876—1917) — генерал.

Крыленко Николай Васильевич (1885—1938) — в 1917 г. член Петроградского военно-революционного комитета. С 9 ноября 1917 г. — Верховный главнокомандующий.

Возвезди патриарх... на престол... — Патриарх Московский и всея Руси Тихон (Блаваин Василий Иванович, 1865—1925). Причислен к лику святых.

1918

Апрель

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882) — генерал; отличился в войне с Турцией в 1877—1878 гг. под Плевной и в сражении при Шейново. Памятник находился на Скобелевской площади (ныне — Советская; первоначально называлась Тверской площадью); установлен был в 1912 г.

Май

Цетлин Михаил Осипович (1882—1945) — поэт и прозаик; в эмиграции был фактическим редактором отдела поэзии парижского журнала «Современные записки», в котором печатался Бунин. Редакторами были Фондаминский (Бунаков) Илья Исидорович (1880—1942) и Вишняк Марк Вениаминович (1883—1976), журналист.

Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк литературы и общественной мысли; автор книги (совместно с Вяч. Ивановым) «Переписка из двух углов». П., 1921.

Эренбург Илья Григорьевич (1891—1967) — писатель.

Илбер Вера Михайловна (1890—1972) — поэтесса.

Фриче Владимир Максимович (1870—1929) — комиссар по иностранным делам при Моссовете до переезда в Москву Совнаркома и Наркоминдела; литературовед.

Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926) — писательница, дочь профессора права Томского университета; сотрудничала в газете «Новая жизнь»; работала в посольстве в Афганистане и написала книгу «Афганистан» (1925).

Коган Петр Семенович (1872—1932) — критик.

Немцы мордуют раду. — Центральная рада украинская — буржуазно-националистическая организация, возникла в Киеве в марте 1917 г. Ею руководили М. Грушевский, В. Винниченко, С. Петлюра и др. С июля 1917 г. центральная рада создала «правительство». В декабре 1917 г. была провозглашена Украинская республика советов, и центральная рада была разгромлена, бежала из Киева за границу; возвратилась на Украину с помощью австро-германских войск, которые в феврале 1918 г. оккупировали почти всю Украину.

На курьей ношке. — Ношка — старинное «межа».

Зоя — Шрейдер Зоя Евгеньевна, жена художника Шрейдера.

Каменские. — По-видимому, Каменский Анатолий Павлович (1876—1941) и Каменская О. А., с которой Бунин встречался на Капри в 1910 г.

Чулковы. — Чулков Георгий Иванович (1879—1939) — писатель; в 1917 г. издавал газету «Народоправство».

Койранские. — Койранский Александр Арнольдович (1884—1955) художник и поэт; печатался в альманахе «Гриф». Бунин встречался с ним также в Одессе, в частности в редакции газеты «Южное слово», они оба были ее сотрудниками.

Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952) — писательница, переводчица.

Переворот на Украине. — Немецкие оккупанты разогнали центральную раду. 29 апреля 1918 г. создали «правительство» марионеточной «Украинской державы» во главе с генералом П. П. Скоропадским, которого они объявили гетманом Украины.

Мирбах Вильгельм (1871—1918) — с апреля 1918 г. посол в Москве.

Тирпиц Альфред фон (1849—1930) — германский флотоводец.

Лидин Владимир Германович (1894—1979) — писатель.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, критик.

Копылова Любовь Федоровна (1885—1936) — писательница.

Шкляр Николай Григорьевич (1876—1952) — писатель, участник литературного кружка «Среда».

Элита. — В «Истории Москвы» (т. VI, кн. 2, изд. Академии наук СССР, М., 1959) сообщается: «В 1918—1919 гг. на Тверской, на Петровке, на Кузнецком в нескольких кафе («Домино», «Стойло Пегаса», «Десятая муза», «Бом», «Элита», «Красный петух», «Кузница», «Кафе футуристов» и т. д.) каждый вечер выступали поэты со своими произведениями, импровизациями, происходили литературные диспуты и пр.»

Арсик — плачет... — 1 мая ст. ст. 1918 г. скончалась Варвара Владимировна Пашенко, в которую в юности был страстно влюблен Бунин;

она вышла замуж за Арсения Николаевича Бибикова. В. В. Пашенко похоронена на Новодевичьем кладбище. Она является прототипом Лики в романе «Жизнь Арсеньева».

ОКАЯННЫЕ ДНИ

Текст печатается по изданию: Бунин И. А. Собр. соч., т. X, изд-во «Петрополис», Берлин, 1935, с рукописными исправлениями автора (ГБЛ). Перепечатано: «Литературное обозрение», М., 1989, № 4, 6, 7. Редакция журнала воспользовалась проходным изданием недавних лет, не приняла во внимание переданный мною редактору упомянутый выше текст берлинского издания; многочисленные авторские уточнения и изменения стиля не были учтены. Публикация в «Литературном обозрении» не соответствует указанному в «Примечаниях» источнику текста.

«Окаянные дни» не полностью опубликованы в журн. «Даугава», Рига, 1989, № 3—5 — начиная с записи: «Одесса. 1919, 12 апреля».

1918

Январь

«Книгоиздательство писателей в Москве» — пасовое издательство, основанное в 1912 г. Членами товарищества были И. А. Бунин, Ю. А. Бунин, И. А. Белоусов, В. В. Вересаев, Б. К. Зайцев, С. А. Найденов, Н. Д. Телешов, А. С. Черемнов, И. С. Шмелев и др. В 1913—1918 гг. издательство выпустило три сборника «Слово», собрания сочинений Бунина, Зайцева, Сергеева-Ценского, Телешова, Тренева и др., серию книг «Народная библиотека» и «Детская библиотека». И. А. Бунин был до ноября 1914 г. редактором и членом наблюдательного комитета этого издательства, но из-за трений в редакции отказался от этих обязанностей и, по его словам, рад был избавиться от «вечного сумбура заседаний».

О Брюсове: все левее... — Бунин полагал, что взгляды Брюсова одно время были близки взглядам Ф. И. Тютчева, разделявшего воззрения славянофилов. Тютчев развивал панславистские идеи в статье «Россия и Германия» и в стихах «Русская география», «Рассвет» и др.

Февраль

«Среда» — литературный кружок, собрания которого проходили на квартире Н. Д. Телешова, объединял писателей-реалистов, в числе которых были: Бунин, Горький, Куприн, Вересаев, Леонид Андреев; здесь также бывали артисты (Качалов, Шаляпин), художники (Левитан, А. Я. Головин), издатели, журналисты.

Блок... напечатал статью... — «Интеллигенция и революция»; напечатана в газете «Знамя труда», 1918, 19 января. Критик П. С. Коган в статье

«Голос поэта» оценил ее как «отходную старому миру, ликующий при-
ветственный гимн социализму, демократии».

«*Власть народа*» — эсеровская газета; издавалась с 28 апреля 1917 г.
«Кооперативным издательством» по 2 апреля (20 марта) 1918 г.

«*Русское слово*» — ежедневная газета, издававшаяся в Москве с 1894 г.
(издатель И. Д. Сытин; фактический редактор В. М. Дорошевич). При
газете выходило воскресное приложение «Искры» — иллюстрированный
художественно-литературный и юмористический журнал.

Янушкевич Николай Николаевич (1868—1918) — генерал.

Яворская (урожд. Гюббенет) Лидия Борисовна (1871—1921) — рус-
ская актриса; исполняла роли в романтически-приподнятой манере в драмах
Чехова, Ибсена, Гауптмана, Готье, Ростана. В 1901 г. основала в Петер-
бурге «Новый театр». В 1918 г. уехала за границу, жила в Лондоне.

Алексеев Михаил Васильевич (1857—1918) — генерал; в марте 1917 г.
верховный главнокомандующий; он побудил Николая II подписать акт
отречения от престола. После Октябрьской революции возглавлял Доб-
ровольческую армию.

Дерман Абрам Борисович (1880—1952) — литературовед, критик.

Хозяин умер... — оба отрывка из стихотворения Бунина «Жапан»
(1916).

Ауслендер Сергей Абрамович (1886—1943) — беллетрист, драматург,
близкий к кругам символистов; детский писатель.

Муралов Александр Иванович (1886—1937) — советский государствен-
ный и партийный деятель.

«*Литературно-художественный кружок*» существовал с 1899 г. в Мос-
кве на Б. Дмитровке; объединял деятелей литературы и театра. Долгое время
возглавлял его Брюсов. Шестого октября 1913 г. в юбилей газеты «Рус-
ские ведомости» Бунин выступил в «Кружке» со страстной полемической
речью о современной литературе, вызвавшей большие споры в печати.

Кускова Екатерина Дмитриевна (1869—1958) — публицист. В 1922 г.
выехала за границу.

Саликовский А. — украинский социалист-федералист, киевский губерн-
ский комиссар (в апреле 1918 г.), входил в состав «правительства», сфор-
мированного Петлюрой.

Чириков Евгений Николаевич (1864—1932) — прозаик и поэт.

Камецев Николай Михайлович (1862—1918) — генерал; в 1911 г. —
генерал для поручений при военном министерстве.

Самарин — возможно, В. И. Самарин; в 1921 г. был членом ВЦИК.

«*Стрельна*» — ресторан в Москве, с цыганским хором; упоминается в
рассказах Бунина «Второй кофейник», «Чистый понедельник».

Яблоновский Александр Александрович (1870—1934) — журналист. Он
посетил Бунина в Одессе 29 января (11 февраля) 1919 г.; встречались они
и в редакции одесской газеты «Наше слово» 8(21) марта 1919 г. Некролог:
«Возрождение», Париж, 1934, 5 июля.

Бронштейн — Л. Д. Троцкий.

Коля — Н. А. Пушешников.

Мир подписан. — Брестский мир Советской России с Германией, Австро-Венгрией, Турцией подписан 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске.

Штейнберг — по-видимому, Штейнберг Арон Захарович (1891—1975), литератор.

Адрианов Александр Александрович (1862—1918?) — генерал; с февраля 1908 г. по май 1915 г. — московский градоначальник.

Мищенко Павел Иванович (1853—1919) — генерал; в 1911—1912 гг. атаман войска Донского.

Савич Сергей Сергеевич (1863—?) — генерал, начальник штаба Северо-Западного фронта (с 1915 г.), начальник снабжения армии Северо-Западного и Северного фронтов (в 1917 г.). Присутствовал в Пскове в дни отречения Николая II от престола.

Саблин Юрий Владимирович (1897—1937), командовал бригадой революционных войск. Он упоминается в романе А. Н. Толстого «Восемнадцатый год» (Собр. соч. в 10-ти томах. М., «Художественная литература», 1956—1958, т. V, с. 324). Газета «Раннее утро» (1918, 17 января) поместила заметку «Прапорщик Саблин».

Стучка Петр Иванович — участник Октябрьской революции в Петрограде; с 1917 г. нарком юстиции.

Карахан Лев Михайлович (1889—1937) — советский государственный деятель, секретарь советской делегации на переговорах о Брестском мире; дипломат.

Март —

Грузинский Алексей Евгеньевич (1858—1930) — литературовед, переводчик; переписывался с Буниным.

«Яр» — ресторан в Москве, в котором выступал цыганский хор Федора Соколова.

«Медведь» — ресторан.

«Бродячая собака» — «ночной клуб писателей и художников в Петербурге на Караванной улице (закрылся в 1915 г.), где происходили экспромтные выступления. После «Собаки» открылся «Привал комедиантов» на Мойке, дом 7 (закрыт был в 1919 году)» (Берберова Н. Н. Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, 1972).

«Музыкальная табакерка» — литературное кафе в Москве в 1918 г. Его посещали, кроме названных Буниным лиц, поэты-имажинисты (В. Г. Шершеневич). А. Н. Толстой в 1918 г. записал в дневнике: «Музыкальная табакерка. Сидят унылые и боязливые спекулянты, два немецких офицера, матрос, который пьет пятый стакан шоколаду. Выступают поэтессы, напудренный поэт с четками. На темной улице вопят газетчики о только что

вырезанном городе N.». Эта запись отобразилась в романе А. Н. Толстого «Восемнадцатый год» (А. Н. Толстой. Материалы и исследования. М., 1985, с. 358).

Грнев Константин Андреевич (1876—1945) — прозаик, драматург.

Полифем — кровожадный великан с одним глазом (см.: «Одиссея», песнь IX).

Спиридонова Мария Александровна (1884—1941) — политическая деятельница, эсерка. В 1906 г. убила усмирителя крестьянских восстаний Г. Луженовского.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942) — была одним из руководителей организации «Народная Воля»; участвовала в подготовке покушения на Александра II, двадцать лет провела в Шлиссельбургской крепости; автор воспоминаний «Запечатленный труд».

Щегловитов Иван Григорьевич (1861—1918) — министр юстиции в 1906—1915 гг., председатель Государственного совета России; в 1918 г. расстрелян ВЧК.

Гонгарев Иван Григорьевич — участник «Книгоиздательства писателей в Москве»; был редактором газеты «Утро. Политическая, общественная, литературная и экономическая газета» (Харьков); выходила в 1906 г.

Тихонов (псевдоним — А. Серебров) Александр Николаевич (1880—1956) — писатель; был редактором журнала «Летопись» и издательства «Парус» в 1915—1917 гг., газеты «Новая жизнь» (1917—1918).

Суханов Н. (Гиммер Николай Николаевич) (1882—1940) — экономист, публицист; эсер, с 1917 г. меньшевик, член ВЦИК; был осужден в 1931 г.

Бах Алексей Николаевич (1857—1946) — революционный деятель, состоял в организации «Народная Воля»; ученый, академик, основал школу биохимиков. Жил в эмиграции во Франции, в США (1891—1892), в Швейцарии. В 1917 г. вернулся в Россию. В 1905—1918 гг. примыкал к эсерам.

Мирялюбов Виктор Сергеевич (1860—1939) — литератор, издатель; в 1917 г. сотрудничал в газете «Воля народа».

«Русские ведомости» были закрыты за то, что 24 марта 1918 г. была напечатана статья Б. В. Савинкова «С дороги». Редактор П. В. Егоров был приговорен рев. трибуналом к трем месяцам одиночного заключения.

Подбельский Вадим Николаевич (1887—1920) — с 1906 г. состоял в социал-демократической партии; избирался в Московскую городскую думу по списку большевиков; был одним из руководителей московского восстания в октябре 1917 г. В мае 1918 г. стал наркомом почт и телеграфов.

«Фонарь. Иллюстрированный еженедельник нового типа», Пг., 1918. Со страницей «Веселые фонарики. Автономный журнал сатиры и юмора», М., изд. «Фонарь», ред. Г. Р. Оэни и К°.

Премиров Михаил Павлович (1878— после 1933) — писатель, автор книги «Рассказы», СПб., 1909.

Минор Осип Соломонович (1861—1932) — литератор, эсер; соредатор и сотрудник газеты «Воля России»; член Учредительного собрания. Эмигри-

ровал, состоял членом парижского Земгора (Земского городского союза) был председателем Русского исторического архива во Франции (см. газету «Россия», Париж, 1938, № 9, 12 января).

Цетлины — Михаил Осипович и Мария Самойловна (урожд. Тумаркина, по первому мужу Авксентьева) (1882—1976). Е. П. Пешкова рассказывала автору данных примечаний: у М. С. Цетлин был в Москве «открытый дом, где охотно принимались писатели, художники, артисты; бывали Волошин, Эренбург. Ее портрет написал В. Серов («Женщина у окна»)». Она переписывалась с Буниным. Сразу по приезде в Париж в 1920 г. Бунин и Вера Николаевна остановились у Цетлиных и жили два первых месяца в их огромной квартире. На второй день после приезда Буниных, 30 марта 1920 г., А. Н. Толстой читал в салоне М. С. Цетлиных начало романа «Хождение по мукам».

Давыдов Николай Васильевич (1848—1920) юрист, писатель, близкий знакомый Л. Н. Толстого.

Купил книгу о большевиках. — «Большевики. Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 г.» Сост. Цявловский. Изд. I и II, «Задруга», 1918.

ОДЕССА. 1919

Апрель

Бунин с женой Верой Николаевной прибыли в Одессу 3(16) июня 1918 г. Поселились на даче Шишкиной под Одессой; первого октября переехали в особняк художника Е. И. Буковецкого (Княжеская, 27; ныне — ул. Баранова, 27; здесь установлена в 1980 г. мемориальная доска в память Бунина).

Катаев Валентин Петрович (1897—1986) приходил передко к Бунину со своими первыми рассказами и стихами. Об этих встречах Катаев вспоминает в «Траве забвенья».

Клемањсо Жорж (1841—1929) — премьер-министр Франции в 1906—1909, 1917—1920 гг.

Вера — Муромцева-Бунинна Вера Николаевна (1881—1961)

Газета «Социал-демократ» — орган Московского облбюро, Московского комитета и Мосокркома РКП(б) 1917—1918 гг.; с 15 марта — вместе с газетой «Правда».

Волошин Максимилиан Александрович (1877—1932) говорит в письме своему кузену Якову Александровичу Глотову 18 октября 1919 г., что всю зиму 1918—1919 гг. он провел в Одессе — «в одной комнате с Рудневым (в будущем один из редакторов парижского журнала «Современные записки». — А. Б.) и с Абрамом Гоцом (у Цетлиных) Там меня застал большевизм. Я подвергся очередной травле местной большевистской прессы, которая меня обвиняла в контрреволюции за сотрудничество в эсеровских газетах. Мне грозил арест Чрезвычайки, но вместо этого я подружился с ее

председателем и он меня снабдил всеми бумагами на выезд (в Крым. — А. Б.). (...) Нас дважды останавливал французский миноносец — я с ними объяснялся, и потом мои матросы говорили мне: «Как вы, товарищ, здорово буржуя представляете!» (цит. по публикации в газете «Новое русское слово», Нью-Йорк, перепечатка из журнала «Время и мы», 1978, № 28; адресата письма, который был неизвестен газете, указал литературовед В. П. Купченко).

Гинденбург Пауль фон (1847—1934) — с 1916 г., будучи начальником генштаба, фактически являлся главнокомандующим германских войск; с 1925 г. — президент Германии.

Щепкин Евгений Николаевич (1860—1920) — историк и общественный деятель; член 1-й Государственной думы; после февральской революции 1917 г. — профессор Новороссийского университета в Одессе, с 1919 г. — член компартии. В. Н. Муромцева-Бунина записала в дневнике 26 марта (8 апреля) 1919 г. свой разговор с Буниным: «Да, — говорю я, — вот комиссаром театров, говорят, назначен Шпан, — это, вероятно, тот самый, который приходил к тебе летом и предлагал устроить твой литературный вечер!

— Да, конечно, он. Но, знаешь, он ведь по-русски говорит так плохо, как даже в Одессе редко встретишь. И кроме того, он ведь совершенно безграмотный человек». (Цит. здесь и в дальнейшем по публикации д-ра М. Э. Грин: «Устами Буниных. Дневники...», т. I, Франкфурт-на-Майне, 1972) Щепкин вызывал раздражение Бунина, в частности, тем, что составлял списки неудобных ему профессоров университета и передавал в ЧК; не заступался за невинно гонимых, за кого мог с успехом заступиться, закрыл университетскую церковь. Комиссаром просвещения был недолго — его уволили. (До революции, 17 января 1913 г., Щепкин читал доклад: «Бунин 19-го и Бунин 20-го века».)

Григорьевцы. — Вера Николаевна отметила в дневнике 24 марта (6 апреля) 1919 г.: «Вошли первые большевистские войска под предводительством атамана Григорьева, всего полторы тысячи солдат! Вот та сила, от которой бежали французы, греки и прочие войска. Одесса — большевистский город. Суда еще на рейде».

Н. А. Григорьев, штабс-капитан царской армии, украинский националист, петлюровский атаман, присоединился со своим отрядом к Красной Армии и участвовал в боях за Одессу; 7—9 мая он поднял антисоветский мятеж, который был подавлен. Григорьев убит махновцами 27 июля 1919 г. 11(24) августа в Одессу пришли войска Деникина, власть которого продержалась здесь до 7 февраля 1920 г. (н. ст.).

Гальберштадт Лев Исаевич — журналист; сотрудничал в различных газетах; принимал участие в издании журнала «Северное сияние» (1908—1909) в роли секретаря — наряду с Н. А. Скворцовым — издательницы В. Н. Бобринской; редактором журнала был Бунин. В Одессе он посещал Бунина.

...вторжение румын в советскую Венгрию. — 21 марта 1919 г. в Венгрии

была провозглашена венгерская советская республика, после падения которой 1 августа 1919 г. была установлена диктатура Хорти.

«Честь безумцу, который навеет... сон золотой...» — строки из стихотворения П.-Ж. Беранже «Безумцы», в переводе В. Курочкина; в драме Горького «На дне» (акт 2) декламирует их Сатин.

Савина Мария Гавриловна (1854—1915) — артистка Александринского театра; прославилась в драмах Гоголя, Тургенева, Островского.

Федоров Александр Митрофанович (1868—1949) — поэт, романист, драматург, друг Бунина. Эмигрировал «месяцем раньше» Бунина (см.: газ. «Новая заря», София, 1933, 16 декабря), жил в Болгарии до конца своей жизни. Его жена Лидия Карловна осталась в Одессе; в 1937 г. была арестована и погибла в тюрьме; сын Виктор (род. в 1898 г.), театральный художник, погиб в лагерях после войны.

Макензен Август (1849—1945) — германский генерал-фельдмаршал, с 1915 г. командовал группой армий при разгроме Сербии и Румынии.

Лазурский Владимир Федорович (1869—1943) — историк литературы, преподаватель в Новороссийском университете (Одесса); был учителем детей Л. Н. Толстого — Андрея и Михаила Львовичей — по греческому и латинскому языкам.

«История Российская с самых древнейших времен» (кн. 1—5. М., 1768—1848) Татищева Василия Николаевича (1686—1750). См. также издание: т. 1—7. М.—Л., 1962—1968.

Немитц Александр Васильевич (1879—1967) вице-адмирал; в 1917 г. командовал Черноморским флотом, в 1920—1921 — морскими силами республики.

Гурко Василий Иосифович (1864—1937) — генерал, во время первой мировой войны командовал 5-й армией.

Васьковский А. В. входил в кружок «Южнорусских художников» в Одессе, объединявший художников, писателей, артистов, любителей искусства; они собирались по четвергам. В 25-летие литературной деятельности Бунина (1912) Васьковский подписал в числе других (Нилус, Буковецкий, Куровский, Федоров) приветствие Бунину от «Четвергов».

Петр — Нилус Петр Александрович (1869—1943) — художник и писатель, друг Бунина, жил в том же доме, где и Бунин. Эмигрировал 24 декабря 1919 г., жил в Болгарии и в Австрии, затем поселился в Париже. Нилус написал портрет Бунина (хранится в Музее писателей-орловцев в Орле). Бунин напечатал статью «Памяти Нилуса» в газете «Русские новости», Париж, 1946, № 54, 24 мая. Статья Нилуса «Ив. Бунин и его творчество» напечатана в «Литературном наследстве», т. 84. М., 1973, изд-во «Наука», кн. 2, с. 429—435.

«Ах, мщения, мщения!» — неточная цитата из письма К. Н. Батюшкова к Н. И. Гнедичу (октябрь 1812).

Сергий Радонежский (ок. 1321—1391) — основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря.

Скабичевский Александр Михайлович (1838—1911) — критик и историк литературы. Бунин упоминает его в рассказе «Помещик Воргольский» Скабичевский печатал отзывы на произведения Бунина, в частности, о рассказе «Без роду-племени» («Сын отечества», 1899, № 128, 14(26) мая)

Гельцер Екатерина Васильевна (1876—1962) — артистка балета Большого театра, крупный представитель русской школы классического танца.

«*Нами человечество протрезвляется...*» — неточная цитата из книги А. И. Герцена «Былое и думы» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 10, с. 122).

Раковский Христиан Георгиевич (1873—1941) — с марта 1918 г. — председатель Совпаркома Украины; в сентябре переехал в Москву и возглавлял политуправление реввоенсовета республики. С освобождением Харькова от белых — снова председатель Совпаркома Украины. Затем — посол СССР в Англии и Франции; незаконно репрессирован и расстрелян.

Чичерин Георгий Васильевич (1872—1930) в 1918—1930 гг. народный комиссар иностранных дел РСФСР, СССР Подписал Брестский мир.

...*какое проклятое правописание!*.. — Бунин не признавал реформы русского языка и всю жизнь писал по старой орфографии. Он писал 5 мая 1949 г. поэтессе Софье Юльевне Прегель — редактору (вместе с М. Л. Слонимом) журнала «Новоселье» (Париж):

«Я знал и знаю, что, как пишете вы, в вашем журнале ять *«не водится»*; именно поэтому просил сделать клише моей подписи и слова «апрѣль» — чтобы показать, что я пишу по старой орфографии, а не по новой, совершенно несносной для всякого культурного русского человека. Я иногда терплю ее, но стараюсь пользоваться всяким случаем избежать ее. Для меня оскорбительно, когда я вижу: «Александр Сергеевич Пушкин» вместо священного для русской литературы: «Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ» — не спросясь Пушкина, стали подписываться *за него*: «Александр Пушкин»: это даже для глаза мерзко.

Не пой, красавица, при мне
Ты песнь Грузии печальной
Напоминают мне они...

Это ли не гнусность!

За всем тем, раз уж я дал рассказ вам, не надо клише: пусть будет набор: 17.IV.1949 (а не апрѣля)».

Полевицкая Елена Александровна (1881—1973) — популярная артистка, игравшая в театре В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге и в театре Н. Н. Синельникова в Харькове и Киеве. В 1920 г. уехала на гастроли в Болгарию. До 1955 г. жила за границей. С 1961 г. преподавала в театральном училище имени Щукина. Сыграла роль графини в фильме-опере «Пиковая дама»

Встреча с Полевицкой, о которой пишет Бунин, произошла 2/15 июня 1919 г. В этот день В. Н. Муромцева-Бунина писала в дневнике: «Днем мы с

Яном вышли прогуляться. <...> Полевичка обращается к Яну с просьбой:

— Найшите мистерию, мне так хочется сыграть Божью Матерь или вообще святую, зовущую к христианству...

— Постараюсь,— говорит, смеясь, Ян.

— Да, пожалуйста,— умоляющим тоном настаивает она. <...>

Когда дождь прекратился, мы уходим.

— Господи,— вздыхает Ян,— какое кошунство и в какое время! Играть Божью Матерь!..»

«Поэт» — Фиолетов Анатолий Васильевич (?—1918). Стихи, которые Бунин цитирует, напечатаны в сборнике «Седьмое покрывало», Одесса, 1916; первая строка здесь звучит несколько иначе: «О, сколько самообладания...» Бунин вспомнил указанные им строки в интервью газете «Русские новости», Париж, 1947, № 125, 24 октября (перепечатано в журнале «Наука и жизнь», 1976, № 6, с. 127—128). Поэт Николай Оцуп приводит это четверостишие Фиолетова в книге «Современники», Париж, 1961. О Фиолетове см. также в кн.: Эдуард Багрицкий. Воспоминания современников. Изд-во «Советский писатель», М., 1973. Здесь помещены воспоминания жены Фиолетова поэтессы З. Шишовой

...князь Трубецкой...— Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920), религиозный философ, правовед и общественный деятель. Бунин упоминает его в дневнике за 1915 г. Он встретился с Трубецким в 1919 г. в Одессе.

Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1933) — статистик, публицист, политический деятель. Сотрудничал в журнале «Русское богатство», в езеровских газетах «Революционная Россия» и «Сын отечества»; был членом ЦК трудовой народно-социалистической партии; в мае — августе 1917 г. состоял министром продовольствия. В 1922 г. выслан за границу.

«...Короленко... какую... статью напечатал... в защиту Раковского!» — В. Г. Короленко опубликовал «Письмо в редакцию» в газете «Русские ведомости», М., 1917, 17 (30) июня.

Нансен Фритъоф (1861—1930) — норвежский исследователь Арктики; один из организаторов помощи голодающим в советской России.

Регинин Василий Александрович (1883—1952) — журналист; сотрудничал в газетах «Новая жизнь», «Биржевые ведомости»; редактировал журнал «Аргус». В годы гражданской войны писал одноактные пьесы, стихи и фельетоны для красноармейской печати, позднее — либретто для оперетт.

Весь вечер сидел Волошин... Читал свои переводы из Верхарна.— Волошин писал А. Я. Глову 18 октября 1919 г.: «Пишу стихи исключительно на современные темы — о России и о революции. Как всегда, все, что бывает со мной, оказывается парадоксально: мои стихи одинаково нравятся и большевикам и добровольцам. Моя первая книга «Демоны глухонемые» вышла в январе 1919, в Харькове, и была немедленно распространена большевистским Центагом. А второе ее издание готовится издавать Добровольческий Осваг. Из этого ты можешь видеть, что я стою действительно над

партиями. И это понятно: для меня уже давно стало абсурдом желание осуществлять в жизни какие бы то ни было свои предпочтения и государственные формы. Между тем как развертывающаяся историческая трагедия меня глубоко захватывает, я благодарю судьбу, которая удостоила меня чести жить в такую эпоху. Хочется только успеть формулировать все, что видишь и переживаешь. Но эта неуверенность в завтрашнем дне дает только шпоры работе. В конце концов ко мне все сменявшиеся режимы относились очень хорошо в лице центральных властей и скверно в лице местных, но они почему-то не решались ничего сделать. Я же, относясь ко всем партиям с глубоким снисхождением, как к отдельным видам коллективного безумия, ни к одной из них не питаю враждебности: человек мне важнее его убеждения. Поэтому единственная форма активной деятельности, которую я себе позволял, — это мешать людям расстреливать друг друга. И пока довольно удачно. Зимой 18—19 гг. я провел в чтении лекций: сперва по Крыму, потом в Одессе. С матросами разведчиками он пришел из Одессы в Крым. «В Евпатории, — продолжает Волошин, — мы застряли. Не было поездов. Но тут выручило счастье: ко мне на улице кинулся человек: «Ах, как я рад, что вас нашел...» Я его еле припомнил: он когда-то был еще в Коктебеле у меня студентом. Тут же он оказался командующим армией. Так что дальше я продолжал путь в отдельном вагоне-салоне. Это было вдвойне удачно, так как в Симферопольском Ревкоме как раз перед моим приездом говорили: «Ну, если после своих зимних лекций (я читал о том, что «Двенадцать» Блока отнюдь не большевистская вещь) Волошин посмеет появиться в Крым, то ему не сдобровать». Но я появился и сдобровал. Добрался до Феодосии. Здесь у меня было курьезнейшее объяснение с Революционным Комитетом по поводу моих полномочий на охрану искусства, которыми я заручился. Когда я им заявил, что я не только не коммунист, но даже не социалист и что я им оказываю честь... то они приплы в страшное негодование, грозили арестовать и препроводить в Симферополь, но не посмели, и я отправился отсиживать в Коктебель. Через неделю в Коктебеле был сделан десант... прямо на нашу террасу. Вся команда «Кагула» были мои приятели и слушатели... Затем началась история другого порядка: был арестован (добровольцами) мой друг генерал Маркс как большевик. Он был в Комиссариате народного просвещения и спас Феодосию от разгрома и расстрелов. Про него создались немедленно легенды, и ему грозил расстрел. Я умудрился проехать вместе с ним, несмотря на запрещение сопровождать его. Несколько раз по дороге предотвращал самосуд, довез его до Екатеринодара и там провел все его дело перед военно-полевым судом и добился его полного освобождения у Деникина. Причем, у меня не было ни одного знакомого, когда я приехал в Екатеринодар.

Сейчас мне, разумеется, местные власти не могут простить всего этого, и я подвергнут остракизму на этот раз как большевик. Вот мои приключения последнего года» («Новое русское слово», Нью-Йорк; перепечатка из журнала «Время и мы», Нью-Йорк, 1978, № 28).

Верхарн Эмиль (1855—1916) — бельгийский поэт и драматург. Волошин написал статьи о Верхарне: «Верхарн». — Иллюстрированное приложение к газете «Русь», 1907, № 5, 5 января; «Эмиль Верхарн и Валерий Брюсов». Волошин Максимилиан. Лики творчества. Л., «Наука», 1988, с. 427—434; «Судьба Верхарна». — Газета «Речь», 1917, № 1, 1 января. В 1919 г. в Москве была издана книга Волошина «Верхарн. Судьба. Творчество. Переводы».

Толстой Алексей Константинович (1817—1875) писал Б. М. Маркевичу 26 апреля 1869 г.: «И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам Богом!» (Толстой А. К. Собр. соч., т. 4. М., 1964, с. 281). В Московский период нашей истории (конец 15—17 вв.), писал А. К. Толстой, «особенно в царение Ивана Грозного», чувство чести, «в смысле охранения собственно достоинства, значительно пострадало или уродливо исказилось» (там же, т. 3, с. 531).

Соболь Андрей (наст. имя — Юлий Михайлович; 1888—1926) — журналист и писатель. Был комиссаром Временного правительства на Северном фронте.

Иорданский (Негорев) Николай Иванович (1876—1928) — журналист. В 1923—1924 гг. — полпред СССР в Италии.

Галлен-Каллела Аксели (1865—1931) — живописец, график.

«Разочарования, — говорит Герцен, — мир не знал до Великой французской революции...» — неточная цитата из «Былого и дум» Герцена, т. 10, с. 118.

Дыбенко Павел Ефимович (1889—1938) — военачальник, командарм 2-го ранга (1935); в гражданскую войну командовал Крымской армией.

Коллонтай Александра Михайловна (1872—1952) — участница Октябрьской революции 1917 г., в 1917—1918 гг. нарком государственного призрения. В 1918 г. примыкала к «левым коммунистам». В 1920—1922 гг. — к «рабочей оппозиции». Позднее была на дипломатической работе в разных странах.

Булгаков Валентин Федорович (1886—1966) — мемуарист и писатель. В 1910 г. — секретарь Толстого; разделял идеи толстовства. Он издал свой дневник «У Л. Н. Толстого в последний год его жизни» (впоследствии наз. «Л. Н. Толстой...»), который выходил в 1911, 1918, 1920 и 1960 гг. В 1923—1948 гг. Булгаков жил в Чехословакии; был заведующим русским культурно-историческим центром в Праге, вел переписку с видными русскими людьми, собирая для «Исторического центра» рукописи произведений, фотографии, печатные материалы. В 1949 г. возвратился на родину и был научным сотрудником Музея-усадьбы Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

«Анатема». — Дриму «Анатема» Л. Н. Андреев подарил Толстому

в 1910 г. Толстой сказал о ней: «Я прочел пролог к «Анатеме» Леонида Андреева. Это сумасшедшие, совершенно сумасшедшие!.. Полная бессмыслица! Какой-то хранитель, какие-то ворота... И удивительно, что публике эта непонятность нравится. Она именно этого требует и ищет в э́том како́го-то особенного значения» (Булгаков Валентин. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1960, с. 229; цитата о Брюсове, Белом — с. 164). О Л. Н. Андрееве Бунин писал Б. К. Зайцеву 22 сентября 1938 г.: «...сообщаю, что вчера начал перечитывать Андреева, прочел пока три четверти «Моиx записок» и вот: не знаю, что дальше будет, но сейчас думаю, что напрасно мы так уж его развенчали: редко талантливый человек...» (Андреев Ник. Бунин о Л. Андрееве. — «Новый журнал», Нью-Йорк, 1978, кн. 131, с. 240).

Блажен, кто посетил сей мир... — строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон»; вариант: «Счастлив, кто посетил...»

Все-то у нас не веревка, а «верше», как у того... мудреца... — Об этом — в басне И. И. Хемницера (1745—1784) «Метафизик».

Иванюков Иван Иванович (1844—1912) — русский историк.

Осипович Наум Маркович (1870—?) писал о бесправном положении евреев и ссыльных; был близок к народникам.

Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927) — писатель; приятель Бунина. В 1920 г. эмигрировал во Францию. Встречались они и в Париже. В. Н. Муромцева-Бунина писала, что Бунин говорил ей: «Юшкевич нравится мне... Он всегда несет и с Дона и с моря, но человек талантливый, живой, органический» («Последние новости», Париж, 1930, № 3221, 16 января). В дневнике В. Н. Муромцева-Бунина пишет 15(28) мая 1919 г. о споре Бунина с Юшкевичем: «Приходил Юшкевич уговаривать Яна поступить в Агит-Просвет. Он доказывал, что просвещать всегда, при всяких властях, хорошо. Ян только плечами пожимал. Юшкевич настаивал, указывал, что Яна могут обвинить в саботаже. Ян возражал: «Саботируют те, кто служит и портит дело. Я же не служу и заставить меня служить никто не может». — «Но ты умрешь с голоду», — кричит Семен Соломонович. — «Лучше стану с протянутой рукой на Соборной площади, чем пойду туда. Пусть этот факт останется в истории». См. также: Бунин. Памяти Юшкевича. — Газета «Возрождение», Париж, 1927, № 622, 14 февраля.

Овсяннико-Куликовский Дмитрий Николаевич (1853—1920) — литературовед, лингвист, историк культуры. Воспоминания он писал в 1919 г., когда жил в Харькове, а с лета этого года — в Одессе. Об этом сообщает И. Овсяннико-Куликовская в предисловии к книге: Овсяннико-Куликовский Д. Н. Воспоминания. Изд-во «Время», П., 1923. В Одессе он встречался с Буниным.

Драгоманов Михаил Петрович (1841—1895) — автор трудов по истории Украины и украинскому фольклору; издавал журнал «Громада».

Зибер Николай Иванович (1844—1888) — экономист, популяризатор марксизма в России.

Лавров Петр Лаврович (1823—1900) — социолог и публицист, активный участник народнического движения.

Ренан Эрнест Жозеф (1823—1892) — французский историк религии и философ, автор «Истории происхождения христианства». Его книга «Жизнь Иисуса» вызвала весьма неодобрительный отзыв Бунина. Он говорил поэту Георгию Адамовичу: «Читал я на днях Ренана «Жизнь Иисуса». (...) Но Ренан невыносим. Он из Христа сделал какого-то симпатичного молодого неврастеника.

— Помните, Толстой сказал об этой книге: «Детская, подлая, пошлая шалость»?

— Как, как? Подлая, пошлая шалость? Ах, как хорошо, как верно! Да, умел сказать Лев Николаевич» («Знамя», 1988, № 4, с. 183).

Радецкий Иван Маркович — журналист, редактировал философский журнал «Настоящее и будущее» и научно-популярный, общественно-литературный иллюстрированный журнал «Заря авиации» (с 1916 г., Одесса)

Шпитальников — известен под псевдонимом Тальникова Давида Лазаревича (1886—1961) — литературный и театральный критик.

Май

Кипен Александр Абрамович (1870—1938) — писатель. Он поселился вместе с Буниным на даче Шишкиной 1/14 сентября 1918 г. Во время еврейских погромов Бунины волновались за него.

Были у Варшавских... — С Владимиром Варшавским, писателем, очевидно, из упомянутой здесь семьи Варшавских, Бунин встречался в Париже.

Евгений — Буковецкий Евгений Иосифович (1866—1948) — художник, друг Бунина, владелец дома, в котором жили Иван Алексеевич и Вера Николаевна.

Розенберг Владимир Александрович (1860—1932) — журналист, публицист, ближайший сотрудник «Русских ведомостей».

Подвойский Николай Ильич (1880—1948) — советский партийный и военный деятель. С 1918 г. нарком по военным и морским делам УССР

А вот новое произведение Горького, его речь... — Опубликовано за его подписью в журнале «Коммунистический интернационал». М.— Пг., 1919, № 1, с. 30, под заглавием «Вчера и сегодня»; начинается словами: «Вчера был день великой лжи. Последний день ее власти...»

Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886) — публицист, поэт. Развивал идеи славянофильства и панславизма.

Надевали лавровые венки на вшивые головы. — Цитата из «Бесов»: Достоевский Ф. М. Собр. соч., т. 7 М., 1957, с. 38.

Мы глубоко распались с существующим... — произвольная передача дневниковой записи А. И. Герцена 17 сентября 1844 г. — Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти тт., т. 2, с. 383—384.

Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879) — автор «Истории России с древнейших времен», т. 1—29 (1851—1879). В своих исторических исследованиях он большое внимание уделял Смуте — событиям в России начала XVII века. Причину смуты усматривал в падении нравственности народа и в существовании казачества.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885) — русский и украинский историк, писатель, этнограф; автор трудов: «Бунт Стеньки Разина» (1858), «Русская история в жизнеописаниях ее главных деятелей», т. 1—3, изд. 7-е, П., 1915.

Иоанн, тамбовский мужик Иван... — О тамбовском мужике Иване и Святителе Бунин пишет в рассказе «Святитель» (1924). Он заканчивается так:

«И был этот образ (Святителя.— А. Б.) самым заветным у одного святого, нам почти современного, — простого тамбовского мужика. И молясь перед ним, так обращался он к великому и славному Святителю:

— Митюшка, милый!

Только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души».

На гривастых конях на косматых... — Стихотворение написано на сюжет былины «Илья Муромец и Святогор». В окончательной редакции стихотворения Бунин сделал стилистические поправки. Этот текст имеет продолжение:

Кинул биться Илья — Божья воля.
Едет прочь вдоль широкого поля,
Утирает слезу... Отняла
Русской силы Земля половину:
Выезжай на иную путину,
На иные дела!

Распад, разрушение слова... — О распаде, разрушении слова Бунин писал в рецензии «О сочинениях Городецкого» (1911) (Литературное наследство, том 84, М., 1973, кн. 1) и говорил в «Речи на юбилее «Русских ведомостей» (1913; там же). Стихотворную строку о «колосьях пшена», столь показательную для литераторов, не знающих природы, ранее Бунин приводил в беседе с Н. А. Пушкиным: «Пишет же вон Натан Венгров, что он шел «среди колосьев пшена». (Дневник Н. А. Пушкина. — Музей Тургенева в Орле).

Шейдеман Филипп (1865—1939) — один из правых лидеров социал-демократической партии Германии; в феврале — июне 1919 г. — глава правительства.

Троцкий. — Об убийстве Троцкого, по приказу Сталина, Бунин писал в дневнике 21 августа 1940 г.: «В вечерней газете <...> известие, что Троцкий умирает — кто-то проломил ему череп железным брусом в его собственном доме в Мексике. Прежде был бы потрясен злым восторгом, что наконец-то

эта кровавая гадина дождалась окончательного возмездия. Теперь отнесся к этому довольно безразлично».

Ленотр. — О французском историке Г. Ленотре Бунин писал в 1925 г.: «Читаю Ленотра («Vieilles maisons, vieux pariers»). Замечательный историк, замечательный писатель, человек, всю жизнь отдавший изучению французской революции, из которой сто лет творили вредоносную легенду, и освещающий ее совершенно новым светом, человек, которому при жизни нужно поставить памятник, а кто его знал и знает в России? А ведь подобные книги даже правительство должно было издавать и распространять в сотнях тысяч экземпляров» (газета «Возрождение», Париж, 1925, № 71, 12 августа). Книга: G. Lenôtre. Paris Révolutionnaire. Vieilles maisons, vieux pariers (Г. Ленотр. Революционный Париж. Старые здания, старые документы) посвящена деятелям Великой французской революции. Один из очерков этой книги — «La Déesse Raison» («Богиня Разума») дал Бунину сюжет для рассказа «Богиня Разума» (1924).

Жорж Жюгон (1755—1794) — один из лидеров якобинцев, член Комитета общественного спасения (куда входил и Луи Сен-Жюст — 1767—1794); казнен вместе с М. Робеспьером.

Елизаветград теперь именуется Кировоград.

«Бабушка русской революции». — Крестьяне деревни Глотова, где Бунин жил летом и осенью 1917 г., называли, повторяя фразы из газет того времени, «бабушкой русской революции» Брешко-Брешковскую Екатерину Дмитриевну (1844—1934), одного из лидеров эсеров; в 1917 г. она поддерживала Временное правительство; в 1919 г. эмигрировала.

Гучков Александр Иванович (1862—1936) — лидер октябристов; с 1910 г. председатель 3-й Государственной думы. В 1917 г. военный и морской министр Временного правительства; эмигрировал.

Плагон (ок. 427 — ок. 347 до н. э.) — древнегреческий философ и писатель, ученик Сократа. «Пир» — литературно-философское произведение, написанное в форме диалога.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921) — революционер-анархист, географ и геолог, автор воспоминаний «Записки революционера».

Костюшко Тадеуш (1746—1817) — руководитель польского восстания 1794 г.; участвовал в войне за независимость в Северной Америке.

Полежаев Александр Иванович (1804—1838) — поэт, подвергался гонениям царя Николая I, который приказал отдать его в солдаты за сатирическую поэму «Сашка» в 1826 г.

Попов. — По-видимому, речь идет о Н. Попове, авторе статьи «Новые сведения о Полежаеве». — «Русский архив», 1881, № 4.

Кази-Мулла — преемник Муллы Магомета, один из предводителей горцев в 1820-е годы. Погиб в 1832 г. при взятии аула Гимра русскими.

Мюрид — у мусульманских мистиков-суфиев послушник, ученик имама или шейха.

Иоффе Адольф Абрамович (1883—1927) — государственный и партий-

ный деятель; участвовал в Октябрьском вооруженном восстании 1917 г. в Петрограде; в 1918 г. член делегации на переговорах о Брестском мире. Был полпредом в Берлине, Китае, Австрии.

Варнеке Борис Васильевич (1874—1944) — филолог и историк театра. Был профессором Новороссийского университета в Одессе. Автор исследования «История русского театра» в 2-х тт., 1908—1910.

Балабанова Анжелика (1878—?) — в 1917 г. член партии ВКП(б).

Духов день — праздник Пятидесятницы: воскресный день в народе зовут Троицей и Троицыным днем, а понедельник Духовым днем.

Кондаков Никодим Павлович (1844—1925) — историк искусства, академик. Бунин был дружески к нему расположен, они часто встречались в Одессе и вместе отправились в эмиграцию — отплыли в Константинополь.

Домбровский Г. В. — антрепренер Московского театра миниатюр. Спектакли этого театра прекратились в 1917 г. в результате краха антрепризы Домбровского.

Люксембург Роза (1871—1919) — деятель германского и международного революционного движения, один из руководителей польской социал-демократии и 2-го Интернационала.

Июнь.

Шмидт Иван Федорович — режиссер театра Красного флота, муж Е. А. Полевицкой.

Варшавский Сергей Иванович (1879—?) — журналист, сотрудничал в газете «Русское слово».

Исав. — Согласно Библии, сын патриарха Исаака и Ревекки Исав всю жизнь соперничал со своим братом-близнецом Иаковом. Соперничество их началось еще в чреве матери. Изголодавшийся Исав продал брату за чечевичную похлебку свое право первородства, дававшее особые преимущества. Движимый чувством ненависти к Иакову, Исав грозился убить его.

Богданов (Малиновский) Александр Александрович (1873—1928) — революционный деятель, философ, экономист; большевик; с 1908 г. — «отзовист», руководил группой «Вперед», созданной внутри РСДРП.

Гржебин Зиновий Исасвич (1877—1929) — издатель; основал, совместно с С. Ю. Копельманом, издательство «Шиповник», которое выпускало с 1907 г. альманахи «Шиповник», в них печатал свои произведения Бунин. Частное издательство З. И. Гржебина было организовано в 1919 г. в Петрограде с филиалами в Москве, позднее — в Берлине.

«*Отечество*. Иллюстрированная летопись», Пг., 1914—1915; редактор-издатель З. И. Гржебин. Успех журналу обеспечивали произведения и статьи Л. Н. Андреева. Бунин опубликовал стихотворение «Тора» (1915, 5—6).

Кожошкин Федор Федорович (1871—1918) — юрист, публицист, лидер

партии кадетов; в 1917 г. государственный контролер Временного правительства.

А вы его не можете ругать! — Этот диалог с караульщиком, записанный Бунинным по памяти, происходил не в сентябре, а в октябре 1917 г.: см. дневниковую запись 14 октября 1917 г. наст. изд.

Пантюшка. — Беседа Бунина с ним происходила в деревне Глотова, Орловской губ. 25 августа 1917 г. Это видно из его дневниковой записи 26 августа.

«Сатирикон» — еженедельный журнал юмора и сатиры (Пб., 1908—1914); издатель — М. Г. Корнфельд, редактор — А. А. Радаков, с 9-го номера — А. Т. Аверченко. С 1913 г. по 1918 г. выходил «Новый сатирикон» под редакцией Аверченко. Сотрудниками этих журналов были Аверченко, Саша Черный, Тэффи и др.; участвовали также Л. Андреев, А. Куприн, А. Толстой, О. Мандельштам и др.

Гвоздев К. А. (1883—?) — министр труда во Временном правительстве.

Юшкевич Павел Соломонович (1873—1945) — философ; социал-демократ, меньшевик; в 1917—1919 гг. сотрудничал в журнале «Объединение». Автор трудов: «Материализм и критический реализм», 1908; «Новые веяния», 1910; «Мировоззрение и мировоззрения», 1912. Брат С. С. Юшкевича.

Гришин-Алмазов Алексей Николаевич (?—1918) — подполковник.

Тургенев упрекал Герцена... — И. С. Тургенев писал Герцену 8 ноября 1862 г.: «Нынешнее письмо вызвано твоим последним письмом ко мне в «Колоколе». (...) Враг мистицизма и абсолютизма, ты мистически преклоняешься перед русским тулупом и в нем-то видишь — великую благодать и новизну и оригинальность будущих общественных форм...» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти томах. Письма, т. 5. «Наука», М., 1988, с. 125—126).

...Я плакал... перешагнув... границу в Орше... — О переезде границы Бунина пишет в дневнике 26 мая 1918 г.: из Орши «двинулись в 11 часов 20 минут утра. В 12 часов без десяти минут мы на «немецкой» Орше — за границей».

Бубнов Андрей Сергеевич (1884—1940) — в Октябрьскую революцию член политбюро ЦК партии, участник гражданской войны на Юге; с 1929 г. нарком просвещения РСФСР; член ЦИК СССР.

Екатеринослав — ныне г. Днепрпетровск.

Лурье. — В. Н. Муромцева-Бунина писала в дневнике 9(22) мая 1919 г.: Иван Алексеевич и она посетили Т. Щепкину-Куперник; находился здесь и «бывший товарищ министра и философ С. В. Лурье (...), тоже шумевший при Временном правительстве, — Кауфман».

Кауфман Александр Александрович (1864—1919) — экономист, статистик, один из лидеров кадетской партии.

Константиноград — название г. Краснодара в 1784—1922 гг.

ВОСПОМИНАНИЯ

Печатаются по изданию: Бунин И. А. Воспоминания. Париж, книгоиздательство «Возрождение», 1950.

Бунин писал Андрею Седых 20 января 1949 г.: «Целую и за то, что защищаете вы меня от кланущих меня за мои «Авторские заметки», — за то, что не расплакался я в них на счет Блока, Есенина (о которых еще и слуху не было в ту пору, о которой говорил я в своих «Заметках», — которые, *кстати сказать, ничуть не есть история русской литературы*), и за то еще, что старик Бунин позволил себе иметь свое собственное мнение о поэтическом таланте величайшего холуя русской «поэзии» Маяковского при всей его холуйской небездарности» (Седых Андрей. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1962, с. 230—231).

По поводу печатанья «Заметок» в газ. «Новое русское слово» Бунин писал А. Седых в апреле 1949 г.: «...И еще: что ж ваш уважаемый орган хочет или нет продолжение моих «Заметок»? Есть у меня зернистая вещь «Третий Толстой» — об Алешке Толстом — с большими похвалами его таланту писательскому и меньшими — таланту житейскому» (там же, с. 231).

А. Седых пишет: «Да, в трудное время жил Бунин. Неумолимо строгий к другим, он и к самому себе бывал беспощаден. Органически не мог работать плохо, бесконечное число раз исправлял свои старые вещи, тщательно перечитывал их перед каждым новым изданием, вычеркивал, заменял слова и фразы, шлифовал. С тем, что он писал, можно не соглашаться, но при этом вызывал он невольное восхищение: как написано! Какая внутренняя сила, четкость, какой безжалостный, все замечающий глаз... (там же, с. 245).

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

О переводах К. Д. Бальмонта Бунин писал Д. Л. Тальникову 27 июня 1915 г. — Сб. «Мастерство перевода». М., 1968, с. 365—274.

РАХМАНИНОВ

Встреча, о которой рассказывает Бунин, произошла 25 апреля 1900 г.: см. нашу заметку «Знакомство Бунина с Рахманиновым». — «Вопросы литературы», 1964, № 5, с. 251.

Гальциона или Алкиноя — дочь бога Эола, повелителя ветров, супруга трихидского царя Кеика. После их гибели в море Нептун превратил их обоих в птиц. Когда Гальциона сидит на яйцах, Эол «сторожит свои ветры, не выпуская» (Овидий). Кефал — в греческой мифологии потомок Девкалиона, прародителя людей. В Кефала была влюблена богиня Эос — богиня утренней зари. Эос с Атреем породили ветры.

ДЖЕРОМ ДЖЕРОМ

Бунин познакомился с Джеромом Джеромом 12 марта 1925 г.

ТОЛСТОЙ

Печатается отрывок из книги: Бунин Иван. Освобождение Толстого. Париж, 1937,— который по содержанию соответствует очерку «Толстой» в кн. «Воспоминания» — в другой редакции текста.

ЧЕХОВ

Текст печатается в последней авторской редакции по книге: Бунин И. А. О Чехове. Нью-Йорк, изд-во имени Чехова, 1955.

Знакомство Бунина с Чеховым состоялось в Москве 12 декабря 1895 г. До этого, с 1891 г., они переписывались. О их взаимоотношениях см. нашу статью «Чехов и Бунин» в «Литературном наследстве», т. 68. М., 1960. Там же — письма Бунина к Чехову. Переписка Бунина с М. П. Чеховой — в сб. «Хозяйка чеховского дома». Симферополь, 1969.

КУПРИН

Куприн видел в Бунине одного из лучших писателей того времени. В 1901 г. в конце мая — начале июня он писал Бунину: «...я только твои стихи и читаю и люблю». Отмечая общественное значение творчества Бунина, Куприн говорил, что он принадлежит к художникам, «приобщенным к идеалу всей русской литературы» (см.: «Русская литература», 1963, № 2, с. 177; с. 182—183 — письма Бунина Куприну).

Маньч Петр Дмитриевич — литератор.

СЕМЕНОВЫ И БУНИНЫ

Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866) — утопический социалист, революционер. В 1849 г. осужден на вечную каторгу.

Дуров Сергей Федорович (1816—1869) — петрашевец, поэт.

А. П. Бунина не была членом Российской Академии: см. нашу статью об А. П. Буниной в словаре «Русские писатели», т. 1. М., 1989.

ЭРТЕЛЬ

Бунин познакомился с Эртелем в октябре 1895 г. в Москве; см. нашу заметку в «Русской литературе», 1961, № 4.

ВОЛОШИН

Волошин писал в статье «Стихотворения» Ивана Бунина, напечатанной в газете «Русь» (1907, № 5, 5 января): «...у него есть область, в которой

он достиг конечных точек совершенства. Это область чистой живописи, доведенной до тех крайних пределов, которые доступны стихии слова». Наравне с «светлою и ясною грустью русского пейзажа, — продолжает он, — у Бунина есть живопись ночная, хмурая, в темных тонах прозрачного хрустала, налитого талой водой. Драгоценность книги Бунина — небольшая поэма «Сапсан». Поэма угрюмой зимней ночи — русской ночи. Это чистая, строгая живопись (...) Ни одной яркой краски, ни одного сияющего слова, но каждое слово полно неумолимой верности и точности. И из-за слов встает огромная мистическая неизбежность пустынной ночи» (В о л о ш и н М а к с и м и л и а н. Лики творчества. Л., «Наука», 1988, с. 491—492).

Скирмунт Сергей Аполлонович — издатель.

«Портреты» — цикл стихотворений «Облики».

Татида — Цемах Татьяна Давыдовна (1890— ок. 1943) — поэтесса.

«Аввакум» — поэма «Протопоп Аввакум».

ТРЕТИЙ ТОЛСТОЙ

Прибежал из Симферополя Н. — А. Б. Дерман, критик.

«Высоким стилем все можно испортить». — Цитата из Зимних заметок о летних впечатлениях Ф. М. Достоевского (Собр. соч. в 10-ти томах, т. 4. М., 1956, с. 120).

Книгоиздательство, которое основали Бунин и А. Н. Толстой, — «Русская земля».

СТАТЬИ

СТРАШНЫЕ КОНТРАСТЫ

«Одесские новости», 1918, № 10839, 10 ноября. После революции были сожжены Тригорское, Петровское, связанное с именем Пушкина, и его Михайловское («Правда», 1989, № 310, 6 ноября: «Осмысливая связь времен»). Газета «Русские ведомости» (М., 1917, № 243, 24 октября) 6 ноября сообщила о том, что было сожжено имение Пирогово Тульской губ., которое «принадлежало еще отцу Льва Николаевича (Толстого) и являлось, как и Ясная Поляна, родовым толстовским гнездом. Лев Николаевич провел много дней своей жизни в Пирогове, где все полно воспоминаниями о нем и где за несколько лет до своей смерти он схоронил останки старика-брата (Сергея Николаевича) на местном кладбище».

ИЗ «ВЕЛИКОГО ДУРМАНА»

«Скорбь земли родной. Сборник статей 1919 г.», Нью-Йорк, 1920. Печатается этот текст. Ранее публиковалось в газ. «Южное слово». Одесса, 1919, № 82, 7 декабря.

Пушкинский бунт.— В романе «Капитанская дочка» Пушкин писал: «Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный».

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

(О калмыках).— Газ. «Общее дело», Париж, 1920, № 135, 27 ноября. В 1943 высланы Сталиным в Сибирь.

ЕГО ВЕЧНОЙ ПАМЯТИ

Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 207, 7 февраля. В этом же номере газеты — статья А. И. Куприна «И враги человеку домашние его», в которой он пишет об А. В. Колчаке: «Год тому назад лучший сын России погиб страшной, насильственной смертью».

Колчак Александр Васильевич (1874—1920) — адмирал. В 1917 г. командовал Черноморским флотом. В 1918—1919 гг. — один из лидеров белого движения, «верховный правитель Российского государства». Расстрелян.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

(О Горьком).— Газ. «Общее дело», Париж, 1921, № 339, 20 июня. О Горьком Бунин писал в статье, напечатанной в этой газете 4 апреля, а также в «Nouvelle Littéraire», Париж, 1936, июнь, июль; и в письме Г. В. Адамовичу, опубликованном в журн. «Опыты», кн. 6, Нью-Йорк, 1956.— О. Л. Книппер-Чехова в письмах к Антону Павловичу и Марии Павловне Чеховым говорит, как не по душе ей было играть на сцене Художественного театра в горьковских «Мещанах»; в «Детях солнца» «многое мне кажется, — писала она М. П. Чеховой в августе 1905 г., — банальным, давно известным, злободневным, нет настоящей поэзии, лиризма, одним словом, нет настоящей красоты, понимаешь, того, что захватывало бы душу, заставляло бы трепетать. Все трезво, поучительно» (ГБЛ, ф. 331. 77. 20). Книппер-Чехова спрашивает: «Неужели теперь в театре будет царить Горький. Ведь это ужасно. После того, как наш театр впитал в себя всю красоту, все благородство, изящество, поэзию и лиризм Чехова, неужели теперь все это смахнет Горький с своими поучениями; ведь он скорее публицист, его пьесы не останутся в литературе. А он уже готовит вторую пьесу, чтоб дать ее еще в этом сезоне. Это ужасно. Это мучительно... И Горький с своими пьесами не дает показать театру новые приемы» (там же).

МИССИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Газ. «Руль», Берлин, 1924, № 1013, 3 апреля.

Ивиковы журавли.— В балладе В. А. Жуковского «Ивиковы журавли» (1813; перевод баллады Шиллера) рассказывается о певце Ивике

(VI в. до н. э.), который, согласно древнегреческой легенде, был убит, когда направлялся на состязания певцов в Коринфе. Крик стаи журавлей над толпой явился знаменем, что «убийца тут», и был «исторгнут из толпы злодей».

Синайские скрижали — согласно Библии, каменные доски с десятью заповедями, данными Богом пророку Моисею на горе Синай.

Министр-президент — А. Ф. Керенский.

«Похабный мир» — Бунин имеет в виду Брестский мир 1918 г.

Тир и Сидон — города-государства древних финикии (современные Сур и Сайда).

Содом и Гоморра — по библейскому преданию, города, жители которых погрязли в распутстве и были истреблены огнем, посланным с неба.

Навуходоносор — царь Вавилона в 605—562 до н. э.; разрушил Иерусалим, ликвидировал Иудейское царство и пленил многих иудеев.

Демург — в древнегреческой мифологии персонаж, созидатель элементы мироздания.

Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — профессор Богословской академии в Париже.

Сборник *«Вели»* был издан не в 1907 г., а в 1909 г.

ИНОПНЯ И КИТЕЖ

Газ. «Возрождение», Париж, 1925, № 132, 12 октября.

Китеж — легендарный город; часто упоминается «в народных русских преданиях, реже — в былинах. Его освобождает Илья Муромец «от силы татарской». Согласно преданию, Китеж был построен в Нижегородской губернии, в 40 верстах от г. Семенова, близ села Владимирского. При нашествии полчищ Батыя он скрылся под землю, и на этом месте образовалось озеро, «и только избранные могут слышать колокольный звон в церквах исчезнувшего города» (Новый энциклопедический словарь, под общей редакцией акад. К. К. Арсеньева, том 21). Предания о Китеже см.: Мельников П. И. (Андрей Печерский). В лесах.

К Обдорам — в Обдорский край в Сибири.

Иоани Дамаскин (ок. 675—до 753) — византийский богослов, философ и поэт; автор церковных песнопений.

Блан Луи (1811—1882) — французский утопический социалист.

Сен-Жюст Луи (1767—1794) — член Комитета общественного спасения, сторонник Робеспьера. Казнен.

Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — деятель Великой французской революции, один из руководителей якобинцев. Казнен термидорианцами.

ДУМАЯ О ПУШКИНЕ

Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 373, 10 июня.

О НОВОЙ ОРФОГРАФИИ

Газ. «Возрождение», Париж, 1926, № 522, 6 ноября.

Петр Бернгардович — П. Б. Струве (1870—1944) — экономист и публицист, редактор «Возрождения». Переписывался с Буниным.

〈РЕЧЬ О ПУШКИНЕ〉

Произнесена по случаю 150-летия поэта в Париже, в публичном собрании. Печатается по ксерокопии с автографа, которую любезно прислал Андрей Седых; опубликована в книге А. Седых «Далекие, близкие», Нью-Йорк, 1962, с. 220.

А. БАБОРЕКО

СОДЕРЖАНИЕ

Глагол времен. <i>Вступительная статья А. К. Бабореко</i> . . .	5
---	---

ОКАЯННЫЕ ДНИ

От автора	25
Дневник 1917—1918 гг.	27
Окаянные дни	65

ВОСПОМИНАНИЯ

Автобиографические заметки	172
Рахмалинов	206
Репин	207
Джером Джером	208
Толстой	210
Чехов	220
Шаляпин	228
Горький	236
Его Высочество	244
Куприн	251
Семеновы и Бунины	263
Эргель	270
Волошин	278
«Третий Толстой»	289
Маяковский	312
Гегель, фрак, метель	320
Нобелевские дни	329

СТАТЬИ

Страшные контрасты	338
«Из «Великого дурмана»	339
Записная книжка. <i>〈О калмыках〉</i>	343
Его вечной памяти	345
Записная книжка. <i>〈О Горьком〉</i>	346
Миссия русской эмиграции	349
Июния и Китеж	359
Думая о Пушкине	372
О новой орфографии	380
〈Речь о Пушкине〉	381
Комментарии	382

Иван Алексеевич Бунин

ОКАЯННЫЕ ДНИ.
ВОСПОМИНАНИЯ.
СТАТЬИ

Редактор *Н. М. Солнцева*
Художественный редактор *М. К. Гуров*
Технический редактор *Е. Л. Воронько*
Корректор *С. В. Блауштейн*

ИБ № 8287

Сдано в набор 17.04.90. Подписано к печати 17.10.90.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Обыкновенная гар-
нитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 23,84.
Тираж 100 000 экз. Заказ № 305. Цена 4 р. 80 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писа-
тель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Тульская типография Государственного комитета СССР по
печати, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109.

Бунин И. А.
Б 91 Окаянные дни. Воспоминания. Статьи.— М.: Советский писатель, 1990.—416 с.

ISBN 5—265—01695—3

В книгу мемуарной прозы Ивана Алексеевича Бунина вошли текстологически выверенные дневники «Окаянные дни», неизвестные советскому читателю статьи о литературе, воспоминания, более полные по сравнению с собраниями сочинений писателя.

4702010201—406
Б 4702010201—406 КБ 10—59—90
083(02)—90

ББК 84 Р7